

1

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
АЛЬМАНАХ

КИНОСЦЕНАРИИ

1985

ИЗДАЕТСЯ
С 1973 ГОДА

КИНОСЦЕНАРИИ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
АЛЬМАНАХ

1

1985

- 3 **Б. Павленок**
Экранная память истории
- 9 *А. Рекемчук*
ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ
- 32 *Р. Фаталиев*
«А ЕСЛИ СЛУЧИТСЯ ЧТО СО МНОЙ...»
- 52 *А. Макаров*
ПОРОХ
- 76 *К. Лопушанский, В. Рыбаков*
НА ИСХОДЕ НОЧИ
- 105 *В. Черных, А. Малюков*
ДОГОВОР С СУДЬБОЙ
- 139 *М. Бабак, И. Ицков*
МАРШАЛ ЖУКОВ
- 162 *Д. Фирсова, Г. Гурков*
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ

ГОСКИНО СССР
МОСКВА • 1985

К НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

Осенью 1973 года из печати вышел первый номер альманаха «Киносценарии». С той поры, вот уже двенадцатый год, альманах регулярно знакомит широкие круги читателей с новыми литературными произведениями, созданными для кино советскими драматургами и писателями. За это время на страницах нашего издания было опубликовано более 170 литературных сценариев полнометражных художественных фильмов, самых разных по темам и жанрам, принадлежащих перу авторов разных поколений из всех союзных республик. Таким образом, киносценарий утвердился как самостоятельный, своеобразный жанр современной художественной литературы.

Почта редакции свидетельствует, что читатели с интересом отнеслись к публикации литературных киносценариев. Во многих читательских письмах высказывались просьбы увеличить число выпусков альманаха и сделать это издание подписным. Мы рады сообщить читателям, что с 1985 года альманах «Киносценарии» будет выходить не два, как ранее, а четыре раза в год — ежеквартально. Будет объявлена и подписка на альманах через «Союзпечать».

Первый номер альманаха 1985 года в связи с 40-летием великой Победы советского народа над фашизмом целиком посвящается военно-патриотической теме в современном кино. В альманахе печатаются сценарии Р. Фаталиева «А если случится что со мной...» и А. Макарова «Порох» о героических эпизодах Великой Отечественной войны, «Железное поле» А. Рекемчука о сталинградцах, ветеранах войны, «Договор с судьбой» В. Черныха и А. Малокова о первой схватке с фашизмом на земле Испании в тридцатые годы, остроюжетный сценарий К. Лопушанского и В. Рыбакова, написанный в жанре научной фантастики, «На исходе ночи», который рисует картину возможной ядерной катастрофы, разразившейся по вине империалистических сил. Кроме того, в этом номере альманаха публикуются два сценария документальных фильмов: «Маршал Жуков» М. Бабак и И. Ицкова и «Предупреждение об опасности» Д. Фирсовой и Г. Гуркова.

Главный редактор В. СЫТИН

Редакционная коллегия:

О. АГИШЕВ, С. АНТОНОВ, Е. ГАБРИЛОВИЧ,

С. ЖГЕНТИ, В. СОЛОВЬЕВ, В. ТРУНИН, С. ЮТКЕВИЧ

Ответственный секретарь Е. КЛЕЙНЕР.

Выпуск подготовили к печати:

О. ГОРБАЧЕВА, Н. РЮРИКОВА, Т. ПОКРОВСКАЯ,
М. СЕРГИЕНКО, Т. ЗОРИНА

Художник Вл. Медведев

© В/О «Союзинформкино»

Слано в набор 03.10.84. Подписано к печати 24.01.85. А-07045 Фсрмат 70×100¹/₁₆.
Усл. печ. л. 15,48+0,32 (обл.) Усл. кр.-отт. 790,0 тыс. Уч. изд. л. 22,78. Тираж 50 000 экз.

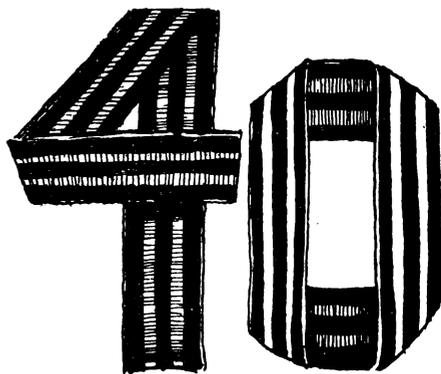
Заказ № 331. Цена 1 руб. 20 коп.
Всесоюзное объединение «Союзинформкино». 109017, Москва, ул. Б. Ордынка, д. 43.
Телефон 231-11-33.

Адрес редакции: 103006, Москва, Ворониковский пер., д. 12. Телефон 299-47-74.

Московская типография № 13 ПО «Периодика» ВО «Союзполиграфпром»
Государственного комитета СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговле
107005, Москва, Б-5, Денисовский пер., д. 30.

**БОРИС
ПАВЛЕНКО**

ЭКРАННАЯ ПАМЯТЬ ИСТОРИИ



Время не властно над памятью о войне. Прошло без малого полвека, а кажется, что это было вчера: тревожный крик сирены, прерывистый гул вражеского самолета, голубые мечи прожекторов, рассекающие ночь, двоянные хлопки зениток. И первый услышанный и принятый всем телом удар бомбы. Даже запах земли, смешанный со смолистым ароматом свежераспиленной сосновой доски, которой была облицована щель, открытая в саду, я ощущаю сегодня абсолютно явственно. Встреча с первым фашистом вспоминается также во всех подробностях. Он, убитый, лежал вдоль лыжни, по которой мы углублялись во вражеский тыл. Тело, припорошенное снегом, выглядело нереальным, муляжным. Секла поземка, и ветер трепал казавшееся легким и тонким серо-зеленое сукно на вздернутой кверху руке убитого. Желтые пальцы худой, словно восковой кисти были сложены на манер крестного знамения.

И конечно же, забываем первый бой. Немецкая рота выкатилась из дальнего леса, развернулась повзводно и поотделенно, выстроилась уступом и короткими перебежками устремилась к нам. Мы залегли на высотке, откуда хорошо просматривалось все заснеженное поле, усеянное редкими каракулями кустарника. Немцы наступали. Сначала казалось, что кто-то на миг поднимает редкие гребешки и опускает их снова в снег, потом зубчики гребешков постепенно обрели вид человеческих фигурок. Страха не было. Он не пришел и тогда, когда противник, не выдержав тишины, открыл беспорядочный огонь, посвист пуль был беззлобным и торопливым. Ощущение опасности возникло лишь после контратаки. Подобрав убитых и раненых, мы

ушли в глубь старого бора и коротали ночь, сгрудившись у подножий промерзших сосен. Костров разжигать было нельзя — над вершинами деревьев все время нудно и монотонно гудел самолет, нас искали. Мороз легко пробивал маскхалаты и меховые комбинезоны, промокие валенки обрели жесткость стекла. Сквозь тьму все время доносились слова: «Ребята, не бросайте меня... Ребята, не бросайте меня...»

До этой ночи наш марш в фашистском тылу казался затянувшейся лыжной прогулкой, а теперь война объявилась во всем своем неприглядном и жестоком естестве. Все, что осталось позади, было нереальным и вроде бы никогда не существовавшим. Неужели есть на свете лето, солнце и зеленая трава? Неужели можно сидеть в теплой комнате и пить сладкий чай из самовара (почему-то непременно из самовара)? А каким чудом была казарма нашей минроты — большой класс, в котором мы построили двухэтажные нары и навалили на них целые груды соломы — как мягко и тепло в ней спать! И совсем недавно, считай перед самой атакой, мы в подмосковном клубе смотрели кино. Наша рота поместилась на балконе, и дружный хохот солдат, смеявшихся над злоключениями фашистов и лихими выходками Антоши Рыбкина, буквально оглушал...

Реальная война была совсем непохожей на ту, которую мы видели в кино. И все-таки я с благодарностью вспоминаю первые ленты о ней. Сегодня, скажем, боевые киносборники кажутся наивными и вроде бы даже кощунственными: как можно было изобретать веселые нелепицы и воспроизводить на экране это такое шапкозакидательство, когда в боях

с фашистами гибли тысячи и тысячи наших ребят, а танки Гудериана рвались к Москве? Против такого рационального суждения возразить нечего. Но логика не всегда способна выявить суть в искусстве. Наивные и простодушные кадры боевых киноборников воспроизвели на экране мечту солдата о победе над врагом, и были они своеобразной эмоциональной отдушиной в то тяжкое время, рождая чувство радости и оптимизма. Я не помню, чтобы кто-то обижался, что в них неправда о войне. Время диктовало свои требования, даже малый луч радости поддерживал надежду на победу.

Они сослужили добрую славу, фильмы тех лет. Сложен, непостижим внутренний мир солдата на войне. Решая главную задачу — одержать победу над врагом не в обобщенном, а в конкретном, сиюминутном смысле, на своем, малом участке фронта, солдат остается человеком. Спало напряжение боя, наступило хотя бы минутное затишье, и он мечтает о жизни, о живом. Он вспоминает о доме, тоскует о матери или о детях, о своих близких, он живет надеждой на любовь, ему так хочется вернуться к мирному труду. Глубоко в солдатскую душу заглянули создатели фильмов о двух бойцах, о летчиках из «беспокойного хозяйства», о секретаре райкома.

Теме всенародного подвига посвятили свое творчество И. Пырьев, А. Довженко, М. Донской, Л. Луков, Е. Габрилович, В. Пудовкин, М. Ромм, С. Герасимов, А. Роом, Л. Леонов, Э. Эрмлер, И. Савченко. Образы, созданные в фильмах военной поры Б. Андреевым, Н. Крючковым, М. Бернесом, В. Ваниным, были подлинными спутниками бойцов Советской Армии. Думается, что и сама стилистика картин военных лет, с ее неприятельской простотой, скромностью, четкостью позиций и бескомпромиссностью героев, рождала искреннюю любовь и доверие зрителей.

Огненным дыханием боев, незажившими ранами и горечью недавних утрат были проникнуты фильмы первых послевоенных лет, такие как «Молодая гвардия», «Подвиг разведчика», «Великий перелом», «Непокоренные». Радостный свет победы, гордое величие воинов, выигравших поединок с фашизмом, прочитывается в кадрах картин, рассказывающих о крупнейших операциях Великой Отечественной. Эти ленты как бы подводили итог накопленному историческому опыту народа, фиксировали факты и события военного

лихолетья. Но как показало время, наш кинематограф лишь подходил к освоению необъятного по своему масштабу и глубине пласта жизни, контуры которого весьма условно можно очертить понятием военно-патриотическая тема в советском кино. Она вобрала в себя такие аспекты бытия, как человек и война, нравственность и война, война справедливая и несправедливая, ценностные критерии личности в экстремальных ситуациях и многое другое.

Военно-историческая тема в советском кинематографе — явление уникальное и не имевшее аналогов в мировой кинематографической практике, ибо корни ее в борьбе за победу пролетарской революции и становление первого в мире государства рабочих и крестьян, в отстаивании завоеваний социализма. Ее идейно-эстетические основы заложили в своих творениях С. Эйзенштейн, А. Довженко, В. Пудовкин, братья Васильевы и ряд других художников довоенного периода. «Броненосец «Потемкин» и «Октябрь», «Мать» и «Арсенал», «Мы из Кронштадта» и «Щорс», «Волочаевские дни» и «Чапаев», «Человек с ружьем» и питерский пролетарий Максим бескомпромиссно заявили о праве трудящегося человека на революционную войну против мира угнетения и эксплуатации. Он, свободный человек с ружьем, пришел на экран, чтобы, выразив гневный протест грабительским войнам империализма, повести борьбу с теми, кто их порождает. В этом великая правота и солдата Отечественной войны.

Сегодня реваншистские круги на Западе и особенно в Федеративной Республике Германии призывают к ревизии итогов Второй мировой войны. Свою лепту в общее наступление агрессии вносят и некоторые деятели искусства. Вот уже несколько лет во многих странах на экранах появляются художественные и документальные ленты, в которых возводится клевета на Советскую Армию или подвергается сомнению тот исторический факт, что именно она сломала хребет военной машине гитлеровской Германии, принижается значение вклада советского народа в победу над фашизмом. Серия подобных фильмов была сделана в США или на деньги американских монополий. К примеру, несколько лет назад вышел боевик «Самый длинный день», о нем писали наши газеты и журналы. В этом широкоформатном фильме впечатляюще рассказано о высадке армады американско-английских войск в Нормандии в 1944 году. И... говорится, что именно эта операция

была ключевой во Второй мировой войне и привела к крушению гитлеровского рейха. О решающих победах Советской Армии в нем ни слова! Такое же искажение военной истории в фильмах «Генерал Патон», «Штайнер, железный крест» и многих других. В ряде западных фильмов в последние годы рисуются ужасы и страдания, через которые прошел немецкий народ во второй мировой войне. Некоторые из таких картин носят внешне пацифистский и, на первый взгляд, вроде бы объективный характер: вот, мол, пострадали и те, и те. Немецкие могилы, русские могилы... Что ж, горе есть горе. Нельзя не соболезновать немецким матерям, потерявшим своих сынов на войне, нельзя без боли душевной думать о всех детях, переживших бомбежки и пожары, потерявших родителей. Война противна природе человека, и с этим бессмысленно спорить. Вот только и откровенные реваншисты, и те, кто исповедует пацифизм, чаще всего обходят молчанием вопрос: а кто виновен в том трагическом прошлом и кто сегодня вздувает угли атомного пожара? Нет, нельзя ставить знак равенства между агрессором и защитником родины, нет и не может быть между ними равного морального права на применение оружия, потому что один из них — убийца, а второй объект убийства. Мы не звали на нашу землю ни гитлеровцев, ни чернорубашечников Муссолини, ни других, кто пересек границу Советского Союза в ту проклятую миллионными ночь 22 июня 1941 года, и наше право на уничтожение врага неоспоримо.

Развязанная Гитлером с молчаливого согласия и при попустительстве международного империализма Вторая мировая война вовлекла в свою орбиту многие страны и народы. Но в наиболее жестокой — тотальной — форме проявилась она на Востоке — в Польше, Советском Союзе. Вот почему как подлинное откровение была воспринята созданная в пятидесятые годы картина В. Розова и М. Калатозова «Летят журавли». Зритель вместе с ее героями пережил и горечь расставания, и крах надежд, и смерть, и голод, и холод. Картина потрясла своей художественной смелостью, жизненной достоверностью, необычной силой эмоционального воздействия, внутренней энергией. Она никого не оставляла равнодушным и вместе с рядом других картин как бы отметила начало нового этапа в художественном осмыслении исторического и нравственного опыта Второй мировой войны. Фильм

«Летят журавли» завоевал все экраны, его смотрели во всем мире!

Это была пора все новых и новых художественных открытий, вступления в творческую жизнь плеяды талантливых кинодраматургов, режиссеров, актеров, тех, кто в ближайшее тридцатилетие стал авангардом советской кинематографии. И почти все они отдали должное военно-патриотической теме. Это неудивительно — за плечами почти каждого было боевое прошлое, они были родом из войны. Даже те, кто по возрасту, состоянию здоровья или иным причинам не был на фронте, впитали в себя героический воздух времени, а что касается тягот, то и тыловая жизнь была непрерывной борьбой за жизнь и победу.

В настоящих заметках я не претендую на обобщения и оценки, не пытаюсь исследовать кинематографический процесс во времени и во всей глубине. Это скорее воспоминание, попытка подытожить личный опыт и опыт нашего поколения, зафиксированный и отраженный киноискусством. Помню ошеломление — иначе не назовешь это чувство, — рожденное первой встречей с рассказом Михаила Шолохова «Судьба человека». Оно, это впечатление, было не простым и не бесспорным. Мы еще жили во времени, когда рубежи счастья и будущего отмечались победными сводками «Совинформбюро»; для нас еще звучали музыкой неисследованных горизонтов названия городов Прага, Будапешт, Вена, Белград, мы еще мерили достоинство человека достоинством полученных им орденов и медалей, а на страницы «Правды» вышел простой русский солдат Соколов, с его бесхитростной и трагической судьбой, и высказал великую, горькую правду о судьбе целого народа в годину испытаний, о достоинстве и несгибаемости русского солдата, об истоках его мужества и патриотизма. И все это вместились в необъятно добром сердце тихого и скромного человека. Поначалу даже как-то не верилось, что этот небольшой и вроде бы простенький рассказ написал Шолохов, творец произведений, отразивших эпоху и ставших эпохой в литературе. Все так просто и непритязательно, так буднично. Чего же особенного — таких, как Соколов, миллионы... И не сразу было понять, что секрет гениального рассказа классика советской русской литературы в типичности главного героя, в эпической простоте и строгости чувств, образов и слов.

Режиссерское и актерское дарование

С. Бондарчука, поставившего фильм на основе шолоховского рассказа и сыгравшего в нем главную роль, сделало зримой и объемной правду о войне. Я могу говорить только о личном впечатлении, но появление на экране Соколова-Бондарчука потрясло: именно таким в моем воображении был Соколов. Кстати, абсолютными попаданиями в работы этого мастера для меня стали Наташа Ростова— Людмила Савельева, Петр Лопухин— Василий Шукшин. Я не рискнул бы признаться в этом, если бы не слышал от многих о таком же узнавании. Удивительный дар художника— вычленив из бесконечного многообразия человеческих типов тот, который как бы воплощает в себе представление многих.

Откровением в философском исследовании Великой Отечественной войны стал кинофильм Г. Чухрая «Баллада о солдате». Ко времени создания его советская фильмотека уже считывала немало интересных и крупных картин. Но появился милый и скромный мальчик-солдат, переживший на глазах зрителя и единоборство с танком, и светлый миг юношеской любви, и детскую тоску по материнской ласке, и бескорыстные движения души, распахнутой навстречу людям,— и все это переплавилось в большую правду о непобедимости гуманного начала, ведущего в бой Солдата Советской армии.

«Человек и война», «человек на войне», «народ и война» — киноеды по-разному пытались классифицировать опыт работ мастеров советского кино в области военно-патриотической темы. Но, думается, дело не в формулировках, да и вряд ли можно уложить в прокрустово ложе определений все многообразие искусства экрана. В. Ордынский, Р. Чхеидзе, Л. Кулиджанов, Г. Панфилов, С. Росточкий, А. Столпер, Г. Егиазаров, Б. Волчек, А. Алов и В. Наумов, Т. Левчук, А. Смирнов, С. Микаэлян, Л. Быков, С. Аранович, И. Гостев, М. Ершов, Л. Голуб, В. Туров, Р. Виктор, К. Кийск — не перечислить имена режиссеров, обращавшихся к событиям войны, и каждый искал свой подход к материалу, уже ставшему историей, свой угол зрения в раскрытии истоков патриотизма советского человека. Верность военной теме хранят многие литераторы и кинодраматурги. Едва ли не наибольшим количеством удач отмечены работы В. Ежова. Экранизированы почти все книги В. Быкова, ряд произведений Ю. Бондарева, романы П. Проскурина, Г. Маркова, К. Симонова. На страницах нашего альманаха

неоднократно появлялись сценарии В. Труни-на, и все они обрели экранную судьбу. Значительный вклад в развитие военно-патриотической темы в кино внесли Б. Васильев, В. Фрид и Ю. Дунский, К. Рапопорт, Ю. Клипков, С. Кармалита, В. Кунин, И. Болгарин, С. Жгенти, Е. Месяцев, Э. Володарский, А. Кулешов.

Поиск художественной истины потому и поиск, что идет не по проторенной дороге. Но, как правило, удача приходит лишь тогда, когда художник через себя выражает время, а не пытается через время выразить себя. Стремление быть во что бы то ни стало не таким, как все, порой рождало фильмы, далекие от реальной жизни. Желание высказать большую правду войны через правду одного окопа, верность через предательство, героизм через трусость на поверку выходили ни чем иным как манерничанием дурного толка, порождали искаженные представления о подлинном характере и событиях войны. Нет правды с позиции окопа отличной от правды, скажем, полкового штаба или Ставки. Было единство штабов и передовой, единство партии и народа, единство фронта и тыла, было кровное боевое братство воинов всех рангов, возрастов и национальностей. В этом и состояла подлинная правда минувшей войны.

Полное правдоподобие и узнаваемость отличают фронтовые фильмы, поставленные Л. Быковым. Его картина «В бой идут одни «старики» при ее высоких художественных достоинствах производит впечатление хроникально снятой жизни авиационной истребительной эскадрильи. Они до боли знакомы, эти ребята — немногословные и деловитые, гневающиеся и веселые, лихие в бою и робкие в общении с девушками. Они предельно честны и не терпят рисовки или подлости — это недопустимо перед лицом ежеминутной опасности, они, воздушные рабочие войны, буднично и безотказно делают свой повседневный подвиг. Поражает удивительно точно воссозданная атмосфера жизни летчиков-истребителей, вобравшая в себя скромность и достоинство, отвагу и расчет, смерть и смех. Так оно и было — были утраты, были и радости, из этого, как ни трудно себе представить, состоял ни на что не похожий быт войны. Иначе бы не выжить в те тяжкие четыре года.

Ощущение доподлинной правды оставляет фильм С. Арановича «Торпедоносцы». Эти люди, его герои, едины в бою и в повседневной жизни. Глубина страстей здесь, на Севе-

ре, в поединках летчиков и вражеских кораблей, проверяется не словами, а делами, жизнью. От того-то так бескомпромиссны и прямодушны эти молодые, еще не познавшие любви ребята. Думаю, что высшей похвалой создателям фильма является тот факт, что перехода от игрового материала к документальному, от вымышленных героев к подлинным просто не замечаешь. Художественный вымысел и жизнь сливаются воедино.

Иной подход, иные решения предлагает в своих фильмах Ю. Озеров. Поставив задачу рассказать о войне во всей ее протяженности и глубине, от Ставки Верховного главнокомандования до солдатского окопа, он избрал жанр исторической хроники, эпическую манеру повествования. Работу режиссера, создавшего киноэпопею «Освобождение» в соавторстве с писателем Ю. Бондаревым и киносценаристом О. Кургановым, отличает тщательное изучение исторического материала, скрупулезное воспроизведение наступательных операций Великой Отечественной войны. Все они прослежены от разработки в Главной Ставке и до завершения на поле боя. Большой заслугой Ю. Озерова является создание в этих фильмах своеобразного мемориала, в котором увековечены в живых индивидуализированных образах выдающиеся полководцы и многие большие командиры. На основе штабных документов, воспоминаний участников, оценки специалистов военной науки, личного опыта офицера Озерова, на экране восстановлены крупнейшие битвы и операции заключительного этапа Великой Отечественной. Пересказать вот так рационально и логично суть созданной Ю. Озеровым эпопеи — это сказать многое и почти ничего, потому что фильмы «Освобождения» — это не сухое свидетельство архивиста. Это страстное, живое творение художника, умеющего вылепить и реальный в своей конкретности портрет действительного участника событий тех дней, и нарисовать впечатляющие своим масштабом, художественной выразительностью и страстностью гигантские панорамы танковых атак, выхватить из общей картины мгновение жизни отдельного бойца. Мне кажется, что озеровская батальная киноживопись — это несомненно новое слово в киноискусстве, в чем-то продолжающее традиции русской панорамной живописи.

Верный своей теме, Ю. Озеров готовит к сорокалетию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—45 годов

еще один цикл картин о ее крупнейшей битве — два двухсерийных фильма, посвященных разгрому немецко-фашистских войск под Москвой. Их герои — исторические участники боев на границе и те, кто в кровавых схватках сдерживая натиск гитлеровской военной машины, воевал под Смоленском и Ельней, оборонял Москву и нанёс первый сокрушительный удар по фашистским полчищам. Принцип построения картин тот же, что и в «Освобождении» — от Ставки до передовой.

Великая Отечественная война была поистине всенародной. Во имя победы боролись и погибали бойцы передовой линии фронта, разведчики и партизаны на оккупированной земле. Торжеству правого дела отдавали свои силы миллионы и миллионы солдат армии труда, поставлявших фронту оружие, продовольствие, снаряжение.

Созданный еще в годы войны фильм «Секретарь райкома» стал, условно говоря, отправной точкой для целого направления в киноискусстве, связанного с отображением подвига партизан и подпольщиков. «Константин Заслонов», «Часы остановились в полночь», «Сыновья уходят в бой», «Через кладбище», «Пламя», «Девочка ищет отца» и ряд других лент, воспевающих подвиги народных мстителей, поставили белорусские кинематографисты.

Явлением в советском киноискусстве стал выход на экран картины режиссера Л. Шепитько «Восхождение», в основу которой взята повесть белорусского писателя В. Быкова «Сотников». Во внутренней озабоченности героя — партизана, в его святой любви к Отчизне и исполняющей ненависти к врагу как бы сфокусирована воля всего советского народа, его непокорный и непокоренный дух. Но поступки Сотникова — это не жертвенность фанатика, а осознанный подвиг сына советской земли, коммуниста, сознающего свое нравственное и духовное превосходство над фашизмом.

Историю партизанского движения на Украине восстановил в серии художественных фильмов Т. Левчук. Многие из картин, снятых на разных киностудиях, рассказали о бойцах «невидимого фронта» — советских военных разведчиках и чекистах. Данью уважения к памяти о всенародном подвиге стал двадцатисерийный фильм «Великая Отечественная», построенный целиком на документальном материале. Интересны фильмы режиссера И. Гостева «Фронт за линией фронта» и др. о партизанах.

Широкое признание получили фильмы военной тематики, поставленные Е. Матвеевым. Дилогию, созданную на основе романа П. Проскурина «Судьба», и кинофильм по сценарию П. Попогребского и Б. Добродеева «Особо важное задание» объединяет умение режиссера проникнуть в глубь народного движения, вскрыть изнутри истоки патриотизма. С сердечным сочувствием и тревогой всматривается он в непростые судьбы тех, кого принято называть простыми людьми, и соединяет их, эти судьбы, в одну большую судьбу. Высокий эмоциональный накал и цельность характеров, тщательная проработка мысли в матвеевских кинолентах делает зрителей соучастниками событий, происходящих на экране, рождает симпатию к героям. От кадра к кадру накапливается ощущение всенародного подвига, раскрывается благородство мыслей и дел людей, воюющих на фронте и в тылу врага, кующих оружие победы.

Сорокалетие финала Второй мировой войны Е. Матвеев отмечает новой работой — двухсерийным фильмом «Победа», поставленным по одноименному роману А. Чаковского. Он нов и необычен также для творческой биографии режиссера. Это историческая хроника, воспроизводящая события и факты Потсдамской конференции 1945 года. Воспоминания о том времени, как это происходит и в романе, даются на фоне событий недавнего времени — подписания Хельсинского акта о безопасности в Европе.

Таким образом, советский кинематограф встречает сорокалетний юбилей победы фильмом о финале войны. Но тема героического прошлого не перестанет волновать художни-

ков кино. Память о подвиге народа, о тех, кто погиб, защищая Родину, бессмертна. Она, эта память о прошлом, служит предостережением на будущее.

Недавно мне посчастливилось увидеть сорокалетней давности документальный фильм о параде Победы. Как назвать то впечатление, которое родилось во время просмотра? Ошеломление, потрясение, восхищение — все не то, не те слова... Советские воины — могучие, статные, словно литые, уверенно и спокойно идут по Красной площади, сияет золото наград, у иных их столько, что кажется, будто грудь покрыта панцирем. Сводные полки фронтов, развернув боевые знамена, имея во главе полководцев, неудержимой лавой движутся мимо Мавзолея, и, глядя на них, понимаешь без слов, что эти чудо-богатыри не могли не победить, и нет такой силы, которая может сдержать их натиск. Лица солдат — спокойные и взволнованные, веселые и озабоченные, добрые и суровые. Маршалы и генералы — какое богатство и неповторимость характеров, сколько достоинства в осанке и в выражении таких дорогих нам лиц, само бесстрашие смотрит с экрана. И падают, падают к подножию Мавзолея фашистские знамена, солдаты кидают их под ноги деловито и обыденно. Совершив это, не спеша отходят. Но, пожалуй, наиболее впечатляющее — это глаза тысяч москвичей и гостей столицы, стоящих у Кремлевской стены. Они просто излучают свет счастья, надежды и веры. Время подтвердило эти надежды — вот уже четыре десятилетия мир живет без большой войны. И это заслуга прежде всего советских солдат и тружеников, одержавших победу над фашизмом, несущих и сегодня вахту мира.



ПАВЛЕНОК БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ (родился в 1923 году) — участник Великой Отечественной войны. В послевоенные годы занимался партийной и журналистской деятельностью. Автор книг, повестей и рассказов «Самый необходимый человек», «Вернись к юности», «Друзей не выбирают», многих очерков и публицистических статей, участвовал в создании сценариев художественных фильмов. По этим сценариям поставлены фильмы «Черная береза», «Было у отца три сына». В кинематографе работает более двадцати лет,

**АЛЕКСАНДР
РЕКЕМЧУК**

ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ



Из деревянных рюх выложено «пулеметное гнездо», в амбразуре — ствол пулемета.

Метровая бита, просвистев в воздухе, сметает с площадки все пять рюшек разом — только пыль взвилась над тем местом, где они были.

А теперь поставлена другая фигура, похожая на бревенчатый колодец — впрочем, она так и называется: «колодец».

Бита со звоном вышибает и ее.

Чередуются фигуры: «закрытое письмо», «тир», «самолет», «часовые», «артиллерия» — и одну за другой их вышибают биты, посланные сильной и точной рукой.

Оркестр играет туш.

На почетный пьедестал, установленный посреди городошной площадки, восходит Владимир Федорович Бобылев — уже немолодой мужчина в спортивном костюме с эмблемой «Спартак», с головой кудрявой, чуть тронутый сединой. Ему повязывают через плечо алую ленту с надписью «Чемпион».

Зрители рукоплещут.

И среди них мы замечаем красивую женщину, возраст которой можно было бы считать разве что просто зрелым, если бы рядом с нею не оказались девушка лет восемнадцати, очень похожая на мать, и шестнад-

цатилетний юноша, очень похожий на отца — того, что на пьедестале.

А назавтра, уже в деловом костюме и при галстучке, с папкой «К докладу», Владимир Федорович Бобылев вошел в солидный кабинет.

Обменявшись рукопожатием с Прокшиным, сел в кресло.

— Владлен Васильевич, я хочу вернуться к вопросу о Кокшинском заводе. Напомню: два года назад мы сняли с его изделий Знак качества, но это, как говорится, не возымело — по-прежнему гонят свою продукцию, которая морально устарела, да и качество все хуже и хуже...

— А почему так? — спросил Прокшин. — Безответственность?

— Пожалуй, нет... Видите ли, Владлен Васильевич, оборудование Кокшинского завода само по себе морально устарело и практически износилось. Здесь ждать перемен неоткуда — чудес не бывает. Но министерство не спешит обновлять технику — ведь план Кокша дает, сбывать продукцию тоже умудряется... Чего им волноваться, зачем раскошеливаться?

— Что же ты предлагаешь?

— Я считаю необходимым пойти на крайнюю меру: остановить производство, — реши-

тельно заявил Бобылев.— Право на это ГОСТандарт имеет: вот заключения экспертов, вот рекламации, вот письма...

Прокшин взял в руки бумаги, но вдруг, улыбнувшись, отложил их в сторону.

— Погоди, Владимир Федорович... С Кокшей, полагаю, вопрос ясен... А я вот хочу о другом: о тебе самом. Ты, говорят, опять чемпион?

— Да, сохранил звание.

— Сохранил... Да как же это тебе удается, Бобылев, сохранить звание, сохранить себя? Вон ты каков молодец! А я заглянул в твое личное дело, приносили мне, и моргаю глазами: через месяц, седьмого августа — шестьдесят лет... Неужели верно?

— Ну, раз в личном деле так — значит, верно...

Дверь кабинета распахнулась, вошел человек, который, вполне очевидно, знал за собой право толкаться в начальственные двери без особого спроса.

— А вот и профсоюз пожаловал, очень кстати, — обрадовался Прокшин. — Послушай, Евгений Павлович, ведь это по твоей части: через месяц Бобылеву исполняется шестьдесят лет. Нужно организовать юбилейное мероприятие по первому разряду: сам посуди — ведущий эксперт отрасли, кандидат технических наук, коммунист, ветеран Великой Отечественной войны, наконец, чемпион... Разве не повод?

— Организуем, — с готовностью кивнул Евгений Павлович. — Все соорудим как подобает. Только уточните: банкет — за счет администрации?

— Нет, — покачал головой Прокшин, — банкет за счет юбиляра. А если откажется — скинемся, не впервой...

Дилия Петровна, жена Бобылева, металась по спальне в легком халатике.

— Нет-нет, Володя, ты всегда был излишне доверчив, даже наивен, а теперь эти качества не в моде — во всяком случае, они ни к чему... Нужно смотреть на вещи реально. Ты думаешь, что им так уж не терпится погулять на твоём банкете, высказать, как они тебя любят и ценят? Ну, погуляют, ну, выскажут... А еще через месяц Прокшин вызовет тебя и скажет: Владимир Федорович, пора — оформляй пенсию. И я тебя уверяю, что у него уже есть на примете человек, которому обещано твое место: молодой, перспективный, и ножки затекли, дожидаясь...

— Лиля, ну нельзя же так! — возмутился Бобылев. — Это все твои предположения, догадки. Я знаю, как ко мне относятся в коллективе, знаю, что думает обо мне руководство — наоборот, были намеки...

— Хитрят! Чтоб не настораживать, чтобы ты не успел подстраховаться... Послушай, Володя, я врач, а когда вызывают на сердечный приступ, люди не утаивают причин, выкладывают, как на исповеди. И я знаю, что очень часто это стрессы, вызванные оставлением работы, когда вдруг перед человеком — пустота, как пропасть...

— Ну и черт с ними! — вскочил захлестнутый обидой Бобылев. — Выйду на пенсию — ну и что с того? Буду ездить по санаториям — бесплатно, ведь я фронтовик. Займусь судейством в спортобществе... Чем не жизнь?

Лиля подбежала к нему, обняла, усадила на кровать, поцеловала, но сказала непререкаемо и строго:

— Нет! Слышишь? Нет и нет. Никакой пенсии, никакого судейства. Ты для этого слишком молод. Ведь я лучше всех знаю, как ты молод!

— Ну, это... — отмахнулся Бобылев.

— Ты не понял. Я просто знаю твой организм: он у тебя, как у юноши.

— Тогда чего мне бояться? Наймусь молодобойцем... — громыхнул он кулаком по тумбочке.

— Тише. Я не хочу, чтобы дети тревожились раньше, чем мы решим... — Она показала глазами на стену, завешанную мохнатым ласлом.

— А что мы решим? — удивился он.

Лиля отошла к окну.

— Володя, неужели ты забыл? Ведь тебе на самом деле будет вовсе не шестьдесят... Помнишь, ты мне рассказывал, что во время войны переправил в метрике год рождения — прибавил себе два года, чтобы взяли в армию, чтобы попасть на фронт. Ты не выдумал это?

— Нет.

— Ну вот. А теперь надо вернуть эти два года. Восстановить твой настоящий возраст — пятьдесят восемь, поменять документы.

— То есть как? — оторопел Владимир Федорович. — Но ведь это не только паспорт... это еще и анкета, и автобиография... Да ведь тогда придется менять даже партбилет!

— Даже партбилет, — подтвердила жена. — Ну сам подумай: почему ты должен быть старше, чем ты есть на самом деле?

Бобылев, в полной растерянности, зачем-то оглаживал пеструю наволочку подушки.

— Но как же это — реально? Послезавтра мы едем в отпуск, в Крым. Значит, надо послать запрос в Холмы, в ГорЗАГС, мол, так и так... а когда вернемся...

— Нет, Володя, перепиской здесь не обойтись. Входящие, исходящие... на одном столе поваляются, на другом... нет, это слишком долго. А у тебя всего месяц срока — до седьмого августа.

— Что же ты предлагаешь?

— Мы не поедem в Крым. Поедем в Холмы. И там, на месте...

Владимир Федорович поднялся, прошагал комнату наискосок, до окна, вернулся и опять — к окну. В задумчивости потирал подбородок. Кажется, он не только взвешивал неожиданное предложение жены, но и не решался высказать что-то еще, вставшее сейчас перед ним. Однако решилcя:

— Лиля, ты сама должна была понять, что все эти годы... что мне очень хотелось побывать в родном городе. Тем более, мама, пока она была жива, пока она была с нами... несмотря на возраст, она каждое лето ездила в Холмы, а я... даже не мог хотя бы однажды поехать вместе с нею. И с тобой, конечно...

— Ты не мог поехать в Холмы потому, что там живет Анна, твоя первая жена. Ты не хотел встречи с нею, может быть, даже боялся этой встречи... И меня, как ты догадываешься, это тоже не слишком прельщало.

— А теперь?

— А теперь, Володя, никуда от этого не денешься... придется ехать.

Утром, за общим завтраком, Владимир Федорович заговорил осторожно:

— Тут надо обсудить один вопрос...

Марина и Дима подняли на отца глаза.
— Да, собственно, обсуждать нечего — это уже не подлежит обсуждению, — вмещалась Лилия Петровна. — Планы изменились, в этом году мы не едем в Крым.

— А куда мы поедem — на Кавказ? — осведомился сын.

— Нет.

— Куда же? — с очевидным интересом спросила Марина. — Куда вы собираетесь ехать?

— Что значит «вы»? — возразила мать. — Не «вы», а «мы»... В этом году мы поедem в Холмы — в родной город вашего отца.

За столом воцарилась пауза: те, для кого

это было новостью, в задумчивости позвякивали ложками, а те, кто сообщил новость, выжидали настороженно — сколь бурным окажется всплеск обманутых надежд.

— А что — это идея! — против ожидания легко согласился Дима. — Я давно мечтал побывать на земле предков... Сколько дотуда?

— Семьсот километров, — сообщил отец.

— Какое шоссе? Рязанка?

Марина отодвинула тарелку, поднялась рывком, сказала:

— Ну и хорошо, что так, что сразу... я целый месяц боялась заикнуться, а теперь можно.

— О чем это ты? — вскинула брови мать.

— Сейчас узнаете... — Марина выбежала из столовой.

— А где мы остановимся в Холмах? — спросил Дима. — Там есть мотель? Или кемпинг?

— Нет, мы остановимся у Гриши Ворожуна — моего друга, однополчанина... Да ты должен помнить его: он был в Москве лет пять назад, приезжал в Комитет ветеранов — ну, вспомни, такой усатый крепыш, вся грудь в орденах...

— Ну, я тогда еще маленький был — пять лет назад. — Дима потер пальцами лоб. — Грудь в орденах... Сколько их к нам приезжало, папа, и у всех грудь в орденах.

Дверь широко распахнулась, и перед сидящими за столом предстала Марина в новехоньком шуршащем комбинезоне, зеленой «бойцовке» с трафаретами на груди и рукаве: «ВССО-Москва».

— Теперь можно... — повторила она. — Я давно решила, но боялась сказать. Так знайте: я все равно не собиралась в Крым. Потому что записалась в институтский стройотряд — мы будем работать за Можайском, строить птицефабрику.

— Как же ты могла записаться, не спросив меня? — возмущилась мать.

— А ты бы не разрешила. Но, понимаете, я еще не знала... Ведь едут только ребята, девушкам — отказ, мол, из-за вас работы больше, а заработки меньше... Представляете? Но для меня исключение — берут! — Ее лицо просияло гордостью.

Дима откинулся к спинке стула, постучал пальцем по скатерти, спросил введливym следовательским тоном:

— А кто там, у вас в стройотряде, комиссаром?

Щеки Марины запунцовели.

— Валерий Фотиев, с третьего курса. Он был у нас, на моем дне рождения.

— Это такой усатый крепыш? — продолжал вредничать братец.

— Да, у него усы... ну, и что с того?

— Все понятно, — кивнул Дима, значительно поглядев на родителей.

Лилия Петровна, нахмурясь, разливала по чашкам кофе. Кажется, только сейчас она поняла, что сложности жизни вряд ли будут исчерпаны предстоящей поездкой в Холмы.

— А ты — решительная девица.

— Вся в тебя, мамочка!

Голубой фургон «Жигули» бежал по шоссе, минуя подмосковные, дачного облика места.

Дима, сидевший впереди, рядом с отцом, взмолился:

— Папа, ну дай теперь я!

— А ты кто такой? — покосился на него Бобылев. — Ты — несовершеннолетний гражданин, не имеющий права садиться за руль, поскольку водительские права даются лицам, достигшим восемнадцати лет. А тебе сколько?

— Мне шестнадцать. Но у меня удостоверение — «Юный водитель», вот... И ты знаешь, что я вожу машину, как бог! Ты видел...

— Я не видел, как бог водит машину.

— Ладно. Но учти, это даже критиковалось в газетах. С одной стороны — молодежь, на производстве! Молодежь, овладевай техникой! А с другой стороны — никаких прав...

— М-гм, — посочувствовал Бобылев.

— А, между прочим, в правилах сказано, что лица, не достигшие восемнадцати лет, могут вести машину в присутствии и под присмотром взрослых. Пункт двадцать три, два.

— Вот теперь убедил!

Владимир Федорович свернул к обочине, притормозил, выключил зажигание.

— Садись, обучаемый.

Лилия, привалившись сзади к рюкзаку, вскинулась, вдруг вспомнив:

— Володя, ты дал Марине номер телефона в Холмах, адрес?

— Дал.

Повеселевший сын повернул ключик в гнезде. Тронулись.

— А я-то все гадал: что это моему сыну так захотелось посетить землю предков?.. — усмехнулся Владимир Федорович. — А ему, оказывается, без разницы: что Крым, что Холмы — лишь бы крутить баранку...

Машина мчалась по шоссе, обгоняя грузовики и туристские «Икарусы».

Их первый ночлег был в сосновом лесу, подступившем к дороге античной колоннадой прямых стволов, а сверху заслонившем небо плотно сдвинутыми кронами.

Бобылев и Дима сидели над костерком — крохотным, непылким, так, для настроения, — подбрасывая в него сухие веточки и старые шишки.

— Папа, расскажи, как это было — как ты прибавил себе года. Ведь я не знал.

— Что рассказывать? Было это в сорок втором, летом. Только что пришла похоронка на отца — он погиб под Вязьмой... А тут немцы опять пошли в наступление — на юге, пришлось эвакуироваться на Урал... Мать, бабушка твоя, Настасья Даниловна — она вся, понимаешь, была какая-то потерянная: и похоронка, и этот переезд... Конечно, жалко ее было. Но в то лето, мне кажется, жалости уже ни в ком не осталось... Поняли: если их сейчас не удержать, немцев, тогда всё... Паспорт я еще не успел получить, а метрика была на руках. Ну, я и переправил год рождения — сжулил, конечно, потому тебе и не рассказывал, — двадцать пятый на двадцать третий. «Пятерку» на «тройку», всего одна цифра...

— Это легко, всего одна черточка, — понимающе кивнул сын.

— А ты откуда знаешь? Что — пробовал?

— Пробовал, только наоборот: «тройку» на «пятерку»... — признался Дима. — Но это давно было: еще в шестом классе.

— Вот как? — насутился было Владимир Федорович. — Ну ладно, за давностью лет прощается... А ростом я уже порядочно вымахал, руки, плечи — будь здоров... В Западной Сибири тогда стояла дивизия на формировании, на пополнении, а с новобранцами жидковато было. Знаешь, откровенно говоря, в метрику мою не больно-то и заглядывали, а я ее потом порвал... Зачислили в строй. Ну, обучение: строевая, уставы, стрельба по мишеням, «вперед штыком коли, назад прикладом бей...» Потом — присяга. И — в Сталинград, в самый огонь...

Дима, не отрываясь, смотрел на колеблющееся пламя костра. Потом спросил:

— Значит, тебе тогда было ровно столько, сколько сейчас мне?

Бобылев с некоторым изумлением — будто сделав для себя неожиданное открытие — посмотрел на сына: он был тоже росл, широкоплеч, вот разве что лицо еще совсем мальчишеское.

— Да, ровно столько..

Мелькнула на развилке стрела: «г. Холмы».

Машина въехала на площадь районного центра с арочками древнего гостиного двора, стеклянным фасадом нового универмага, доской почета, колокольной в глубине кленовых куп, рядами жилых пятиэтажек.

Свернули за угол. Бобылев, повертев головой, нашел серое кирпичное строение начала тридцатых годов за железной оградой, закричал в восторге:

— Это школа! Моя школа... Я тут учился до восьмого класса. И еще после войны два года — ходил в вечернюю...

Лилия, мельком оглянувшись на школу, пристально всмотрелась в ликующее и возбужденное лицо мужа.

Григорий Никитич Ворожун — коренастый и плотный человек, уверенно чувствующий себя лишь в военной форме, а сейчас он был в штатском, точнее — по-домашнему, в рубашке с уже расстегнутым воротом и оттянутым книзу узлом галстука, — поднялся с очередным тостом:

— Я рад этой встрече... Не буду скрывать: тогда, в Москве — хотя Лилия Петровна очень ласково приняла меня в своем доме, — он поклонился ей, — но сам Володя, друг детских лет, фронтовой товарищ и потом, после войны, пока он не уехал в аспирантуру... — Ворожун украдкой смахнул набежавшую слезу. — В общем, мне тогда показалось, что между нами уже нет былой дружбы — открытой и сердечной, — будто между нами что-то встало, какая-то стена...

— А ты горазд сочинять, — буркнул Владимир Федорович.

— Нет, я не сочиняю. Хотя, если честно признаться, то у нас, провинциалов, когда мы приезжаем в Москву, появляется такая обостренная чувствительность: а рады ли нам старые друзья? Может быть, они чуточку забурели в столице и посматривают на нас свысока? И ждут — не дождутся, пока мы уедем...

— Гриша, — укорила Ворожуна его супруга Мария Карповна, сочетающая в себе наставнические повадки учительницы с радушием хлебосольной хозяйки, — ты что плетешь? Ведь встал для тоста... ну, какой ты хотел сказать тост?

Григорий Никитич, поморгав, нашел ускользнувшую было мысль:

— Чтоб все были здоровы! И со свиданья-цем... Ура!

— А вот огурчик малосольный, попробуйте, — угощала Мария Карповна. — Со своего

огорода, и засолка свежая... в этом году огурцы раненко пошли.

Было заметно, что Мария Карповна старается поближе и поотчетливей разглядеть лицо гостя: понять, то ли она в самом деле так молода, как кажется, или все дело в хитростях косметики?

Как ныне повелось во многих домах, ужили при включенном телевизоре, на экране которого в данный момент вели оживленную беседу композитор, поэт и ведущий популярной передачи «Песня далекая и близкая», — и одна застольная беседа как бы дополняла другую.

— ...летом сорок второго года, находясь в войсках Юго-Западного фронта, — рассказывал сегодгривый композитор, — я совершенно случайно прочел в армейской газете «За Родину!» стихотворение автора, имя которого мне ничего не говорило. Стихи были, прямо скажем, безыскусные, хотя и очень искренние... Но через несколько дней эти строки вдруг опять возникли у меня на слуху, уже связанные с какими-то мелодическими ходами, притом это было совершенно произвольно — я вовсе не собирался писать на них музыку. Тем более, что я уехал в Москву, не захватив с собой газеты, и теперь мне приходилось не столько вспоминать, сколько — уж вы извините, дорогой автор, — сочинять, досочинять самому...

На экране телевизора возникли хроникальные кадры, запечатлевшие берега Волги в августе 1942 года: руины разбомбленного Сталинграда, космы черного дыма, поднявшиеся высоко в небо, корма затонувшего речного парохода, цепи солдат, шагающих к переправе...

Бобылев и Ворожун, оцепенев, смотрели на экран.

Потом Владимир Федорович тоже поднялся с рюмкой в руке.

— Дорогая Мария Карповна, дорогой Гриша... Я, конечно, очень волнуюсь. После стольких лет вернулся в родной город. И сейчас я вспоминаю, как вернулся сюда в сорок пятом... Много людей ушло отсюда на войну, а вернулись немногие. Из нашей школы — всего трое: Гриша Ворожун, я да еще Степан Лысков...

— Степа умер в этом году, — сказал Ворожун, теребя ус. — Я тебе не написал, чтоб не расстраивать.

— Умер? — тихо переспросил Бобылев. — А... от чего?

— Да ни от чего. Лег спать — и не проснулся.

— Вот как...

Владимир Федорович потоптался на месте и, ничего больше не сказав, выпил рюмку мрачно, как пьют за упокой.

Жена хотела остеречь, чтобы не частил, но не посмела.

— А теперь я передам слово автору текста, пожалуйста... — представил ведущий.

Поэт улыбнулся, откашлялся в кулак.

— Видите ли, я в ту пору еще и не помышлял, что займусь этим делом профессионально, хотя теперь у меня вышло восемь книжек стихов... А тогда, честное слово, я даже и не знал, как пишутся стихи. Вот композитор сказал, что у него как бы сама собой мелодия зазвучала. Но, может быть, это еще и потому, что тогда я эти строчки не записывал, тем более — бумаги было в обрез, на раскурку не хватало, а напевал про себя, чтоб не забылось. Музыка, конечно, была совсем другая, и если бы я даже помнил, то все равно не посмел бы сейчас ее воспроизвести...

На экране засмеялись неподдельно.

— Эту песню мы попросили исполнить для наших слушателей заслуженную артистку РСФСР... — объявил ведущий.

Но пока певица шла к роялю, а композитор располагался аккомпанировать ей, Мария Карповна, не выдержав, сообщила:

— А нашей Анне Илларионовне, Аве, недавно присвоили звание заслуженной учительницы РСФСР. Уж она-то заслужила, она...

Осеклась на полуслове под грозным взглядом мужа.

Но все уже услышали и поняли, даже Дима, склонившийся низко над тарелкой.

Зазвучала песня.

Воспользовавшись этим, Лилия Петровна наклонилась к уху мужа:

— Я понимаю, что в таком маленьком городе вы вряд ли разминетесь... Но я прошу тебя лишь об одном: не ходи к ней домой... это будет тяжело и неловко для вас обоих.

— Володя! — окликнул товарища Ворожун. — Да это же наша песня, только слова почему-то не те... Помнишь?

Он громко и с воодушевлением запел, Бобылев подхватил.

Теперь оба застолья наконец-то соединились, хотя певица на экране пела одно, поэт, робко и неслышно пошевеливая губами, твердил другое, а Ворожун и Бобылев во весь голос распевали третье, — но мелодия почти совпала.

Утром они отправились вершить дела.

Ворожун, как и большинство отставников, не упустил случая надеть парадный мундир с золотыми майорскими погонами, золототканым поясом при кортике, левая и правая стороны его широкой груди были густо увешаны орденами и медалями, ветеранскими знаками.

Бобылев, уступив настояниям друга, тоже пристегнул планку пестрых ленточек в четыре ряда.

— Вот здесь, — Григорий Никитич привел гостя к крыльцу двухэтажного кирпичного дома старой кладки с таблицей у входа: «Отдел ЗАГС Холмского райисполкома».

— Да я помню, тут и было, — сказал, чуть смутившись, Бобылев.

— Володя, ты, конечно, извини, но я потопал. Нужно собрать ребятшек, а сейчас, сам знаешь, каникулы, кто где, — но ничего, у нас это налажено, по цепочке... О, гляди!

На песчаном пустыре, примыкающем к улице, мальчишки играли в городки: летели биты, со звоном рассыпались пирамиды рюшек, пыль вздымалась столбом, доносились ликующие возгласы...

Друзья улыбнулись, вспомнив былое: город Холмы издавна был славен городошниками.

— Мы ждем тебя к двенадцати, — напомнил Ворожун и зашагал прочь.

Владимир Федорович поднялся по ступенькам, вошел в коридор ЗАГСа.

У одной двери приглушенно гомонила свадьба: невеста в белом платье до пят и кийской фате, жених в чопорной тройке, родители, дружки и подружки.

— Прошу... — сказала, распахивая двери, женщина с красно-синей лентой через плечо. Из динамика грянул свадебный марш Мендельсона.

Прошел до конца коридора, увидел другую дверь, скамью, на ней женщину в черном, с распухшим от слез и лекарств лицом, ее утешал юноша лет шестнадцати и девушка лет восемнадцати, тоже, вполне очевидно, измученные горем и бессонницей.

Свернул за угол, тут была еще одна дверь с табличкой «Заведующий». Постучал, открыл. ...Заведующая внимательно прочла его заявление, полистала паспорт, кивнула:

— Что ж, попробуем...

— Редкий случай? — улыбнулся Бобылев.

— Да как вам сказать... По таким вопросам к нам чаще обращаются женщины. Пока молоды, а особенно, когда уже не первой молодости, всеми правдами-неправдами пытаются убавить себе года... И, представьте себе,

иногда удается. А потом, когда дело к пенсии подкатит — вот тут, глядишь, и понадобился полный возраст...

— Ну, у меня наоборот.

— Я понимаю. Но для этого нужно поднять реестровые книги. А это — областной архив. И хорошо, если сохранились. Двадцать пятый год, дела давние... а по нашим местам все-таки прошла война. Мы сделаем запрос.

— В область? Это — долго?

— Потребуется, конечно, время. А вы пока отдохните, — посоветовала она, ведь родные ваши места. И лето вон какое доброе...

Она поглядела в окно.

Мерно и торжественно рокотали барабаны.

На школьном плацу маршировал ритуальный взвод: полсотни мальчиков и девочек из старших классов, одетых в белые сорочки с погонами, в белых портупях, голубых брюках и юбках, таких же пилотках со звездочками.

— Взво-од, нале-ево! — пронзительным гололорсом подавал команды гвардии майор Ворожун.

Строй повернулся круто и — фронтом — зашагал прямо на Бобылева. Выправка была безукоризненно четкой, военрук знал свое дело.

— Кру-угом!.. Напра-аво! — командовал Ворожун. — Взво-од, сми-р-рно! Р-равнение направо!

Теперь они шли мимо, попирая подошвами покрытие, плотно прижав руки к бедрам, повернув лица к высокому гостю.

Бобылев неловко переминался с ноги на ногу, как человек, знающий армейские порядки, понимающий, что сейчас надо бы вскинуть ладонь к козырьку, а нельзя — голова непокрыта.

Дима, пришедший, как они сговорились, прямо в школу, стоял в сторонке, подпирая столб баскетбольного щита.

Дробь барабанов слилась в сплошной гул.

Отделившаяся от строя шеренга перешла на церемониальный замедленный шаг, каким направляются к Вечному огню: ноги взметываются струной почти на уровень пояса, отмашка рук — до плеча...

Затем они собрались в комнате военной подготовки, где на стенах висели портреты маршалов, фотографии героев, плакаты ДОСААФ и карты бывших сражений, испещренные красными и синими стрелами.

В глубине класса сидели школьные учителя,

которых тоже позвали на встречу с бывшим выпускником, участником войны, — в основном, женщины, помоложе и постарше, среди них Мария Карповна.

Сам Григорий Никитич прохаживался меж рядов, наблюдая за порядком и тишиной.

— ...иногда мне приходится бывать на таких встречах, — говорил Владимир Федорович Бобылев. — Приглашают через Комитет ветеранов, через райком партии. Выступаю, рассказываю. А сам присматриваюсь к аудитории, в глаза заглядываю: нет ли в них скуки? Зачем скрывать — ведь случается, что и скука, и смешки, и шушуканье...

— Да, с дисциплиной у нас еще бывает слабовато, — отозвался гвардии майор Ворожун.

— Нет, я не о том... Я знаю, что наше молодое поколение интересуется временем и событиями Великой Отечественной войны, бессмертным подвигом народа... Так, может быть, мы рассказываем не так? Или, может быть, вы всё уже знаете? Ну да: книги, кино, телевизор... Я порой сам себя ловлю на том, что вот, рассказываю вроде бы и свое — пережитое, лично выстраданное, оплаченное кровью, — а слова идут какие-то не свои: будто чью-то книжку пересказываю или кино... Просто очень много времени прошло с тех пор. И память, конечно, начала слабеть. Я вот совсем недавно обнаружил, что мне перестала сниться война...

Ребята в классе засмеялись: им понравилось это неожиданное признание.

Ворожун подошел, буркнул на ухо:

— Что-то тебя повело не в ту степь...

Владимир Федорович помолчал, откашлялся сосредоточенно, продолжил:

— Так вот, когда началась война, я жил в этом городе, учился в этой школе. Отец ушел добровольцем на фронт и весной сорок второго погиб под Вязьмой...

Глаза ребят сделались очень внимательными. И глаза учительниц, особенно пожилых, наполнились неподдельным сочувствием.

— Мне было тогда пятнадцать лет... вот-вот должно было исполниться шестнадцать, седьмого августа...

Одна из учительниц, седые волосы которой были скототы сзади в тугий пучок, не поворачивая головы, осторожно повела глазами вбок...

На задней парте, присоедяся к миловидной девочке, сидел Дима, вероятно очень похожий на Володю Бобылева, каким тот был сорок с лишним лет назад.

Закатной порой, в беседке на склоне холма, что над тихим озером, сидела в одиночестве эта пожилая учительница — Анна Илларионовна Бобылева.

Ворожун провел Владимира Федоровича тропинкой в густых зарослях орешника, остановился, сказал:

— Вот, возьми... чтобы всё, как полагается.

Он сунул в руки Бобылеву чуть привядший букет астр и коробку шоколадных конфет.

— Да зачем это? — тихо запротестовал Владимир Федорович. — Нашел кавалера.

— Бери. Так надо. Ведь у нас, брат, провинция, глушь, обычаи дедовские.

Сунув коробку и цветы под мышку, Бобылев зашагал к беседке.

Ворожун догнал его, справился заговорщицки:

— Ты ее провожать пойдешь?

— Нет. Зачем представление на весь город?

— Ну, правильно... тогда я тебя здесь по дождю, погуляю.

— А помнишь — в «Фаусте»... — сказала с печальной улыбкой Анна Илларионовна, и тотчас спохватилась: — Ну вот, ведь понимаю, что не должна, что не урок, а само собой получается, извини... Помнишь, у Гёте: «Я следовал желаньям, молодой, я исполнял их сгоряча, в порыве. Тогда я жил с размахом, с широтой, ну а теперь — скромней и бережливей...»

— Да что ты, Аня... — покачал головой Бобылев. — Какой из меня Фауст? Я в Госстандарте работаю.

— Знаю. Но это всегда в тебе было главным, какой-то порыв неистовый — все успеть, все сделать, а сделав, переступить, — и опять за новое, и удержу ни в чем — страсть... Теперь — иначе?

Владимир Федорович подумал, ответил:

— Я не знаю, как теперь, — еще сам не понял... Но лучше я постараюсь объяснить, почему была эта страсть — все успеть, все сделать... Понимаешь, было такое ощущение — тогда, после войны, может быть, и не очень осознанное, но сильное, что ты уже сделал самое главное дело своей жизни: воевал, победил. И в общем, больше этого дела все равно ничего быть не может... А тебе всего двадцать лет, жизнь только начинается... понимаешь? Была боязнь расслабиться, подвести черту раньше времени. Чего уж греха таить — случалось ведь и такое...

— Да, случалось, — кивнула она.

— Вот, наверное, откуда этот порыв. — Он опять задумался, спросил: — Послушай, Аня, а у них, у нынешней молодежи, это есть — порыв?

— У меня в нынешнем году был выпуск. Ну, ты понимаешь, что уже далеко не первый, счет потеряла. И когда они покидают школу, мне кажется, что я все уже знаю о них. И как разговаривать с ними — тоже знаю, умею... Но осенью они приходят в класс, и я вдруг обнаруживаю, что надо все искать заново — потому что они приходят совсем другие... Володя, ну а если бы не эти два года... если бы ты мог возвратить, вернуть не два года, а всю жизнь — с самых юных лет... Ты бы все оставил в ней так, как было, как есть?

— Да, — быстро и не колеблясь ответил Бобылев.

Анна Илларионовна приподняла букет, понюхала астры, сказала:

— Значит, ты счастливый человек.

Служба кончилась. Богомольные старушки в черных платках выходили из церкви, оборачивались и крестились, сойдя с паперти.

— Пошли, — сказал Григорий Никитич тем приглушенным тоном, каким переговариваются в разведке, забравшись в глубокие тылы противника.

Они с Бобылевым, озираясь, вошли в храм Николы — единственную действующую церковь в Холмах.

Пономарь-общественник гасил пламешку в свечницах и паникадилах.

Настоятель храма, седобородый и долгогривый отец Никодим, собирал на амвоне требы.

— Здравствуй, Пахомов, — сказал Ворожун попу. — Вот, познакомься, это Владимир Федорович Бобылев, из Москвы.

— Здравия желаю, — кивнул поп.

— Здравствуйте, — корректно поклонился Бобылев.

— Так мы по тому делу, о котором я тебе говорил... — напомнил Григорий Никитич.

— Прошу. — Отец Никодим повел их к двери, ведущей в трапезную. — Какой год? Двадцать пятый?

— Да, — подтвердил Бобылев.

Настоятель, оставив их наедине, скрылся за другой дверью, железной, с массивными засовами.

— Вот, понимаешь, какое дело... — развел руками Ворожун. — Совсем мало осталось ветеранов в городе. Приходится даже таких иметь в виду... А что? Воевал на Четвертом

Украинском фронте, есть награды... Кхм-кхм,— откашлялся он в кулак, когда вновь заскрежетала железная дверь.

Отец Никодим принес под мышкой большую книгу в пыльном кожаном переплете. Положил ее на стол, раскрыл на середине.

— Стало быть, август... берем август...— Листая пожелтевшие страницы, гнусавил себе под нос нараспев: — Крещается во имя отца и сына и святого духа... Поди, бабка крестила?

— Мои родители были комсомольцами.

— Так ведь и я был...— признался поп.— Та-ак... Рожден двадцать пятого июля, крещен двадцать девятого, наречен Владимиром... Бобылев Владимир Федорович.

— Там, наверное, ошибка,— заметил Бобылев.— Я родился седьмого августа.

— Ошибки нет,— отвел замечание поп.— По старому двадцать пятого июля, по новому — седьмого. Стало быть, седьмого августа тысяча девятьсот двадцать пятого года по рождестве Христовом...— Он захлопнул книгу.— А справок мы не даем, да и справки наши, полагаю, вам без надобности... Так что — для памяти, для успокоения души.

— Спасибо тебе, Пахомов,— сказал Ворожун.— Хоть ты и поп, но — человек.. Будь здоров.

Они двинулись к двери.

— Погодите, славяне,— окликнул отец Никодим.

Раскрыл массивные дверцы навесного шкафа, вынул оттуда пузатую бутылку темного стекла, три стакана, разлил.

— Бормотуха, что ли? — подозрительно повел ноздрями гвардии майор.

— Зачем? Коньяк, французский, хороший...

Выставил и блюдце с нарезанными долька-ми лимона.

— Стало быть, вы из Москвы...— обратился настоятель к Бобылеву.— Так как же все-таки обстоят дела насчет этого — геенны огненной? Неужто сбудется пророчество, не миновать?

— Слушай, Пахомов, он ведь из Москвы приехал, а не из Пентагона,— возразил запальчиво Ворожун.— Мы — за мир.

— Это понятно. И мы за мир. Тоже вносим вклад свой по мере сил и возможностей.

Бобылев, кажется, собрался что-то сказать, но убоился, что серьезная речь в этой непривычной обстановке прозвучит нелепо. Отмолчался.

— О-хо-хо...— вздохнул отец Никодим. Прочитировал глухо: — «...Он пасет их жезлом

железным, он топчет точило вина ярости и гнева...»

— Это кто же? — строго осведомился Ворожун.

— Он,— поп воздел очи горе.

Они рыбачили, расположась на истоптанных песчаных мысках вдоль берега озера, отделенных ивовыми зарослями.

Зорька уже миновала, солнце набирало высоту.

Поплавки неподвижно застыли меж листьев кувшинки, над ними жикали стрекозы.

— Не клюет? — спросил Бобылев сына.

— Не-а... — уныло ответил тот.

— Не клевало, не клевало — и совсем перестало! — горькой рыбацкой шуткой отозвался Григорий Ворожун.

В камышовых зарослях лениво поквакивали лягушки.

— Эх, сейчас бы на Волгу, порыбачить всерьез где-нибудь под Камышином, под Волгоградом! — размялся Ворожун.— Послушай, Володя, ты последний раз когда был в Волгограде?

— Я? В сорок втором... — ответил Бобылев.— Нет, в январе сорок третьего, когда домочивали окружение.

— Да ты что! — Григорий Никитич столь изумился, что положил удилище на рогульки, а сам перебрался на соседний мысок.— И с тех пор ни разу там не бывал? Не может быть... Нет, правда?

— Правда. И когда ты приезжал в Москву, я уже говорил тебе об этом, а ты вот так же делал мне усами страшно... Ну, не был. Приглашали, звали, сам хотел — да так и не сумел выбраться, завертелся...

— Володя, а ведь это близко совсем — отсюда четыреста километров. У тебя машина на ходу... А что, если нам махнуть в Волгоград денька на два — на три? Покуда здесь в архивах копаются.

Дима, внимательно прислушивавшийся к их речам, пылко поддержал идею:

— Папа, правда, давай поедем в Волгоград!

Бобылев, для которого весь этот разговор был полной неожиданностью, раздумывал. Потом в сердцах швырнул удилище:

— Да что в самом деле!.. Стану я тут два года сидеть — дожидаться, покуда мне эти два года вернут! Или не вернут...

— Алло, Волгоград? — кричал Ворожун в трубку квартирного телефона.— Олега Ивано-

вича, пожалуйста... Это ты, Олег? Здравствуй, не узнаёшь? Ворожун из Холмов... ну да, он самый...

Лилия Петровна укладывала в чемодан вещи мужа, сына и, конечно, свои: заблестело люрексом вечернее платье, которое здесь, в Холмах, и надеть-то было некуда.

Подошедшая к ней Мария Карповна положила набитую битком полиэтиленовую сумку:

— Вот, Лилия Петровна, в дорогу пирожков напекла, огурчики малосольные, помидоры со своей грядки... Что-то быстро вы засобирались,— укорила мягко.— Это Гриша мой неутомный всех успокоил, как обычно... Ну да на обратном пути, может, дольше погостите?

— Спасибо, Мария Карповна,— ответила с теплой улыбкой Лилия.— У меня к вам просьба: если Марина позвонит, наша дочь, или придет письмо... понимаете, она уехала в стройотряд, всё так внезапно, что мы... я очень волнуюсь.

— Да-да, не беспокойтесь, всё знаю,— заверила Мария Карповна.

Ворожун, закончив разговор, подошел к Бобылеву:

— Докладываю. Позвонил Олегу Ткаченко — из третьей роты, помнишь? Его еще на переправе ранило, в первый день, а он с правого берега — никуда, остался... Не помнишь? Ну ладно, не имеет значения. Главное — он сейчас в Волгограде работает в «Интуристе», замом. Обещал двухместный «люкс», хотя и разгар сезона, полно зарубежных туристов, но обещал железно... Вы с Лилией Петровной будете жить в гостинице, а мы с Димой в кемпинге, на берегу... Верно, Дима?

— Так точно,— молодецки ответил тот,

Машина катилась по бетнке.

А справа и слева простиралась степь, уже зарыжевшая, выгоревшая под лучами нещадного июльского солнца.

Временами обок дороги ветер гнал параллельным курсом плетеные шары перекати-поля, но машина ехала быстрее, и они отставали.

Вел машину Дима — в его водительских способностях уже никто не сомневался.

А рядом с ним сидел Ворожун, изнывая от жары, расстегнув воротник воинской, защитного цвета рубашки. На крючке, на плечиках, висел его форменный китель, уже не парадный, а повседневный, но все ордена, медали и знаки были в том же порядке нацеплены

на него, и, когда автомобиль поддавал ходу или делал вираж, плечики раскачивались, китель встряхивало и все награды начинали вызванивать.

Лилия и Бобылев расположились на заднем сиденье, в густой тени.

— Знаешь,— сказала она тихо,— я рада, что вы это придумали — поехать в Волгоград. Ты хоть немного развеешься, ведь все-таки отпуск... Я заметила: тебя что-то угнетало там, в Холмах, ты начал киснуть... Вероятно, обстановка повлияла на тебя не лучшим образом. Или просто — ожидание, ничегонеделание, ты не умеешь бездельничать... Да и мне тоже надоело все время ловить на себе взгляды, в которых осуждение, укор...

Где-то в степи, очень далеко, глухо пророкотал гром.

— Это что? — удивилась Лилия Петровна.— Неужели будет гроза?

Ворожун выглянул в окошко, покачал головой:

— Не-ет, синё, ни облачка... стороной пройдет.

Лицо его высунулось из-за брнчащего кителя.

— А я вот что вспомнил, Володя... — сказал он, улыбаясь в усы.— Когда нашу дивизию перебрасывали от Камышина к Сталинграду,— он опять покосился в окошко,— вот где-то в этих местах мы и тряслись на грузовиках... жара, пылица... а я смотрю на дорогу, на степь — и вдруг вижу: дорога шевелится и вся степь вокруг тоже шевелится... Ну, думаю, напекло голову... а потом пригляделся — мать честна: и впрямь всё шевелится — змеи ползут, гадюки степные — извиваются, ползут, видимо-невидимо, вся дорога в змеях и вся степь — ползут...

— Ужас какой! — содрогнулась Лилия Петровна.— Но почему?

— Да их выкурило, выпекло из нор — земля горячая была, бомбежки, артобстрел, пожары — степь до того раскалилась, что они уползали прочь, подальше от этих мест, спасались всем своим миром... — Григорий Никитич помолчал, закончил: — А мы — туда.

Олег Иванович Ткаченко, весьма элегантный мужчина, вел Бобылевых по гостиничному коридору, а чуть впереди поспешала горничная в фартуке с кружевами и кружевной наколке.

— Ну, не станем сами себя тешить, уверять, что сразу друг друга узнали,— нет, увы, сорок

с лишним годков прошло, где тут узнать. А Гриша Ворожун — другое дело, мы ведь с ним и после войны долго еще служили в армии, бывало — встречались, и потом он сюда наезжал частенько. Вот мы и не заметили, что оба постарели чуть-чуть... — рассмеялся Олег Иванович. Остановился, сделал приглашающий жест: — Прошу.

И, покада Бобылев и Лилия Петровна размещали свои чемоданы, он взыскательным оком обежал номер: на круглом столе — ваза с махровыми астрами, на письменном — телефон и бювар. Кресла и стулья в пестрой гобеленовой обивке. Дверь балкона и окна задернуты тюлем. Заглянул в соседнюю комнату, спальню — там тоже был полный порядок.

Подошел к телевизору, включил: через секунду в его чреве загремели выстрелы, послышалось бомбовое буханье, заскрежетали гусеницы танков, раздались отрывистые команды на немецком языке. Высветился экран, разверсталось изображение — показывали фильм о войне. Телевизор работал исправно, и Олег Иванович выключил его.

— Ужин вы можете заказать прямо сюда, — посоветовал он. — Ну, желаю вам приятного пребывания в Волгограде. А если что — звоните мне, вот телефон, служебный и домашний. — Он положил на стол визитную карточку. — До свиданья. Очень рад встрече.

— Спасибо, — с искренней признательностью пожал ему руку Бобылев.

Когда Ткаченко и горничная вышли, Лилия бросилась на шею мужу:

— Вот мы и вдвоем. Володя, как хорошо, что мы поехали. Мне здесь очень нравится! Она выскочила на балкон, Владимир Федорович за нею следом.

Пышными купами зелени была запружена площадь Павших Борцов, а в отдалении, в створе аллеи, была видна синяя полоса реки.

— Там — Волга? — спросила Лиля.

— Да.

— Володя, скажи, только правду, немцы были далеко отсюда?

Бобылев осмотрелся внимательно.

— Видишь ли, тут все было разрушено, а потом не то чтобы восстановили — все заново построили, так что мне трудно вато... Нет, погоди, это же универмаг — ну да! — очень оживился он, указывая на соседнее здание, примыкающее фасадом к гостинице «Интурист». — Это же универмаг — тут у них, в подвале, был штаб, отсюда фельдмаршала Паулюса выковыривали... так что здесь они и были.

В глазах Лили было полное недоумение. Спросила тихо:

— Но если они были здесь, то где же были в ы?

— А мы были там, — он протянул руку к синей полосе, — на берегу...

Уже стемнело.

На высоком и крутом откосе Волги, в створе от жилых кварталов, стоял автомобиль «Жигули» с распахнутыми дверцами.

Григорий Никитич Ворожун и Дима Бобылев сидели на травянистом взгорке, обстоятельно беседуя.

— ...видишь ли, я твоего отца постарше буду и на войну пошел годом раньше, и здесь, под Сталинградом, оказался еще до него, когда бои шли на подступах. Нашей армией, шестьдесят второй, командовал генерал-лейтенант Лопатин...

— Дядя Гриша, — отвернувшись смущенно, перебил Дима, — шестьдесят второй армией командовал генерал Чуйков. Вы извините, но я много читал об этом и знаю, что именно Чуйков, потом он стал маршалом.

— Молодец, — похвалил юношу гвардии майор в отставке. — Ты, конечно, решил, что у меня склероз. Есть немножко, но еще не в такой степени... Хорошо, что интересуешься, что знаешь. Да не всё ты знаешь... Вообще-то шестьдесят второй армией командовал генерал Колпакчи, но с ним я не воевал, а потом его сменили: назначили генерал-лейтенанта Лопатина Антона Ивановича, как сейчас помню — в августе... А в сентябре немцы все-таки прорвались к Волге. Мы тут, Дима, дрались насмерть — уж поверь, но они все-таки прорвались. И тогда вопрос встал так: выдюжим или не выдюжим, сумеем удержать город или сдадим? — Голос Ворожуна надломился, но он сумел овладеть собой. — Ставка спросила генерала Лопатина: сумеет ли армия удержать Сталинград? И он ответил: нет, не удержим...

— И что же? — поразился Дима. — Что ему за это было?

— А ничего, ведь он честно сказал, как думал: не смогу, нет у меня душевной силы, нет веры, что выстою, — значит, и не смогу...

— Ну?

— Ну, его и освободили, уважили. Вот тогда и назначили командующим шестьдесят второй армией Василия Ивановича Чуйкова. С ним мы и держали Сталинград — до конца...

то есть до тех пор, пока фашистам не навели тут капут...

Они оба, не сговариваясь, посмотрели в одну сторону.

Над редееющей россыпью городских огней, на фоне звездного неба, черным конусом вздымался Мамаев курган. А на нем, со всех сторон высвеченная мощными прожекторами,— как всегда, летом и зимой, в любую погоду — высилась неправдоподобно-гигантская фигура женщины, вздымающей меч в правой руке, а левой, откинутой назад, требуя встать и идти в бой, требуя встать живым и встать мертвым,— лицо ее было озарено гневным вдохновением, мятежный плат трепетал на ветру... Сейчас было трудно поверить, что эта статуя отлита из бетона, она казалась сотворенной из полыхающего огня, и красные сигнальные огоньки на габаритных точках были подобны раскаленным искрам.

Они долго молчали.

— А потом? — спросил Дима.

— Что — потом?

— Я о генерале Лопатине. Понимаете, дядя Гриша, о маршале Чуйкове я все знаю, я даже видел его во Дворце пионеров — совсем рядом... А о Лопатине впервые слышу. Что с ним было потом?

— Он воевал. Командовал корпусом, армией. Бил фашистов в Прибалтике, в Восточной Пруссии, штурмовал Кенигсберг — за этот штурм ему присвоили звание Героя Советского Союза. А потом он еще и японцев бил...

— А потом?

— А потом он служил, жил... а потом он умер.

Владимир Федорович и Лиля спали на широкой деревянной кровати. Сквозь оконные занавески уже сочился утренний свет и доносились шумы пробуждающегося города: шуршанье автомобильных шин, плеск поливочной машины, короткие сигналы электрички на близком к гостинице вокзале.

Но на все эти звуки, обычно не нарушающие сна, ложилась громкая немецкая речь, слышная отовсюду: она проникла сквозь стену из соседнего номера, сквозь дверь из коридора, сквозь потолок, сквозь пол...

— Говорят, что сегодня мы посетим Мамаев курган?

— Да, но сначала прокатимся на теплоходе по Волге...

— Я уже нашел тут кучу пленки. Это правда, что в Москве, на таможне, они всё проявят?

— Конечно, они всё проявят, ~~запечатывают~~ фотокарточки, засунут в альбом и подарят тебе, ха-ха-ха...

Бобылев проснулся внезапно, вскинулся рывком, как по тревоге, на лбу его проступили капли холодного пота...

Еще ничего не понимающими глазами обвел постель, комнату. Вскочил в пижаме и, осторожно ступая, заглянул в смежную комнату: там был телевизор, но экран был погашен, вилка выдернута из розетки. Нет, не это.

Он прошлепал босиком по паркету к двери номера, приник к ней ухом.

За дверь слышались уверенные шаги, звучали жесткие немецкие фразы.

— Но теперь ты не жалеешь о том, что попал в Сталинград?

— На этот раз мне здесь больше понравилось...

— Послушай, здесь есть базар? Я хотел бы купить дыню.

— Тогда смотайся до обеда в Самарканд: говорят, что там дыни больше и вкусней...

Владимир Федорович, осторожно повернув ключ, приоткрыл дверь, выглянул в щелку.

По ковровой дорожке гостиничного коридора, весело переговариваясь, шагали туристы: мужчины и женщины, старики и дети, кто в джинсах, а кто в шортах, кто с сумкой, а кто налегке,— торопились завтракать, спешили к автобусам.

Бобылев притворил дверь, облегченно вздохнул.

Речной теплоход скользил по зыби, минуя центральную часть города, протянувшегося вдоль берега Волги почти на семьдесят километров.

Вновь сверкнула колоннада над лестничным спуском к речному вокзалу с фонтанами, высоко подбрасывающими струи. Внизу швартовались прогулочные и пассажирские суда. Позади возвышались нарядные жилые здания центра. Проплыли мимо театр музкомедии, купол Планетария, музей-панорама Сталинградской битвы. И опять — кварталы новостроек: ослепительная белизна высотных башен, золотистый отлив строений пятидесятих годов. Все захлестнуто зеленью парков, скверов.

И вдруг — массивное здание красного кирпича, зияющее пустыми глазницами вышибленных окон, стоящее будто бы с непокрытой головой, без кровли, изрешеченное глубокими

выбоинами, ощерившееся кромкой руин. Оно вырывалось из всего окружающего пространства, как крик.

— Это Дом Павлова,— объяснил Лилии Петровне и Диме, стоявшим у поручней палубы, Ворожун.— Его обороняла горстка солдат почти два месяца.

— Энтшульдиген... я прошу извинить, но это не Дом Павлова. Это — мельница.

Они обернулись на голос, на речь, в которой слишком отчетлив был чужеземный акцент.

Рядом с ними стоял высокий жилистый старик в адидасовской майке и белой шапочке с козырьком, в темных очках, из-под дужек которых на щеки набегали седые баки.

Подле него стояла голубоглазая девчушка лет пятнадцати, золотистые кудри которой были — в жертву моде — острижены коротко, с косыми висками, тоненькая и прелестная.

— А почему вы считаете, что мельница? — строго переспросил Ворожун.

— Я не считаю, я читаю... — достойно ответил незнакомец, разворачивая пошире туристскую карту-схему Волгограда.— Вот здесь есть звездочка, а здесь есть надпись: «Церш-терте мюле» — разрушенная мельница... А Дом Павлова — сзади этой мельницы.

— Вы, я погляжу, тут неплохо ориентируетесь... — заметил мрачно Ворожун и, взяв под руку Лилию Петровну, сбняв Диму, отвел их подальше.

Голубоглазая девчушка метнула укоризненный взгляд на старика. Тот, не скрывая огорчения, пожал костлявыми плечами.

Бобылев решительно шагнул к старику и девушке:

— Здравствуйте. Вы, пожалуйста, извините моего друга — он бывает иногда слишком суров. Старый солдат... Но будем знакомы: Бобылев Владимир Федорович. Из Москвы.

— Эрхард Кнапп,— представился чужеземец, с благодарностью пожимая протянутую руку.— А это моя внучка, ее зовут Эрика.

Та, оторвавшись от перил, сделала легкий книксен.

— Я знаю, вам было бы приятней услышать, что мы гости из ГДР... Но мы из Федеративной Республики, из Дюссельдорфа.

— Дюссельдорф? — живо откликнулся Бобылев.— Я был там в прошлом году. Очень красивый город, особенно — Альтштадт. Помню, мы обедали там в ресторане, который называется «Генрих Гейне»...

— Да-да,— обрадованно закивал старик.— Это самый лучший и самый... Как сказать? Уютный ресторан в нашем городе.

Эрика, обрадованная тем, что русскому нравится ее город, одарила его улыбкой.

— Вы тоже были у нас туристом? — осведомился Кнапп.

— Нет, я был в служебной командировке, на заводах Сименса.

— О-о... — отозвался Эрхард Кнапп с тем беспредельным почтением, которое питает любой западный немец к концерну Сименса и даже к людям, имеющим честь сноситься с этой фирмой по делам службы.

— А вы — туристы? — угадал Бобылев, оглянувшись на большую группу немцев, которые, оживленно гомоня, переходили сейчас с носа теплохода на корму.

— И да, и нет... — покачал головой Кнапп.— То есть мы, конечно, приехали сюда через «Интурист». Но не с группой, нет — у нас индивидуальный тур,— с очевидной гордостью подчеркнул он.— Это стоит дороже, но дает больше свободы...

— И больше скуки,— тоже по-русски добавила Эрика.

Владимир Федорович рассмеялся:

— Ну, это поправимо... — И, оглядевшись, позвал: — Дима!

Теплоход шел вниз, и река то заметно раздвигала свои берега, то, огибая острова, делась на рукава, становилась уже. За редкими бороздами оврагов, глубоких балок началась южная часть города, где современные здания чередовались с тесовой чешуей крыш деревянных домишек, где чаще стали возникать эстакады лесопилок, где, подобно дредноуту, возвышала свои трубы ВолгоГРЭС.

И на всем пути, параллельно реке, бежали навстречу друг другу юркие поезда электрички.

Бобылев и Эрхард Кнапп не спеша прогуливались по палубе.

— Да, вы, конечно, догадались — я воевал здесь,— рассказывал Кнапп.— Я был унтер-офицером егерской дивизии. Когда мы были еще на Дону, я думал, что ничего страшнее на свете не может быть. Потом начались бои в городе и я понял, все поняли, что может... Но и тогда мы еще не понимали, что будет самое страшное: зима, котел, смерть и, в лучшем случае, плен... А потом я всю жизнь думал только об одном: что если тогда я остался живым, значит, бог был очень милостив ко

мне. И, значит, он позволит мне еще раз увидеть то место, где я остался жив...

Им навстречу по палубе шли Ворожун и Лилия Петровна. Гвардии майор увлеченно рассказывал ей о чем-то. Когда поровнялись, Лилия улыбнулась мужу, а Григорий Никитич сделал вид, что не замечает встречающих.

Теплоход медленно подошел к Триумфальной арке, воротам первого шлюза Волго-Донского судоходного канала. Теперь канал берет начало в черте разросшегося города: по обе его стороны возвышаются многоэтажные жилые дома, мчатся вереницы автомобилей по асфальту улиц.

Но здесь особенно чувствуется рольготная ширь низовьев великой реки. Шумят зеленые дубравы. Манит белый песок пляжей. Гуляет, завывая барашки волн, свежий ветер.

— Мои подруги в Дюссельдорфе засмеют меня, если я им скажу, что не купалась в Волге! — заявила Эрика.

— Послушай, а где ты научилась так здорово говорить по-русски? — спросил Дима.

— Сначала меня учил дедушка. Знаешь... — Она наклонилась к уху мальчика, продолжила доверительно: — Он сам научился говорить по-русски в лагере военнопленных, это было очень давно...

— Ну да, — кивнул Дима.

— А какой язык ты учишь в школе?

— Английский.

— Когда дедушка решил поехать в Советский Союз, он взял меня с собой, чтобы я имела практику. Но здесь вокруг были одни немцы! — Она рассмеялась. — Хорошо, что я познакомилась с тобой.

— Спасибо на добром слове, — кивнул Дима.

— Как ты сказал? — Эрика вынула из кармана платья блокнотик с шариковой ручкой, записала: — «...Спа-си-бо на добром слове...» — Опустила обратно в карман. — Знаешь, наверное, я поступлю в университет, на факультет славистики. А ты?

— Я еще не решил, — признался он.

Порыв ветра, надетевший с реки, обрызгал их лица мелкой морсью.

Эрика с завистью посмотрела на песчаный берег, густо усеянный загорелыми телами, на детвару, плещущуюся в речной воде.

— Неужели этот пароход не остановится у какого-нибудь пляжа?

На следующее утро Лилия Петровна завершила свой туалет, сидя на пуфике у трелья-

жа, а Владимир Федорович, стоя рядом, повязывал галстук, когда раздался стук в дверь.

— Да-да, — крикнул Бобылев.

В гостиничный «дюкс» ввалились Ворожун и Дима.

— Доброе утро, — сказал Григорий Никитич.

— Карета подана, — доложил Дима.

— А кушать подано? — спросил Владимир Федорович. — Ведь надо еще позавтракать.

— Сейчас подхарчимся, — кивнул Ворожун и далее распорядился так: — Лилия Петровна, пожалуйста, вы идите с Димой в буфет, закажите нам по яичнице, а мы с Володей задержимся на несколько минут, уточним диспозицию. Нет возражений?

Возражений не последовало. Лилия и Дима вышли в коридор.

— Ну что? — спросил Бобылев, уже догадываясь, что они неспроста остались с глазу на глаз.

— Володя, мы сейчас едем на Мамаев курган, — сказал Григорий Никитич, вкладывая в эти слова какое-то особое значение.

— Да. Как договаривались.

— Так вот: мы поедем на Мамаев курган без твоих новых знакомых из Дюссельдорфа. Понимаешь?

— А при чем здесь...

— При том, что мы можем встретить их за завтраком, или в коридоре, или на улице, и ты — уж я тебя знаю — тотчас разбежишься со своим гостеприимством.

Владимир Федорович, заложив руки за спину, прошелся по комнате взад-вперед.

— Гриша, прежде всего, мне не нравится твой тон, хотя между старыми друзьями это и позволительно. Но мне, скажу честно, не нравится и твое отношение ко всему этому. Да, гостеприимство, а почему бы и нет? В прошлом году, когда я был в Дюссельдорфе, меня принимали радушно, внимательно, чутко... Почему же, если двое людей приехали к нам оттуда, мы должны поступаться традиционным русским гостеприимством?

— «Интурист» принимает их по первому разряду. Всё, что положено, — битте...

— Но ты заметил, что им не хватает обычного человеческого общения.

— Володя, — подняв руку, остановил его тираду Ворожун, — говоря прямо: ты что — уже позвал их вместе с нами на Мамаев курган?

— Нет. Но я пригласил их поужинать сегодня с нами здесь, в ресторане. В девятнадцать ноль-ноль. Заказал столик. Ведь они послезавтра уезжают...

— Ну, ужин — дело другое: выпить, закусить... А сейчас мы едем на Мамаев курган. И это, Володя, свято! Особенно для нас с тобой. Ты все-таки не забывай, где мы дрались, бились насмерть, где мы сидели в траншеях почти вплотную, на расстоянии броска гранаты. А у тебя, Володя, был хороший бросок, меткий, всегда впопад.

— Спасибо — помнишь.

— Я помню. Но я хочу, чтобы и ты помнил: там, в другой траншее, мог быть именно этот — мне кажется даже, что я его узнаю...

— Через сорок-то лет? — усмехнулся Бобылев. — Мы своих ребят не узнаём: с Олегом Ткаченко так и не узнали друг друга, вон как постарели...

— Володя, но те ребята, что остались на Мамаевом кургане, — Коля Нефедов, Сережа Таранец, Наиль Ахметов, те ребята, которых мы зарыли там, — они ведь не стареют... Ты их помнишь?

Бобылев отвернулся к окну, сказал хмуро:

— Да.

Ворожун подошел, обнял его за плечо:

— Тогда пошли.

Сквозь обугленный кирпич, облупленный цемент стены руин на Мамаевом кургане едва проступали — зыбко, призрачно, но грозно — фигуры солдат в телогрейках и плащ-палатках, лица молодых солдат в низко надвинутых стальных касках.

«Все они были простыми смертными...» — говорила стена прерывистыми строками надписей.

Но эта, может быть, самая впечатляющая часть мемориала на Мамаевом кургане, говорила не только надписями. Она звучала, потрясая слух.

«...утром и днем семнадцатого октября в районе Сталинграда велись ожесточенные бои с танками и пехотой противника, пытающимися прорвать оборонительные порядки наших войск...» — диктор Левитан читал сводку Информбюро.

Леденящий душу вой пикирующих бомбардировщиков, взрывы бомб, скрежет гусениц, артиллерийская канонада, захлеб пулеметных очередей.

И вдруг в грохотанье боя врывается песня: «Вставай, страна огромная...»

Дима спросил о чем-то Григория Никитича, тот попытался ответить, но голоса то ли не было слышно за всем этим звучащим сонмом, то ли осекся голос.

Лилия Петровна, присмотревшись к мужу, взяла его за руку, но он не заметил этого ее движения.

Они поднимались по лестнице между стенами руин.

...Они стояли в огромном цилиндрическом зале усыпальницы, где мраморная рука вознесла из недр земли факел с трепещущим живым огнем.

Плиты мрамора, наподобие багряных полотнищ, ниспадали со стен. Они были испещрены столбцами фамилий, инициалов, званий.

Бобылев и Ворожун, остановившись рядом, негромко прочитывали вслух эти имена:

— Максимов... Машик... Медведев... Мейсин... Мельник... Мизунов... Михайлов... Михеев...

— Петя Михеев? — быстро переспросил Ворожун.

— Нет, здесь инициалы «вэ-эм», рядовой, а тот был сержант...

— А где же Петя Михеев?

— Может быть, дальше — тут не все по алфавиту...

У выхода из зала, где синел дневной свет и куда утекала длинная череда молчаливых людей, их дожидались Лилия Петровна и Дима.

...Потом, уже возвращаясь, они спускались по лестнице, винтом огибающей макушку кургана.

Бобылев остановился, обернулся и еще раз, вскинув голову, посмотрел на гигантскую фигуру Матери-Родины в развевающихся складках одеяния, под которым в гневною порыве вздымалась грудь, на ее вскинутую сильную руку с обоюдоострым мечом, на ее рот, открытый в кличе.

На многих столиках ресторана «Интурист» пестрели флажки самых различных стран.

И на том, за которым сидели Бобылевы, Ворожун и их гости — Эрхард Кнапп с внучкой, — стояли два флажка: красный с серпом и молотом, а также черно-красно-желтый без эмблемы.

Стол был накрыт хлебосольно, щедро, ярко. А у Лилии Петровны наконец-то нашелся повод обновить свое красивое вечернее платье.

— Мы рады приветствовать вас, — сказал Владимир Федорович, поднимая рюмку. — Мы надеемся, что ваше пребывание в Советском Союзе оставит у вас добрую память...

— Ну зачем так официально? — перебила мужа Лиля. — Просто за ваше здоровье, за нашу встречу!

— Да-да,— растроганно ответил Кнапп, чокаясь с нею.— Всё можно знать заранее — всю программу: какие города мы посещаем, где мы будем смотреть балет, а где пойдем в цирк. Можно даже путешествовать, сидя дома, читая проспекты и... как это сказать... заглядывая в телевизор. Но никогда нельзя знать заранее, каких людей мы встретим. Это всегда неожиданно. И я считаю, что нам с Эрикой — да, Эрика? — обернулся он к внучке, — нам очень повезло, что мы встретили вас... Большое спасибо!

Кнапп выпил водку залпом, демонстрируя завидную удаль.

— Гроссфатер, тринк ниht зо филь — денке ан дейн херц*, — тихо сказала ему Эрика, улыбаясь всем остальным.

На эстраде появился рок-ансамбль и, как водится, сразу оглушил зал громом мощных динамиков.

От столиков к площадке перед сценой устремились желающие потанцевать.

Дима посмотрел на Эрику. Та обрадованно кивнула.

...Они танцевали увлеченно и весело, привлекая взгляды окружающих.

— А ты умеешь! — похвалила она.

— И ты умеешь... — отозвался он. — Значит, всё зер гут?

— Аллес зер гут, — поправила Эрика. — Но мои подруги в Дюссельдорфе засмеют меня, когда я скажу, что не купалась в Волге.

— У тебя еще есть завтра — целый день.

— Но завтра мы поедem на Солдатское поле, а там даже нет реки.

Дима, не переставая сучить ногами и руками, посмотрел на свои часы.

— А что если сейчас?

— Сейчас?.. — вспыхнули интересом ее глаза.

— Давайте выпьем за мир, — сказал Воронун. — Чтобы наши дети никогда не знали того, что довелось узнать нам.

— Да, — охотно поддержал Кнапп, — и наши дети, и наши внуки, и наши... как будет дальше?

— Правнуки, — подсказала Лилия Петровна. — Всё равно — дети. Кстати, куда же они подевались?

Музыка прервалась, и на площадке никого не было.

* — Дедушка, не пей слишком много, помни о своем сердце. (нем.)

— Наверное, вышли погулять, — предположил Владимир Федорович. — Что им наши разговоры?

Лодка отвалила от дощатых мостков прокатной станции.

Сильно заноса весла, Дима греб, направляя челн к далекой полоске пляжа на другом берегу, окаймленной зеленью деревьев.

Летний вечер был светел. Солнце садилось за зубчатой кромкой городских крыш. Но от подернутой рябью воды уже тянуло прохладой.

— Не замерзнешь? Не боишься? — спросил Дима.

— Я ничего не боюсь, — дерзко ответила она.

Эрхард Кнапп выпил еще рюмку водки.

— Аллес ист унгефер... — теперь он чаще мешал в своей речи немецкие и русские фразы. — Я хочу сказать, что все на свете относительно. Вы говорите: оборона Сталинграда, вы написали об этом много книг, у вас есть медаль «За оборону Сталинграда» — вот эта, да? — Эрхард Кнапп коснулся светло-зеленой ленточки с красной полоской на орденской планке Бобылева. — Но если разобраться объективно, то последние два месяца всё было наоборот: Сталинград обороняли мы...

— То есть как? — напрягся Владимир Федорович.

— Очень просто. Вы взяли нас в клещи, вы окружили нас, и мы сидели здесь, в городе, как в мышеловке... но мы не сразу капитулировали, мы дрались!

— Любопытно, — откинулся к спинке стула Бобылев.

К вечеру пляж опустел. Пестро размалеванные грибки и кабины для переодевания бросали на песок длинные тени. А в зарослях ив уже вились пряди тумана и сгущался сумрак.

Дима и Эрика, разбежавшись, прыгнули в речную воду, пошли наперегонки к стрежню.

— Вода очень теплая! — крикнула она, захлебываясь радостью.

— Ага, как парное молоко... — ответил Дима.

— Что? Я не понимаю. Это нужно будет записать...

— Пиши,— сказал он и, гибко извернувшись, нырнул.

— Вот здесь, где мы сейчас сидим, до войны тоже была гостиница,— Ворожун, наклонясь к гостю, постучал костяшками пальцев по скатерти,— и она тоже называлась «Интурист»... Но в сорок втором году, двадцать третьего августа, когда ваши самолеты за несколько часов разрушили дотла и сожгли город, в этом здании был госпиталь — в нем были тяжело раненные, которые сами не могли передвигаться... и это на них, на них падали бомбы! И я не встречал никого, кто бы сумел спастись...

Люди за соседними столиками уже оборачивались на их запальчивые голоса, хотя в ресторанном зале опять гроыхала с эстрады музыка.

— Пожалуйста, тише... — попросила Лилия Петровна и добавила: — Может быть, лучше поговорить о чем-нибудь другом?

— Нет уж! — сдвинул брови Григорий Никитич.

— Говорила, что тепло, а сама вся дрожишь... — сказал Дима уже на берегу, тронув ладонью гибкую талию Эрика.

Она отвернулась, прикусила губу, размышляя о чем-то, но потом сказала с отчаянной смелостью:

— Мои подруги в Дюссельдорфе засмеют меня, если я скажу, что не целовалась с русским мальчиком...

— Да? Но я не позволю этим дурам смеяться над тобой.

Он приник губами к ее губам, она обвила рукой его шею.

— Нет-нет, я не хотел вас обидеть,— уверял Эрхард Кнапп.— Поверьте: я никогда не был нацистом, даже в те времена я терпеть не мог Гитлера... Но что я мог сделать? Была война, меня призвали в армию. Я был в шестой армии, когда мы брали Париж, а в сорок втором году нашу армию бросили на Дон... Я знаю, вы уважали фельдмаршала Паулюса: он выступал свидетелем на Нюрнбергском процессе, он жил в ГДР. Но, между прочим, я сдался в плен раньше Паулюса!

Лодка пересекала Волгу в обратном направлении — надвигался город.

Дима греб, отвернувшись.

— Ты сердилась? — спросила Эрика.— Но это нельзя... Знаешь, у входа в нашу школу висит плакат: «Фрюэ аборте дрохен мит дер киндерлэизгикайт!». Это значит: «Ранние аборты грозят бездетностью».

— Интересная у вас школа,— сказал Дима.

— Да, конечно. А что написано у входа в вашу школу?

Дима наморщил лоб, соображая.

— А, вспомнил: «Добро пожаловать!»

Они расхохотались, сняв возникшее напряжение.

— Я не очень понимаю, чего вы хотите, господин Кнапп,— вежливо, но холодно сказал Владимир Федорович.— Похоже, что вы ждете от нас признания каких-то ваших заслуг...

— Моих? Нет. Заслуг? Нет. Я хочу признания понесенных жертв... — Эрхард Кнапп был, кажется, даже раздосадован тем, что его мысли не встречают сочувствия.— Здесь, в Волгограде, я видел прекрасные мемориалы, которые прославляют героизм ваших солдат, и они действительно заслужили это. Я видел памятники тем, кто погиб, и, поверьте, у меня были слезы... Но неужели здесь, на Волге, не нашлось места — совсем немного места, какой-нибудь камень,— чтобы он был надгробием для солдат другой армии, которые сложили здесь головы, выполняя приказ? Вы знаете, мы потеряли в Сталинграде больше миллиона людей...

— Вас сюда никто не звал,— возразил Григорий Никитич.

— Да, я понимаю: побежденным не ставят памятники... — горько усмехнулся Кнапп.

— Памятники ставят тем, кто сражался за правое дело,— твердо сказал Бобылев.— Не может быть памятников тем, кто развязал войну. Не должно быть!

Ворожун обернулся к пробежавшему официанту.

— Будьте любезны — счет.

— Одну минутку... — откликнулся тот.

— Да, я должен был предполагать, что в этом вопросе не будет согласия.

— Не будет,— подтвердил Бобылев.

Эрхард Кнапп тяжело поднялся со стула.

— Извините, я не очень хорошо себя чувствую... — Он поклонился прежде всего Лилия Петровне, а затем мужчинам.— Извините и спасибо. До свиданья.

Дима и Эрика вернулись в зал ресторана в тот самый момент, когда старый Кнапп поднялся и, неверно ступая, пошел к выходу.

— О, тут без нас было много событий! — тотчас определила Эрика. — Мой дед напился. И, кажется, они поссорились... Эти старикки, как дети: их нельзя даже на полчаса оставлять одних.

Один за другим подъезжали к Солдатскому полю автобусы.

Из них выходили группы туристов — советских и зарубежных, — разбредались по площадкам мемориала.

И в разных местах, на разных языках звучали голоса экскурсоводов:

— ...до недавних пор местные жители опасались ходить по этому полю — они называли его «мертвым полем», «железным полем». Дело в том, что многие годы не удавалось до конца разминировать это пространство, — настолько глубоко и плотно оно было начинено взрывчаткой, металлом. Даже через десятки лет после войны здесь иногда раздавались взрывы...

Из глубокой воронки взметнулся хвост взрыва — взметнулся и замер неподвижно: он был сварен из острозубых осколков, из бомбовых и минных корпусов, из снаряженных искореженных гильз, из уродливого смертоносного металла, а сама воронка была облицована глухим гранитом.

— ...Лишь тридцать три года спустя после войны это поле было окончательно расчищено. На площади в четыреста гектаров был тщательно обследован каждый сантиметр... И вот на поле вышли трактора. За штурвалом первого из них была дочь фронтовика депутат Верховного Совета СССР Мария Пронина, следом за нею вели трактора болгарин и поляк, вьетнамец и монгол...

Экскурсоводы продолжают рассказ: на русском, на немецком, на английском, на французском языках.

Им приходится напрягать голоса, потому что в нескольких сотнях метров от сооруженный мемориала по Солдатскому полю, меж густых волн созревшей пшеницы, двигались клином комбайны «Нива» — их деловитый и дружный рокот долетал сюда.

В стороне от многолюдья шли, ступая по жесткой стерне, Эрхард Кнапп и Эрика. Они говорили о чем-то: внучка то ли бранила, то ли увещевала старика, бросая взгляды туда, где стояли Бобылевы и Ворожун. Вероятно, они уже давно увидели друг друга, но все не решались подойти, поздороваться. Или же

еще не решили, кто должен это сделать первым.

Эрика споткнулась, недоуменно посмотрела себе под ноги, нагнулась, присела, отвела колючий срез стерни...

Выпрямилась, что-то держа на ладони. Показала деду.

Тот взглянул, пожал плечами, сказал несколько слов, отвернулся.

Девушка, поколебавшись мгновенье, побежала к знакомым, еще очень высоко, по-детски отбрасывая ступни.

— Посмотри! — сказала она Диме, разжав пальцы.

На ее ладони лежал скрюченный, весь в зубьях, изглоданный ржавчиной кусок железа.

Он присмотрелся, позвал:

— Папа, дядя Гриша, идите сюда...

Взрослые подошли.

— Здравствуй, Эрика, — улыбнулась Лилия Петровна.

Поздоровались и мужчины, она ответила привычным легким книксеном.

Ворожун взял с ее ладони кусок металла, взгляделся, прикинул на вес, сказал:

— Осколок бронебойного снаряда, семьдесят шесть миллиметров... Так, Володя?

— Пожалуй, — сказал Бобылев, перенимая у него осколок.

— А он не взорвется? — опасливо покосилась на металл Лилия Петровна.

— Нет, — успокоил Григорий Никитич. — Он уже взорвался.

Был знойный полдень, и от нагретой земли восходило к небу колышущееся марево.

Оно изменяло, искажало очертания предметов, даже их цвет — и ярко-красные комбайны «Нива», идущие клином по пшеничному полю, вдруг показались Эрхарду Кнаппу не комбайнами, а черными танками, идущими в атаку по всему фронту. Они двигались на него, и рокот их делался все сильнее, нарастал до невозможности...

У него хватило умудренности и здравого смысла, чтобы понять, что это видение и эти звуковые панические ощущения — предвестье сердечного приступа. Он опустил руку в карман, достал патрончик с лекарством, вынул таблетку, но донести до рта не успел — страшная боль в груди и под лопаткой сковала его, вынудила замереть в нелепой скорченной позе, глаза полезли из орбит...

Еще раз в этих глазах отразились комбайны, идущие, рокоча, по Солдатскому полю.

И еще ему показалось на миг, что вместо бронзовой девочки с васильком в руке на

постаменте стоит его внучка Эрика и протягивает ему на ладони скрюченный осколок бронебойного снаряда...

Он упал ничком на колючую стерню.

— Гроссфа-а-а-тер! — закричала Эрика.

Первой, повинувшись многолетней привычке врача, побежала за нею Лилия Петровна. Следом — Дима, Владимир Федорович, Ворожун.

Возле упавшего уже собрались встревоженные люди, переговариваясь на различных языках:

— Что, у него обморок?

— Может быть, солнечный удар...

— Это наш?

— Нет, не наш.

— Наверное, он из другого автобуса?

— Но это немец?

— По-моему, англичанин...

Лилия Петровна, растолкав всех, бросилась к лежащему, перевернула его на спину, взглянула в лицо — глаза были полураскрыты. Она быстро расстегнула сумочку, вынула таблетку нитроглицерина и, с трудом разжав челюсти Кнаппа, раздавила ее о зубы. Схватила неподвижную жилистую кисть, попыталась нащупать пульс.

— Машину... быстро! — приказала она мужу.

Темный фургон катился по бетонному полю Волгоградского аэропорта, лавируя между самолетами, бензозаправщиками, автотрапами.

Он подъехал к двухтурбинному ТУ-154, грузовой отсек которого был распахнут снизу.

Из машины вынесли тяжелый цинковый гроб и перегрузили в лайнер.

Они следили за всем этим издали, сквозь стекла посадочного коридора.

Эрика заплакала, уткнувшись в грудь Лилии Петровны.

Она погладила ее волосы.

— В Дюссельдорф уже сообщили?

— Мы дали телеграммы, — сказал Олег Иванович Ткаченко, приехавший в аэропорт, чтобы проследить как представитель «Интуриста» за соблюдением всех контрактных обязательств своей фирмы и по ритуалу выразить сочувствие внучке покойного. — Мы дали две телеграммы: в Дюссельдорф и Виндхук. Дело в том, что родители Эрики сейчас работают в Намибии.

— Да, у них контракт, — подтвердила, утирая слезы, девочка.

ТУ-154 подобрал створки люка. Тягач, сдвигнув с места лайнер, повел его к пассажирской площадке.

— Внимание! Объявляется посадка на самолет рейса тринадцать — ноль четыре, вылетающий по маршруту Волгоград — Москва... — сообщил голос дикторши в динамике. — Повторяю: объявляется посадка на самолет...

— Пора, — сказал Олег Иванович.

Эрика поцеловала Лилию Петровну, пожала руки Владимиру Федоровичу и Ворожуну, потом, поразмыслив, тронула губами щеку Димы.

Серебристый лайнер промчался по взлетной полосе и круто взмыл в синеву.

Лилия Петровна укладывала вещи в чемодан.

— Ты поедешь в куртке? — спросила она мужа, сидящего за столом в гостиной. — Тогда давай пиджак, я уложу, чего ему зря пылиться...

Владимир Федорович снял со спинки стула свой пиджак, в котором ходил все эти дни и к которому была пристегнута планка орденских ленточек. Вынул из кармана паспорт и водительские права, бумажник, ощупал боковые карманы — в одном из них что-то было, он сунул руку, вытащил зазубренный осколок бронебойного снаряда, найденный на Солдатском поле. Разглядел еще раз — внимательно и хмуро, положил на скатерть, сел снова, подперев руками голову.

Жена, уловив его настроение, подбежала, опустилась на колени рядом, обняла.

— Володенька, прости... — заговорила торпливо и сбивчиво, отирая набегавшие слезы. — Я не должна была, нет, конечно... но я только теперь поняла это... какая же я дура!

— О чем ты? — спросил Бобылев, обняв ее плечи.

— Не нужно было затеваться — с этими справками, с этими двумя годами... господи, какая разница? Не нужно было ехать — ни в Холмы, ни сюда, в Волгоград. Лучше бы мы поехали в Крым, как собирались. — ты бы отдохнул, набрался сил. А вместо этого... — Лилия подняла глаза, провела ладонью по лицу мужа. — Ты весь осунулся за эти дни, лицо измученное, серое... — Коснулась его кудрей, поразилась: — Володя, ты знаешь, кажется, у тебя прибавилось седины, да-да... И во всем виновата я, только я, ведь это я надоумила...

Раздался стук в дверь.

Лилия Петровна: поспешно вскочила с колен, платочком — быстро — отерла влагу с ресниц и щек. Пригласила:

— Войдите.

Вошли Ворожун и Дима, как входили они сюда каждое утро, — бодрые, деятельные, полные сил и планов.

— Доброе утро! Как почивали? — осведомился, улыбаясь, старый служака. Но тотчас углядел откинутую крышку чемодана. — Тут, гляжу, какой-то переполох...

— Григорий Никитич, мы уезжаем в Москву, — сказала Лилия Петровна. — Сегодня, сейчас. — И повторила отдельно для сына: — Мы уезжаем, Дима. Ты готов?

— Всегда готов, — ответил тот пионерским салютом.

— Вот те и на! — поразился Ворожун. — Ведь собирались еще несколько дней побыть здесь. На рыбалку собирались, под Камышин. Нынче пятница — Олег Ткаченко уже снарядил моторку, всю снасть приготовил, приглашал...

— Передайте ему, пожалуйста, привет и наше сердечное спасибо за все заботы, — сказала Лилия Петровна, вспоминая: — Володя, ты уже расплатился за номер?

— Да, — кивнул Бобылев.

— А как же Холмы? — все не мог прийти в себя от неожиданности Ворожун. — И там нас ждут...

Лилия Петровна подошла к нему, сказала вразумительно и мягко:

— Григорий Никитич, мы сегодня уезжаем в Москву — так надо. У Володи все-таки отпуск. Ему надо хотя бы пару недель отдохнуть в санатории, может быть, еще удастся добыть какую-нибудь путевку... И потом, вы знаете, наша дочь, Марина, поехала со стройотрядом, и вот уже сколько времени ни слуху, ни духу...

— Эх, жалко-то как! — почесал затылок Ворожун. — А я думал — порыбачим на славу... Разве есть лучше отдых?

Машина остановилась у зеленой дубравы за городской чертой, близ автобусной остановки на шоссе Волгоград-Москва.

Бобылев и Ворожун выбрались из машины, отошли на несколько шагов.

— Счастливо тебе, Гриша, спасибо за все, — сказал Владимир Федорович. — Марии Карповне передай привет. И Ане от меня поклон... А главное, сам будь здоров, крепок, бодр — да ты и так молодец... Появится возмож-

ность — приезжай в Москву, давно ведь уже не был.

— Постараюсь выбраться, — пообещал Ворожун. — Ну, и тебе всех благ, всех радостей, хорошего здоровья... Да, чуть не забыл: вернусь в Холмы — сразу же в ЗАГС, и если готовы бумаги, вышло ценным письмом.

Владимир Федорович помедлил с ответом, глядя на колыхающееся хлебное поле по другую сторону шоссе, будто бы пытался что-то сформулировать для самого себя, потом сказал:

— Вышли, конечно, если найдут эти книги и меня в них... Но вообще-то, Гриша, здесь заковыка совсем в другом — я только теперь это понял. Вроде бы я у жизни обратно прошу свои годы — будто я ей в долг их дал, а теперь прошу вернуть...

— Так и есть, — подтвердил Ворожун.

— Нет, дружище, нет... Ведь я их отдал не жизни — войне. А война, брат, никаких долгов не признает и ничего она не возвращает — ни лет, ни жизни. Война, Гриша, жестокая штука... Да не тебе мне о ней рассказывать, ты сам знаешь... Прощай, Гриша.

— Прощай.

Они обнялись порывисто,

Голубой фургон «Жигули» мчался по Кольцевой дороге, минуя белоснежные хребты и отроги новых жилых массивов Москвы: Орехово-Борисово, Чертаново, Ясенево, Теплый Стан...

Машину вел Владимир Федорович, а Дима сидел рядом.

С чемоданами и узлами ввалились в подъезд.

Лилия Петровна прежде всего заглянула в почтовый ящик, сказала упавшим голосом:

— Пусто...

— Странно, если б там было не пусто, — проворчал Дима. — Ведь я заявление носил на почту, чтоб ничего не кидали — ни газет, ни писем.

— Надо будет сейчас же пойти на почту, — сказала мать.

...Они вошли в квартиру, оглядываясь удивленно и радостно, как входят в родные стены после долгого отсутствия, самих себя укоряя: ну зачем, ну ради чего надо было покидать домашний уют, налаженный порядок жизни?

— А пылица-то... — сказала Лилия Петровна, мазнув пальцем по зеркальной полировке серванта. — И откуда только берется?

— Из космоса, — объяснил Дима.

Хозяйка ступила на порог спальни — и обмерла: в огромной постели, свернувшись калачиком, спала дочь.

— Марина! — ахнула она.

Та разлепила веки, села, прикрываясь пододеяльником, тряхнула волосами, нерасчесанными после вчерашнего душа.

— О, здравствуйте, приехали... — улыбнулась спростонья, но тотчас озабочилась: — Вы извините, что я здесь, в вашей постели, но захотелось мягонько выспаться — после топчана... А вы что раньше времени?

— Да так, — не стала сразу вдаваться в объяснения мать, однако обратила тот же вопрос к дочери: — Марина, а почему ты раньше времени? Ты давно приехала?

— Вчера.

— Но... почему?

Теперь все трое — Лилия Петровна, Владимир Федорович и Дима — сгрудились на пороге спальни.

Марина медлила с ответом, и за нее ответил братец:

— Она дезертировала. Она сбежала, испугавшись трудностей и забыв о долге... Как в кино.

— Вот я сейчас тебе залеплю, как в кино! — Сестра подхватила с коврика домашнюю туфлю. Рассердилась не на шутку: — А ну-ка выйдите все, дайте одеться...

Завтракали вместе на кухне.

— Но все-таки почему ты уехала? — очень серьезно спросил Владимир Федорович, отхлебывая из чашки кофе.

— Что-нибудь случилось?.. — встревожилась Лилия Петровна. — Тебя обидели?

— Просто она испугалась трудностей и забыла о долге, — злорадно торжествуя, повторил Дима.

— Это не я забыла о долге, а они... Они! — ударила кулачком по столу Марина. — Когда собирались ехать — клятвы давали. Давали клятву, что сухой закон... А я сама — понимаю, сама, своими глазами! — видела, как Соболев с Лопатыным купили в сельпо две бутылки и пошли выпивать в кусты, а я их застукала!

— Ясно, — сказал Дима. — Ее выгнали из стройотряда, чтоб не стучала.

— Неправда! — взвилась Марина. — Я — никому ни слова, даже Фотиеву не доложила... Но теперь я про этих голубчиков знаю все, все! Когда формировали стройотряд, девушек не брали, потому что, говорили, одна

обуза. Из-за нас, мол, работы больше, а за работки меньше... а сами, сами!

— Что — сами? — спросила Лилия Петровна.

— А сами... к деревенским ходят! — Из глаз Марины брызнули слезы справедливого негодования.

— И комиссар Фотиев? — язвительно спросил братец.

Марина не ответила на этот вопрос: она рыдала безутешно, плечи вздрагивали.

— Ну ничего, подумаешь, горе... — сочувственно погладила ее волосы мать. — Все они, мужики, одинаковы. Не стоят слез.

— Как сказать, — возразил Дима.

Бобылев в хмуром раздумье вертел пустую чашку на блюде.

— Марина, тебя никто не заставлял записываться в стройотряд, — напомнил отец. — Ты добивалась сама, ты поехала добровольно. Как же ты смогла...

— Забыть о долге, — подсказал братец, — сбежать с передовой.

Владимир Федорович не решился повторить эти слова, но поднял на дочь полный недоумения и внутренней боли взгляд.

— Да не сбежала я ниоткуда! — закричала Марина. — Они меня сами послали!

Вскочила, подбежала к стенному шкафу в коридоре и выволокла оттуда объемистые авоськи, туго набитые репчатым луком, морковкой, капустой, свеклой.

— Вот-от! За этим. Они же меня поварихой поставили...

— Ну, страдальцы! — схватился за голову Дима.

— Сами понимаете: без этого — какая готовка?

— Что же... — поразилась Лилия Петровна. — Что же там, в деревне, луку нету? Морковки?

— Нету.

Марина перевела жалостливый и молящий взгляд на Владимира Федоровича:

— Папа, ты меня хоть до вокзала не подбросишь?

Владлен Васильевич Прокшин вел совещание. Докладывал Владимир Федорович Бобылев:

— ...таким образом, меры, которые мы приняли, — крайние меры! — дали немедленный результат: министерство в предельно сжатые сроки обновило парк станков на Кокшинском заводе, перестроило технологию, и на се-

годняшний день продукция Кокши может аттестоваться по первой категории...

— Я напоминаю,— поднял палец Прокшин,— что отныне есть лишь две категории аттестации: высшая и первая. А то, что не высшая и не первая, подлежит снятию с производства. И это железное правило — для всех!

— Полагаю, что через некоторое время мы сможем вернуться к вопросу о Знаке качества для изделий Кокшинского завода,— заключил Владимир Федорович.

Сел, закрыл папку.

— Добро,— кивнул Владлен Васильевич. И, обведя взглядом сидящих за длинным столом, добавил: — Я хочу подчеркнуть, что успех наших мер, принятых в отношении Кокшинского завода, во многом обусловлен принципиальной позицией, которую занял товарищ Бобылев, за что ему наше спасибо.— Прокшин выдержал паузу и добавил, покосившись лукаво: — Хотя свой юбилей он и зажал.

— Придется подождать,— повинился Владимир Федорович.— Ведь недолго: всего два года.

— Подождем,— согласился Прокшин.— Все свободны.

Переговариваясь и посмеиваясь, расходились участники совещания.

Однако председатель месткома Евгений Павлович был настроен менее благодушно. Он подошел к Бобылеву и высказал со всей присущей ему прямотой:

— Подвел ты нас, Владимир Федорович, крепко подвел! Мы ведь уже и подарок тебе купили — часы с боем, орехового дерева, напольные, вот такие,— он поднял ладонь на уровень головы,— а дорогушие — ужас. — Совершенно вздохнул: — Ну да ладно, мы их Гусаковскому подарим — ему на той неделе семьдесят.

В приемной райкома партии сидели вдоль стен, переговариваясь вполголоса, молодые люди, по лицам и по одежде которых отнюдь не сразу можно было определить, кто из них кто: рабочий? инженер? студент?

Появившаяся в дверях секретарша заглянула в список, пригласила:

— Товарищ Агапов...

Рослый веснушчатый парень с орденом Трудовой Славы на лацкане пиджака поднялся и, споткнувшись о складку ковровой дорожки, отирая на ходу платком лоб, прошагал следом за секретаршей.

Юница с толстой школьной косой, уложенной вокруг головы, поерзала на стуле и, не в силах совладать с волнением, обрадовалась тихо к своему соседу — Бобылеву.

— А вопросы задавать будут?

— Какие вопросы?

— Ну, по уставу или насчет международного положения...

— По-моему, не будут,— утешил ее Бобылев.— Теперь уже не будут. Только вручат.

— А я все равно так боюсь, так боюсь...

— А вы — кто? — поинтересовался Владимир Федорович.

— Я? Со Второго Подшипникового, шлифовщица,— объяснила юница и добавила: — Меня пока еще в кандидаты... А вас?

Но он не успел объяснить ей, как и что.

Вновь появилась секретарша и, заглянув в список, пригласила:

— Товарищ Бобылев...

...Секретарь райкома, миловидная женщина, поднялась из-за стола.

— ...Да-да, я помню, мы рассматривали на бюро этот вопрос. В связи с уточнением даты рождения члена партии... Значит, вы, Владимир Федорович, родились седьмого августа тысяча девятьсот двадцать пятого года, так?

— Да,— подтвердил Бобылев, сидевший в кресле у письменного стола,— в городе Холмы.

— Вступили в члены партии пятнадцатого апреля? Точно?

— Так точно. Пятнадцатого апреля. Кюстринский плацдарм — накануне штурма Берлина.

— Значит, теперь вы немного помолодели, а партийный стаж остался без изменений — почти сорок лет.

— Выходит, так,— кивнул Бобылев.

Секретарь райкома отодвинула документы, наклонилась к нему:

— А вот я и не знаю, что сказать, Владимир Федорович. Как будто простая формальность — замена партийного билета в связи с уточнением данных биографии коммуниста. Но ведь нет, и это — не формальность, а большое событие в жизни человека — вручение нового партбилета! И нужно что-то сказать, приличествующее случаю, а у меня, признаюсь, первый такой случай — я ведь недавно избрана — и вот, нужных слов не найду, помогите мне, а?

— Ну, скажите, как другим: надеемся, что оправдаете... — вполне серьезно подсказал Бобылев.

— Да ведь вы уже сто раз оправдали! И, честно говоря, одного даже раза — тогда, на

Кюстринском плацдарме — хватило бы на всю жизнь.

— Знаете, именно этого я всю жизнь и боялся: что хватит на всю жизнь — Сталинграда и Берлина. И вся жизнь была еще впереди. И всякий раз хотелось начать все заново, с новой отметки, с новой черты.

— А сейчас это ощущение есть?

Владимир Федорович помолчал, будто бы вслушиваясь в самого себя, будто бы пытаясь определить: есть ли?

— Вроде есть.

— Тогда я так и скажу, Владимир Федорович. — Секретарь райкома поднялась, взяла со стола партийный билет в красной обложке, протянула его Бобылеву. — Все заново, с новой отметки, с новой черты... И чтобы на все это хватило сил. Согласны?

— Да, согласен, — ответил Бобылев, пожи-

мая протянутую руку. — И постараюсь оправдать.

Он вышел из здания райкома на Шаболовку, охваченную пламенем осенней листвы — золотистой, малиновой, оранжевой, алой.

Сквозь это полыханье на синем небе сквозила металлическая ажурная вязь Шуховской башни.

Владимир Федорович подошел к машине, опер дверцу, достал веничек и тщательно обмел с лобового стекла налипшие пятипалые кленовые желтые листья.

Сел за руль и покатиł наезженным маршрутом: направо, на Ленинский проспект, опять направо, нырнул в туннель у белоснежных новых офисов, потом развернулся у кафе «Шоколадница» и погнал дальше, уже на хорошей скорости, в Тропарево.



АЛЕКСАНДР ЕВСЕЕВИЧ РЕКМУЧУК (родился в 1927 году) окончил Литературный институт им. М. Горького. По его произведениям поставлены художественные фильмы: «Время летних отпусков», «Молодо-зелено», «Они не пройдут», «Ожидания», «Мальчики», «Берега», «Нежный возраст» и другие. Член Союза писателей СССР.

**РАМИЗ
ФАТАЛИЕВ**

«А ЕСЛИ СЛУЧИТСЯ ЧТО СО МНОЙ...»



— Мы будем счастливы,— сказал мужчина.— Да?

— Да,— кивнула женщина и подошла к нему.— Но при одном условии.

— Каком? — спросил мужчина.

— Если ты будешь меня слушаться.

— Всегда и во всем, дорогая,— пообещал мужчина.

Они улыбнулись безмятежно и счастливо. И потянулись друг к другу для поцелуя.

Последние громкие аккорды музыки заполнили экран. Фильм кончился, в зале медленно зажегся свет, зрители потянулись к выходу. У многих женщин блестели на глазах слезы.

Парень в мешковатом и длинном, явно с чужого плеча, пальто выходил одним из последних. Прежде чем оказаться на улице, он нахлобучил на голову ушанку, но она тоже была ему не по размеру и тут же сползла на нос.

У выхода из кинотеатра стоял патруль — офицер и четверо солдат. На парня они обратили внимание тут же. Возможно, из-за одежды. Офицер шагнул к нему:

— Ваши документы, гражданин.

Потом парень миновал набережную Москвы-реки, поднялся на Большой Каменный мост. Остался позади кинотеатр «Ударник», в котором он только что посмотрел фильм со счастливым концом.

Впереди, за оградой, виднелись деревья Александровского сада с узкими полосками

снега на ветвях. Мимо, по мосту, шли автомобили и сворачивали к Моховой.

Парень шел неторопливо и, казалось, ни о чем не думал. Только шапку поправлял время от времени. Похрустывал под ногами снег. Стоял солнечный безветренный московский полдень. Шел январь сорок пятого года.

У гостиницы «Метрополь» стояла «эмка» с военными номерами. От нее отделился солдат-шофер, подошел к парню:

— Браток, спичек не найдется?

— Не курю,— качнул головой парень, и ушанка тут же сползла ему на нос.

Солдат пробормотал что-то ругательное и пожаловался:

— За полчаса ни одного курящего.

— А ты кого ждешь? — не поправляя ушанку, поинтересовался парень.

— А тебе какое дело? — сразу насторожился шофер, но, заметив какого-то прохожего, повернулся к нему: — Гражданин, спичек не найдется?

— Некурящий,— откликнулся тот.

Когда шофер вновь повернул голову, парня рядом уже не было. Будто сквозь землю провалился. Шофер озадаченно огляделся и сунул в рот папиросу.

За письменным столом просторного гостиничного «люкса» сидел голый человек в од-

ном нижнем белье и кричал в телефонную трубку:

— Вы знаете, что вам за это будет?! Я сам не знаю, что вам за это будет! — Тут он увидел входящего в номер парня и закричал в трубку: — Подождите, слушай! — И, перейдя на азербайджанский, совершенно спокойно поинтересовался: — Ты где был?

— В кино, — тоже по-азербайджански ответил парень, снимая пальто, под которым обнаружился еще более нелепый пиджак-балахон.

— Молодец, — удивился мужчина. И пошутил: — Тебе мой пиджак не жмёт?

— Твой голос с другого конца коридора слышно, — сообщил парень.

— А что делать? — Мужчина, прикрыв ладонью трубку, пожаловался: — Если на них не кричать, ничего не получится. — И тут же, без всякого перехода, закричал в трубку: — Слушай, я у вас не арбуз-марбуз прошу, а трубы, трубы! При чем тут какой дюймовый, там все написано! Работа стоит, люди стоят, нефть не идет, а война, между нами говоря, еще не кончилась! — Он посмотрел на пиджак и брюки, которые парень аккуратно вешал на стул, показал жестом, чтоб тот не забыл освободить карманы, и закричал: — Наркому я сам все скажу! Пойду и скажу!

Парень ушел в спальню.

— Да, угроза! Самый настоящий угроза! — Мужчина немного послушал трубку и облегченно перевел дыхание. — А вот это уже другой разговор. Конечно. Конечно, дорогой. Через два часа я у вас.

Он положил трубку и, посмотрев в сторону спальни, победно спросил:

— Слышал?

— Слышал, — откликнулся парень.

— А все почему? — Мужчина стал одеваться. — Потому что я кричал.

— Ты сегодня уезжаешь? — спросил голос из спальни.

— Вечером, в десять.

— Я тебе письма дам. Опустить в Баку в почтовый ящик.

— В Ленкорань?

— Да.

— Я из Баку с кем-нибудь отправлю. Еще быстрее будет.

— Спасибо, — сказал парень.

И вышел из спальни совершенно преобразенный — в форме генерал-майора танковых войск, со звездой Героя Советского Союза и несколькими рядами орденов на груди.

— Поужинаем вместе? — спросил мужчина.

— Да, — ответил генерал. — Ты меня дожись, я к шести буду.

Он пошел в прихожую, надел шинель, фуражку и вернулся в комнату.

— Я сегодня посчитал, Мамед, — сказал он. — Пять лет и десять месяцев не надевал штатское.

— Патруль останавливал? — полюбопытствовал мужчина.

— Четыре раза, — засмеялся генерал. И, вспомнив, спросил: — У тебя лишние спички есть?

Знакомый нам шофер сидел в машине, тоскливо зажав в зубах так и не прикурившую до сих пор папиросу.

Заметив вышедшего из гостиницы генерала, он ловко выплюнул папиросу на сиденье, торопливо вышел из машины и вытянулся:

— Товарищ генерал, разрешите обра...

— От полковника Киселева? — прервал его генерал.

— Так точно, товарищ генерал.

— Поехали.

Уже в машине генерал увидел забытую на сиденье папиросу и сказал:

— Можете курить.

— При начальстве не позволяю, товарищ генерал. — Шофер вырулил с Охотного ряда на улицу Горького и добавил: — Да и спичек нет, если честно.

Генерал молча протянул ему коробок.

— Спасибо, товарищ генерал. — Шофер благодарно кивнул, и их взгляды на какое-то мгновение встретились.

Шофер отвернулся, озадаченно сдвинул брови, глядя на дорогу и мучительно что-то вспоминая. Затем пару раз незаметно скосил глаза в сторону генерала. Тот был невозмутим. С виду, во всяком случае.

У майора было сухое нервное лицо с мешками под глазами, и он был старше генерала раза в полтора.

С того момента, как генерал вошел в его кабинет, он стоял, потому что генерал не саждался.

— Как вы сказали? — спросил майор.

— Коробочка, — повторил генерал.

Майор, продолжая стоять, стал рыться в многочисленных папках на столе.

— Так... восемнадцатая гвардейская дивизия... Нет, вот здесь, наверное...

Генерал молча стал ходить по кабинету — от окна к двери и обратно.

— Вот, двадцать первая гвардейская танковая бригада.— Майор открыл папку, зашуршал страницами.— Где тут эта Коробочка?..

Генерал резко остановился.

— Эта Коробочка — у Гоголя,— сказал он.— А у меня — этот Коробочка. Гвардии лейтенант, один из лучших танкистов.

— Простите,— майор поморщился.— Мы, наверное, затеряли его доку..

— Кто мы? — оборвал его генерал.— Вы что — выступаете от имени какой-то группы лиц? Или от себя лично?

— Простите,— снова поморщился майор.— От себя лично. Я потерял. Это моя вина.

— Гвардии лейтенант Коробочка остановил возле горящего дома танк и вынес из огня одиннадцать женщин и детей.— Генерал говорил тихо, он вообще редко повышал голос, и от этого его слова звучали особенно веско.— Он спас одиннадцать человеческих жизней. Вам это понятно, майор?

Майор опять поморщился. Он стоял перед генералом навтыяжку.

— Вы еще и недовольны,— сказал генерал.

Майор поднял голову:

— Я этого не говорил, товарищ генерал.

— А что вы тогда морщитесь все время?

Майор несколько секунд помолчал, потом сказал:

— Почки, товарищ генерал. Я почечник.— И добавил почему-то: — Извините.

Генерал взглянул на серое лицо собеседника, на мешки под его глазами. Сел.

— Садитесь, майор,— сказал он.

Майор сел.

— Давайте вместе подумаем, как исправить вашу ошибку,— сказал генерал.

В просторном дворе купца первой гильдии Тусейнаги Бабаева, в тени раскидистого тутового дерева, за врытым в землю столом сидел настоящий живой царский генерал. Один из героев первой мировой войны, прославившийся при Порт-Артуре, мой земляк, генерал Самедбек Мехмандаров, полный Георгиевский кавалер.

Мы, соседские мальчишки, стояли поодаль и смотрели на него во все глаза.

Вокруг генерала сидели взрослые и внимательно его слушали.

ЛЕНКОРАНЬ. 1917.

— Вот такие дела,— продолжал говорить

Мехмандаров.— Царя не будет, уверяю вас в этом.

— Другой будет? — спросил кто-то.

— Вообще не будет,— сказал генерал.

— Как так может быть, чтоб без царя?

Генерал засмеялся:

— Подождите пару недель и увидите, как это может быть.— Тут он обернулся и заметил нас.— Подойдите-ка сюда,— велел он.

Мы подошли, робея.

— Ты кем будешь, когда вырастешь? — спросил генерал у одного из нас.

— Купцом,— ответил тот.

— А ты?

— Доктором.

Мехмандаров остановил взгляд на мне:

— А ты?

Я не ответил.

— Ты что? — улыбнулся генерал.— Говорить не умеешь?

— Умею,— сказал я.

— Так кем же ты будешь? — снова спросил генерал.

А я снова не ответил.

Мехмандаров некоторое время смотрел на меня.

— Он еще не решил,— сказал кто-то из взрослых, они засмеялись.

Не засмеялся только генерал.

— Решил,— серьезно сказал он, продолжая смотреть на меня.— Я по его глазам вижу. Но говорить не хочет. Потому что думает, что мы ему не поверим. Да?

Я подумал и сказал:

— Да.

Мехмандаров повернулся к своим собеседникам и сказал:

— В этом мальчишке что-то есть. Запомните мои слова.

— Вот, взгляните.— Заместитель начальника Генерального штаба подошел к карте на стене, взял указку.— Я потому и пригласил вас на десять минут раньше всех. Видите ли, ваш участок фронта довольно неожиданно для нас становится одной из горячих точек. Гитлеровцы стягивают туда крупные силы. Я уже говорил с командующим армией, но мне интересно и ваше мнение.

— Они готовят контрнаступление,— сказал генерал.

— Это и без того ясно.

— Дороги и тыл,— сказал генерал.

— То есть?

— Там наиболее идеальные условия для сильного марш-броска. Прекрасные дороги, трудных переправ практически нет, пара мелководных рек. И ослабленный тыловой резерв. Пока мы будем перебрасывать туда войска, они надеются глубоко вклиниться в наш тыл.

— Если прорвут нашу оборону,— уточнил замнач.

— Не прорвут,— просто сказал генерал.

— Не сомневаюсь,— усмехнулся замнач.— Но ставку они сделали крупную. Даже Харвица туда перебросили.

Генерал кивнул.

— Старый знакомый? — спросил замнач.

— Да. Он был одним из командиров у Манштейна. Под Сталинградом. Единственный, кто догадывался о нашем «мешке». Но его никто не послушал.

— Ну и слава богу,— засмеялся замнач.— Вы улетаете утром?

— Так точно.

— Желаю.

— Спасибо.

Замнач нажал на кнопку вызова. Вошел офицер, щелкнул каблучками.

— Пригласите товарищей,— сказал замнач, затем обернулся к генералу и неожиданно спросил: — Вам, кажется, тридцать шесть всего?

— Тридцать четыре,— ответил генерал.

— Заказывал! Да, Ленкорани! Что?! Я плохо слышу, девушка! — Генерал нахмурился и упавшим голосом сказал: — Понятно.

Его толстый сосед по номеру сочувственно смотрел на него.

— Связи нет,— объяснил генерал, кладя трубку.

— Дал бы мне, я бы покричал на нее как следует,— сказал сосед.

Генерал невесело усмехнулся.

— Получил свои трубы? — спросил он.

— Еще как. Все до единой.— Сосед провел рукой по своему животу и деликатно поинтересовался: — Кушать пойдем? Если не хочешь — не пойдем.

— А ты хочешь? — спросил генерал.

— Я? — переспросил сосед. И честно признался: — Всегда.

Мерно гудел самолет. Генерал выглянул в окно. Внизу, очень близко, плыли облака. Генерал вытащил из-под сиденья термос, открыл крышку, налил чаю.

Их было всего двое в салоне военного самолета — генерал и незнакомый ему мужчина лет сорока — сорока пяти в наглухо застегнутом кожаном комбинезоне. Он сидел напротив.

— Хотите? — генерал кивнул на термос.

— Спасибо,— сказал мужчина.— Я больше кофе люблю.

— Кофе нет,— генерал с сожалением развел руками.

Мужчина улыбнулся самыми уголками губ:

— Далеко?

— На линию фронта,— ответил генерал.— А вы?

Мужчина подумал, но все-таки ответил:

— Дальше.

Генерал понял.

— Ни пуха.

— К черту.

Из пилотской кабины вышел штурман. Жестами показал генералу, что скоро пойдут на посадку. Генерал кивнул. Прикрыл глаза.

— Передай отцу, что я очень ему благодарен,— сказал мужчина.— А это — тебе.— Он протянул мне горсть конфет, улыбнулся:— Не страшно возвращаться одному?

— Я не маленький,— сказал я.

— Конечно, конечно,— закивал мужчина.— Ты уже вон какой взрослый.

СЕЛО ГУРУМБА. 1919.

— Не заблудись в лесу! — крикнул мне вслед мужчина.

Выполнив поручение отца, я шел обратно, толкая впереди себя уже пустую тачку. Выйдя из села, я остановился. Я стоял почти на вершине горы, далеко внизу и слева виднелись первые дома Ленкорани. Попасть в нее можно было кружным путем, тем, которым я пришел — по горным тропинкам. Можно было и напрямик — через лес. Вот он, лес, передо мной — на крутом склоне горы, густой, пугающий, темный даже днем.

Я пустил тачку вниз, в лес. Деревья все тесней обступали меня, постепенно темнело, будто я шел в ночь. Я снова остановился, решив повернуть обратно. Я вздрагивал от каждого шороха. Резко и шумно захлопала крыльями невидимая птица. Ничто мне не мешало вернуться. Но я вздохнул и побежал. Вниз, по лесу. И закричал.

Ветки били меня по лицу, колеса тачки подпрыгивали, я спотыкался, но бежал и бежал, лавируя между деревьями и намертво сцепившись в поручни тачки. Эхо разносило мой

крик, и мне казалось, что он бежит впереди меня.

А потом ослепительное солнце ударило мне в глаза, я замер как вкопанный и зажмурился.

Я открыл глаза. Лес был позади. Неподалеку паслась лошадь. А совсем рядом со мной сидел на пне незнакомый старик и курил чубук, глядя на меня.

— Это ты кричал? — спокойно спросил он.

— Я.

— Почему?

В прищуренных глазах старика мне почудилась усмешка, и я ответил — чуть зло, но честно:

— От страха.

— Взгляни-ка.— Командир соединения генерал-полковник провел карандашом линию по расстеленной на столе карте.— Видишь, как мы их изолировали? После того, как взяли Езгаву, Тукумс, Шауляй. А они устремились в Курляндию. И копят силы.

— Откуда? — спросил генерал.

— А эта бухта на что? — Карандаш взял правее, к голубой точке.— У них там сейчас две армии — шестнадцатая и восемнадцатая. Плюс твои коллеги — танковое соединение. В общем, вагон и маленькая тележка. Готовят массированный удар, другого выхода у них нет. В Восточную Пруссию им пути заказаны, к Рижскому заливу тоже, так что прорываться они могут только через нас.

— Кто им даст?

— Понятно, что никто.— Генерал-полковник улыбнулся.— Но повоювать придется. Бригаду твою мы усилили — танковый полк, два моторизованных батальона, пехота. Больше не проси.

— А мне больше и не надо,— сказал генерал.

Командир соединения рассмеялся:

— Все жду, когда ты повзрослеешь. Ты в детстве какие игры любил?

— Я на коне любил кататься,— ответил генерал.

Его собеседник помолчал, думая о чем-то своем. Потом вспомнил:

— Сам Харвиц объявился. По твою душу. Сказали в Москве?

Генерал утвердительно кивнул.

— Ты его знаешь как облупленного. Это хорошо. Но он тебя — тоже. Это плохо.— Карандаш снова опустился на карту.— Вот здесь его танки. На переднем рубеже. Так

что — жди.— Генерал-полковник бросил карандаш на стол.— Как Москва?

— Хорошо,— сказал генерал.— Очень хорошо. Почти незаметно, что война.

— Ну и замечательно,— сказал его собеседник.

Спустя несколько минут генерал легко сбегал с крыльца штаба соединения к ожидающему его «виллису».

Шофер, откинувшись на спинку сиденья и подняв воротник шинели, спал.

Генерал осторожно открыл дверцу, перегнулся к шоферу, вытащил и спрятал в кулаке ключ зажигания. Затем нарочито шумно сел на сиденье, захлопнул дверцу.

Шофер мгновенно открыл глаза.

— Спал, Коля? — поинтересовался генерал.

— Товарищ комбриг,— Коля даже обиделся.— Когда это я за рулем спал?

— Никогда,— полтвердил генерал.— Поехали, Коля.

— Момент.— Шофер, не глядя, потянулся к ключу зажигания. Растерянно заморгал глазами. Пошарил в карманах и на сиденье. Посмотрел на генерала. Все понял.

— Виноват, товарищ комбриг,— вздохнул он. И выставил ладонь.

— В чем виноват? — спросил генерал.

— В том, что заснул.

— Два с минусом.

— В том, что соврал.

— Пять с плюсом,— сказал генерал.

И бросил в подставленную ладонь ключи.

Танковая бригада, которой командовал генерал, располагалась в лесу, протянувшимся широкой извилистой полосой параллельно балтийскому побережью.

На поляне, перед входом в штаб бригады, был выстроен весь личный состав второго танкового батальона. Перед строем стояли генерал, начальник политотдела бригады и начальник штаба.

— Лейтенант Коробочка! — вызвал генерал.

Из строя вышел молодой светлосый лейтенант, четким строевым шагом подошел к генералу:

— Я!

— От имени командования и от себя лично вручаю вам награду Родины медаль «За отвагу».— Генерал прикрепил медаль к груди лейтенанта и добавил: — Приношу извинения за некоторую задержку с вручением.

— Служу Советскому Союзу! — отчеканил лейтенант, с трудом сдерживая радость.

Генерал шел по лесу. Снегу здесь было немного, но от постоянных ветров земля заледенела и была твердая, как булыжник.

Возле костров группами стояли бойцы. Слышался смех, где-то играли на гармонии. Слева медленно двигался танк, возвращаясь с ремонта на исходную. Возле медсанбата стояла медсестра Галя и, как всегда, разговаривала с сержантом Акоповым.

Генерал отвечал на приветствия, иногда перебрасываясь с кем-нибудь короткими репликами. Затем он свернул к одной из землянок разведотдела и, кивнув часовому, прошел внутрь.

Начальник разведотдела майор Савин и лейтенант-переводчик допрашивали пленного немецкого обер-лейтенанта.

— Сидите,— разрешил генерал и сел сам на свободный табурет.

Переводчик что-то сказал пленному, показав глазами на генерала. Пленный скользнул безразличным взглядом по генералу и коротко ответил.

— Что он сказал? — спросил генерал.

— Я ему сообщил, что вы командир бригады,— сказал переводчик.— С начальством пленные иногда бывают более разговорчивы.

— А он?

Переводчик смутился:

— Выругался, простите.

— Передайте ему, что это взаимно и даже в два раза больше,— сказал генерал. Повернулся к Савину: — Молчит?

— Молчит,— кивнул Савин.— Крепкий.

— Из танкистов Харвица?

— Да. Это единственное, в чем он признался. Гордится. И требует называть его командира фон Харвицем.

Генерал снова взглянул на пленного. Тот вдруг побагровел и выкрикнул несколько слов, из тех, смысл которых ясен и без перевода. К удивлению пленного, генерал в ответ весело рассмеялся.

— По-моему, он ничего не скажет,— сказал генерал Савину.— Проводите меня, майор.

Они вышли из землянки, отошли на несколько шагов.

— Разведгруппу ко мне,— велел генерал.— Через час. Старшим...— Он подумал.— Из говластиков.

— Камарзаева,— предложил майор.

— Самулекина,— сказал генерал.— Старшина Самулекина.

— По нашим сведениям, они минимум дней пять не будут ничего предпринимать,— ска-

зал начальник штаба.— А ты, что, сомне-
ваешься?

Генерал пожал плечами:

— Сам не знаю.

— А что тогда?

— Видишь ли... Харвиц — фигура. Ты это знаешь не хуже меня. Он умеет принимать неожиданные и самостоятельные решения. Самостоятельные,— подчеркнул генерал.— Его однажды чуть не разжаловали. Происхождение спасло, кто-то за него заступился.

— Так.

— Кроме того, он человек риска. А немцам в их положении сейчас только рисковать и остается.

Вошел начальник политотдела. Или попросту — замполит. Он был намного старше и генерала и начальника штаба.

— Не помешаю?

— Садись, комиссар.— Генерал пододвинул ему табурет, налил чаю.

— Мы все о Харвице,— сообщил начштаба.

— А-а...— Замполит отпил из кружки с чаем.— Ну-ну.

— Есть и еще одно соображение,— сказал генерал.— Тоже существенное. Замполит сейчас за нескромность ругать будет.

— Буду,— пообещал тот.

— Под Сталинградом мы этого Харвица побили.

— В смысле — ты,— поправил замполит.

— И перехитрили.— Генерал взглянул на замполита и добавил: — В смысле — я.

Все трое засмеялись.

— Ты хочешь сказать, что Харвиц тоже знает, что здесь — ты.— Замполит осушил свою кружку и жестом потребовал еще.

Генерал наполнил ему кружку и, изобразив предельную скромность, сказал:

— Конечно.

— Старая любовь не ржавеет,— улыбнулся начштаба.

— И ненависть — тоже,— сказал генерал. Посерьезнел: — Харвиц захочет реванша. Любой ценой, я убежден.

— Разрешите, товарищ комбриг? — В дверях показался боец в маскировочном белом халате, только капюшон был откинут.

Генерал сделал приглашающий жест.

— Товарищ генерал! Старшина Самулекин по ваше...

— Садись, Саша,— прервал его генерал.

— Благодарствую,— старшина охотно перешел на неофициальный тон.

Ему было чуть за сорок, простоватое с виду лицо, но разительно меняющееся, когда он

прищуривался: в глазах тут же начинала нервно пульсировать мысль.

— Готов? — спросил генерал.

— Как пионер, — ответил старшина. — Ребят я снаружи оставил, пусть покурят.

— Слушай внимательно, Саша, — сказал генерал. — Значит, так...

Самулекин прищурился.

— Держи его крепче. Понял? — спросил я.

— Понял, — сказал брат.

Это происходило во дворе нашего дома. Брат держал за поводья коня, а я пытался прыгнуть на него без рук. Рядом стояла наша сестра и наблюдала.

Я разбежался и прыгнул. Но в последний момент брат отпустил повод, и конь сделал шаг вбок. Я промахнулся и снова упал. Я был весь в царапинах.

— Ты что?! — закричал я на брата.

ЛЕНКОРАНЬ. 1922.

— Я боюсь, что он меня ударит, — сказал брат.

Сестра весело и звонко хохотала над нами обоими. Конь с недоумением косился на нее.

— Давай еще раз, — сказал я брату.

Но тут на крыльцо вышла мать. Руки у нее были в муке, и она держала их на весу.

— Не стыдно? — спросила она.

Она никогда не кричала на нас. Сердилась, хмурилась, журила, но не кричала.

— Стыдно? — удивился я. — При чем тут стыдно?

— При том, что это глупо, — сказала мать. — А все глупое — стыдно. — Она помолчала и добавила: — Ваш отец всегда так говорил.

— Стой! Кто идет? — Часовой вскинул автомат.

— Я.

— Извините, товарищ комбриг. Не видно в темноте.

Генерал вышел на опушку. Задрал голову — звезд на небе не было. Он постоял немного, взглядываясь в темноту, — там, впереди, совсем недалеко, был враг. Повернулся, пошел обратно. В чаще мерцали костры. От одного из них периодически доносились взрывы хохота.

Генерал подошел к костру. Остановился поодаль, неразличимый в темноте.

В группе, рассеявшейся вокруг костра, солировал сержант Акопов. Сейчас он обрабаты-

вал одного из новобранцев — совсем юного грузина-пехотинца.

— Ты говоришь, что ты грузин. Так?

— Так.

— Твоя фамилия Гургенидзе. Так?

— Так.

— А Гурген — это армянское имя. Что же получается?

— Хватит, — отмахивался грузин. — Надоело уже.

— Нет, ты ответь, пожалуйста. Все ждут твоего ответа.

— Слушай! — разозлился Гургенидзе. — Я же не говорю, что ты не армянин!

— А у тебя оснований нет. Моя фамилия Акопов. От настоящего армянского имени Акоп.

— По-нашему — траншея, значит, — сказал кто-то, и раздался новый дружный взрыв хохота.

Генерал тоже не выдержал, прыснул в кулак. И пошел дальше. Возле медсанбата увидел медсестру Галю.

— Добрый вечер, Калмыкова, — поздоровался генерал.

— Здравствуйте, товарищ генерал.

— Могу указать местонахождение сержанта Акопова, — сказал генерал.

Девушка смутилась:

— С чего вы взяли?

— Сам не знаю, — генерал развел руками. — Просто у вас было выражение лица человека, который ищет сержанта Акопова.

Он двинулся было дальше, но девушка шмыгнула носом и спросила вслед:

— А где он?

— Во-о-он, у того костра, — показал генерал. — Развлекает публику.

— Ну и пусть, — с обидой сказала девушка.

— Одобряю, Калмыкова, — сказал генерал. — Не ходите за ним. Сам прискачет.

Уже у входа в штаб генерал заметил поодаль знакомую фигуру. Подошел, взгляделся с недоумением:

— Майор Охрименко?

— Я. Здравия желаю, товарищ генерал.

Майор хотел выбросить папиросу, но генерал разрешил:

— Курите. Товарищ майор, вы же в отпуске.

— Прибыл, товарищ генерал. Еще позавчера. — Голос майора звучал невесело. — Вас не было, я доложил начальнику штаба. Принял свой батальон.

— Да, — тихо сказал генерал. — Понимаю.

— Хоть могила была бы, — глухо сказал

майор.— Хоть что-нибудь. Хоть память какая-то, вещь какая-нибудь завалиющая, пенал там или сковородка... Ничего. Никого. Ни дома, ни матери, ни жены, ни детей. Зачем мне отпуск?

Генерал молчал.

— Останусь жив — туда не вернусь, — сказал майор.

Огонек его папиросы прочертил в воздухе широкую дугу и замер.

Генерал сел за стол. Пододвинул к себе термос, но открывать его не стал. Вместо этого раскрыл папку со служебными бумагами, стал их просматривать, делая пометки, иногда расписываясь. Но в какой-то момент внезапно обернулся.

Над изголовьем его топчана на стену были приклеены две фотографии. Одна — жены, другая — сыновей. Фотографии были новые, недавно присланные.

Генерал закрыл папку, встал, прошелся. Скинул шинель. Потом подошел к двери, открыл.

— Васильев! — окликнул он караульного.

— Я! — откликнулся тот.

— Если появится Самулекин, буди.

— Есть!

— Чудак.— Дежурный по училищу повертел в руках мои документы.— Чего ж ты в выходной день явился? Завтра надо приходиться.— Он посмотрел на меня и засмеялся: — Ладно, проходи. Вообще-то не положено...

БАКУ. 1926.

Я след за ним прошел во двор училища. Тогда я еще плохо говорил по-русски. Я показал на деревянные ворота в середине двора и спросил:

— Это — конюшня? Там лошади?

Дежурного от смеха согнуло пополам. Потом он устал смеяться и сказал:

— Да, там лошади.— Он меня передразнивал.— Я сейчас покажу тебе, какой там хороший лошадь.

Он стал открывать ворота и снова засмеялся.

Мне не было видно, что внутри, за воротами, и я подошел поближе.

Внутри стоял танк.

Генерал проснулся под утро, как будто от толчка. Прислушался. Стояла тишина. Генерал откинул одеяло, встал, сделал несколько

упражнений. Сквозь щели в двери сизо просачивался рассвет.

— Васильев! — крикнул генерал.

В дверь просунулась голова:

— Цэ я, — сказала она.— Мельничук. Васильев вже смэнився.

— Разведгруппа не вернулась? — спросил генерал.

— Никак нет. Мени Васильев перэдав, що вы просилы будить, но вы сами встали, товарищ комбриг, а Самулекина до сих пор нэма.

— Мельничук, — прервал его генерал.

— Я Мельничук.

— Я тебя понял, Мельничук, — сказал генерал.

— Це гарно, — констатировал Мельничук и скрылся.

На учебном полигоне шла сдача экзаменов по технике вождения танка.

Преодоление препятствий, маневр, скорость, расход горючего — учитывалось все.

Члены экзаменационной комиссии стояли на большом деревянном, вроде трибуны, возвышении и следили за экзаменующимися в бинокли.

Одним из членов комиссии был Самедбек Мехмандаров, бывший царский генерал, а потом один из самых известных советских военных теоретиков и педагогов.

1930.

После того, как очередной танк возвращался на исходные, секретарь комиссии негромко оглашал результат во времени:

— Пять минут четырнадцать секунд... Пять минут двадцать секунд... Пять минут четыре секунды...

Очередной танк привлек особое внимание комиссии. Точнейший глазомер, филигранный экономичный маневр, и все это — на высокой скорости.

— Кто? — отрывисто спросил председатель комиссии.

— Асланов, — ответил начальник училища. — Наш лучший курсант.

— Слышал, — сказал председатель и спросил у секретаря: — Время?

— Три минуты пятьдесят восемь секунд, — растерянно ответил секретарь.

Потом меня пригласили подойти, и все члены экзаменационной комиссии пожали мне руку.

Мехмандаров задержал мою руку в своей и сказал:

— Вас отправляют в Ленинград продолжать учебу. Рад за земляка.

Я не удержался:

— Товарищ генерал, а вы меня однажды, когда мне было семь лет, спросили, кем я хочу быть.

— Может быть,— улыбнулся генерал.— И что же вы мне ответили?

— Я не ответил.

Выражение лица старого генерала мгновенно изменилось:

— Двор купца Гусейнаги Бабаева, так? — И, заметив мое удивление, он довольно засмеялся: — Да, на память пока не жалуюсь.— Он сделал паузу, взглядываясь в меня.— И почему же вы тогда не ответили?

— Потому что я хотел быть генералом,— сказал я.

«Виллис» проламинировал между деревьями и вырубил к дальней кромке леса. Генерал приложил к глазам бинокль.

— А теперь жми, Коля,— велел он.— На полную катушку.

Коля выжал, и «виллис» помчался. Вдоль лесной опушки, вдоль заснеженного поля, по другую сторону которого начинался другой лес, тот, в котором тоже стояли войска и тоже ждали приказа о наступлении.

А генерал на полном ходу пытался что-то высмотреть в бинокль.

В какой-то момент он даже привстал во весь рост — брезентовый верх «виллиса» был предусмотрительно откинут, но Коля заорал:

— Сядьте, товарищ генерал! А то в лес сверну!

— Я тебе сверну! — закричал генерал, встречный морозный воздух обжигал ему щеки.— Не дрейфь, не достанут!

Потом машину на ухабе хорошенько трянуло и генерал, не удержавшись, упал на сиденье.

— Отлично, Коля! — засмеявшись, закричал он.— Отлично!

Спустя две минуты, когда они снова, но уже с противоположной стороны въехали в лес, Коля остановил машину, чтоб натянуть брезент, и заодно поинтересовался:

— Я только не понял, товарищ комбриг, что там было отлично. Если не секрет, конечно.

— Какие у меня от тебя секреты? Солнце сегодня. Коля. Вот что отлично.

Коля обиженно пожал плечами. Несмотря на почти двухлетний стаж ежедневного общения с генералом, он не всегда понимал, когда

тот шутит, а когда нет. И когда не понимал, то обижался.

— И прокатились хорошо,— сказал генерал.

— Это точно,— проворчал Коля.— За менингитом.

Обер-лейтенант сидел на том же месте и с тем же выражением лица, что и вчера.

Савину табурет, видимо, надоел, и он устроился на столе, хмуро глядя на пленного и пожевывая мундштук папиросы.

Генерал просунул в дверь голову и помянул рукой майора. Тот, накиннув шинель, топорливо вышел.

— Молчит,— удрученно сказал он.— И Самулекина нет.

— Будет Самулекин,— со странной веселостью в голосе сказал генерал.— Отсидаются где-нибудь днем. А вечером появятся. Если я что-то в этом понимаю.

— В чем? — не понял майор.

Генерал писал топорливо, почти не задумываясь. Две страницы уже были исписаны его мелким ровным почерком.

— Мельничук! — позвал он.— Колю ко мне!

Потом генерал перечитал написанное, положил в конверт, надписал его и запечатал сургучом.

Встал, нетерпеливо прошелся, затем открыл дверь:

— Мельничук, где Коля?

— Зараз будь,— с олимпийским спокойствием откликнулся караульный.— Людына же. Не птаха.

— Мельничук! — как бы разозлился генерал.

— Я Мельничук! — встреленулся караульный.

— Ты Мельничук? — удивился генерал.

— Я,— растерялся Мельничук.

— А-а,— как бы понял генерал.— Ну ладно, раз так.— И закрыл дверь.

Караульный в полном изумлении уставился на нее.

Мы стояли на берегу моря.

Ее косынка трепетала на ветру, как игрушечный парус.

Она не поднимала на меня глаза. А я ждал, когда поднимет. Потому что это были лучшие глаза на свете.

ЛЕНКОРАНЬ. 1934.

— Будет трудно,— сказал я.

— Пусть,— сказала она.

— Я офицер. Мы будем переезжать с места на место.

— Пусть.

— Тебе подолгу придется оставаться одной.

— Пусть.

— Меня могут убить.

— Пусть,— машинально ответила она, и я весело рассмеялся, потому что на это и рассчитывал.

Но тут же осекся, потому что она подняла наконец глаза, и они были полны слез.

— Чтоб мой язык отсох,— сказала она.

— Прости. Ну я дурак, это шутка. Глупая, дурацкая шутка, ты ведь знаешь, меня почему-то все время тянет шутить, я так устроен, прости, прошу тебя, я больше не буду так шутить...

— Найди капитана Шкунделя. И немедленно — в штаб соединения.

— Понял,— сказал Коля.

— Пакет — лично генерал-полковнику. И ждите ответа.

— Как соловей лета.

— Два с минусом, Коля.

— Виноват, товарищ комбриг. Разрешите идти?

— Разрешаю бежать, Коля.

— Понял.

Колю как языком слизнуло.

Генерал постоял немного, сдвинув брови и продолжая думать о том, что пришло ему в голову во время странной поездки на «виллисе» вдоль леса.

Порывы ветра вздымали легкую занавеску почти до потолка и наполняли комнату свежим запахом омытых росой листьев.

— Как здесь рано светает, да? — удивилась жена.— Еще нет четырех.

— Ага,— сказал я.

Мы приехали сюда накануне. Даже распаковать полностью не успели. Узлы, чемоданы и коробки стояли в углу комнаты.

Наш старший сын спал рядом с нами. Младший — в кровати возле окна.

ЗЛОЧЕВ. 1941.

Звук сирены разорвал тишину. Я рывком поднялся с постели и стал одеваться.

— Учебная,— сказал я, убегаю.

А утром, когда дети еще спали, а моя жена распаковывала вещи, в комнату вошел вестовой.

— Извините,— сказал он.— Все семьи командиров срочно эвакуируются.

Моя жена звонко рассмеялась.

— Передайте моему мужу, что эту его шутку разгадали сразу,— сказала она.

— Капитан Асланов уже далеко,— сказал вестовой, с недоумением глядя на мою жену, а потом вдруг хлопнул себя по лбу: — Я же главного не сказал, простите.— Он отер платком лоб.— Война началась. Война.

Генерал внимательно взглянул на начштаба и замполита:

— Ну что? Нравится?

— Хорошо говоришь,— сказал начштаба.— Убедительно, во всяком случае.

— Разведку надо дожидаться.— Замполит побарабанил пальцами по столу.— С командованием советовался?

— Я пока твое мнение хочу знать, комиссар,— сказал генерал.— Личное.

— Честно?

— Честно.

— Нравится,— коротко сказал замполит.— Я с детства цирк люблю.

Начштаба засмеялся. Затем спросил, взглянув на генерала:

— А если ты ошибся?

— Мы,— мрачно поправил его замполит.

— Мы,— согласился начштаба.

— Тогда будем атаковать,— сказал генерал.— Сами.

— А общие сроки?

— Скорректируем,— ответил генерал.— Впервой, что ли? Так что риска почти никакого. Не та, так эта.

— Чего? — не понял замполит.

— Ты не знаешь,— сказал генерал.— Ты цирк любишь. А это оперетта. Гаджибекова.

— Почему это не знаю? — обиделся замполит.— «Аршин ман алам...»

Генерал прыснул.

— Мал алан,— поправил начштаба.

И в это время караульный доложил:

— Капитал Шкундель, товарищ комбриг.

— Давай.

Капитан откозырнул, протянул генералу пакет:

— От командира соединения.

— Устно?

— Ничего, товарищ комбриг.

— Спасибо, капитан. Можете идти.

Генерал нетерпеливо вскрыл конверт, пробежал глазами строчки короткого письма. Положил его перед собеседниками.

— Вот так,— сказал он, следя за их реакцией.

Замполит поднял на него глаза.

— Ты же сам говорил,— опережая его, сказал генерал.— С командованием надо посоветоваться.

— В письме, небось, написал, что это наше общее предложение?

— Конечно,— невозмутимо ответил генерал.— А разве не так? Вы оба сейчас сказали, что вам нравится.

Начштаба молча отодвинул письмо и шумно вздохнул.

— Да ну тебя.— Замполит с досадой махнул рукой.— Мальчишка ты, вот ты кто. Мало тебя в детстве пороли.

— Меня вообще не пороли,— сообщил генерал.

— Оно и видно,— сказал замполит.

Танк развернулся и метров семьдесят промчался на полной скорости. Затем резко затормозил, пару раз крутанулся вокруг своей оси, с филигранной точностью въехал между двумя деревьями на поляну и замер как вкопанный.

Люк откинулся, и из башни появилась голова генерала.

— Во! — Он показал отогнутый большой палец, спрыгнул с танка, вытирая ветошью руки. Подошел к пожилому механику: — Спасибо, Петрович. Как новый. Пашка будет доволен.

— Новым он уже никогда не станет,— сказал тот.— Менять его надо, комбриг, по правде говоря. Латаный-перелатаный. И на командирский-то не похож.

Генерал оглянулся на танк. Некоторое время молча смотрел на него.

— Да понимаю я все,— негромко сказал механик.— Я бы тоже не менял. Но все ж таки.

— Довою на нем,— сказал генерал.— Почти всю войну прошел, а перед самой победой менять... Некрасиво как-то, Петрович.

Механик скупно усмехнулся, снял рукавицы, засунул их за пояс и стал сворачивать цигарку.

— Стрелка тебе нового прислали,— сообщил он.— Вместо Васька, царствие ему небесное... Вон маячит. Ничего вроде парень, на первый заход.

Генерал повернул голову. Неподалеку, возле пня, нерешительно топтался в ожидании его новый башенный стрелок. Генерал сам по-

шел к нему. Тот сделал настречу шаг, отпортовал:

— Товарищ комбриг, старший сержант Максаков явился в ваше распоряжение!

— Из роты Савельева, кажется?

— Так точно, товарищ комбриг.

— Слышал,— коротко сказал генерал.— Будем воевать вместе, товарищ старший сержант.— Тут его взгляд упал на маленький самодельный танк, он лежал на пне.— Можно?

— Конечно, товарищ комбриг,— смутился Максаков.

Игрушка была ма́стерская. Гусеницы и колеса вертелись, башня поворачивалась, даже крошечный люк откидывался, как у настоящего танка.

— Сами? — спросил генерал.

— Сам.

— Замечательно.— Генерал еще немного рассматривал игрушку и положил ее обратно на пень.— Для сына?

— Еще не успел, товарищ комбриг. Для братика младшего.— Заметив удивление в глазах генерала, Максаков пояснил: — У нас с ним почти двадцать лет разницы. Мне двадцать три, а Ваньке, значит, летом четыре будет.

— Семья большая, наверное?

— Сестры еще,— ответил Максаков.— Четыре. Между мной и Ванькой.

— А вас как зовут?

— Тоже Иваном, товарищ комбриг,— ответил Максаков. И опережая недоумение генерала, добавил: — Тут история веселая вышла... Я еще в бою толком не побывал, а на меня уже похоронка пришла. Напутали где-то. А тут как раз младшой родился. Ну они его и назвали, Ванькой. В память обо мне вроде. А я живой оказался.

Генерал широко улыбнулся.

— Да-а... Удивительная история.— Он взглянул на сержанта, несколько смущенного своими подробными объяснениями, и спросил: — Обедали сегодня?

— Никак нет, товарищ комбриг.

— Пообедаем,— сказал генерал. И обернулся к механику: — Петрович! Пошли обедать.

— Молодец, Васек! — закричал я, уже не слыша собственного голоса.— Молодец!

— Третий, товарищ командир! — Васек засмеялся, и из его черного лица выпрыгнули две ослепительно белые полоски зубов.

Уже третий за сегодняшний бой «тигр», под-

битый моим башенным стрелком, закрутился как юла и вспыхнул факелом.

Я приник к окулярам и закричал водителю: — Левее, Пашка! Левее! Хорошо! Вперед!

И тут снизу показалось возбужденное лицо радиста:

— Приказано отходить! Окружают, товарищ командир!

ПОД СТАЛИНГРАДОМ. 1942.

Уже который день немцы пытались провать кольцо окружения Паулюса. Они бросили на нас тридцать танковых, моторизованных и пехотных дивизий под командованием генерала Маништейна, все это вместе называлось у них армейской группировкой «Дон». Утром сегодняшнего дня им удалось форсированно перейти реку Аксай, занять выгодные рубежи для зенитного и артиллерийского обстрела, а днем они пустили вперед танки и пехоту, мощно прикрывая их и с воздуха и с тыла. Весь день они упорно искали хоть одно уязвимое место в линии нашей обороны и вот, кажется, нашли.

— Не понял! — закричал я, хотя конечно все понял.

— Справа наша оборона прорвана! — кричал радист. — Отходить надо!

— Всем! — закричал я в лорингофон. — Приготовиться к маневру!

А сам пытался быстро оценить обстановку.

Примерно в то же время на командном пункте фронта генералу армии Еременко доложили:

— Товарищ командующий, немцам удалось занять хутор Верхне-Кумский.

— Генерала Черепанова, — приказал командующий. И через полминуты закричал в трубку: — Кто позволил, генерал?! Нет, я о Верхне-Кумском, Верхне-Кумском! Значит, надо было успеть! Что? Да они же сейчас вас там, как кутят, бить начнут! Не слышу, генерал! Станция? На хрена нам сейчас эта станция, если правый фланг прорван! Отходи, генерал, концентрируй силы. А хутор я тебе не прощу, учти!

То, что Верхне-Кумский нельзя было уступить врагу, первой ощутила передняя линия обороны и в том числе мой танковый полк. Справа немцы расширяли свой клин, заходя по дуге в мой тыл, а слева и позади стоял грохот — заняв самую верхнюю точку плацдарма хутор Верхне-Кумский, немцы артиллерийским и зенитным огнем перекрывали нам пути отступления.

От моих соседей слева, 48-го танкового полка, почти ничего не осталось, метались в ды-

му танки и пехота, пытаюсь отойти; наши батареи, как могли, прикрывали их, но немецкие снаряды были точнее — они били прямой наводкой, почти наверняка. Стрелки и пехота мотобатальона, потратившие всю ночь на то, чтобы окопаться, спешно отступали, покидая бесполезные, ненужные теперь окопы.

А вражеская дуга позади меня медленно, но неумолимо двигалась дальше, пытаюсь замкнуть кольцо.

Наступал вечер. И вместе с передышкой нес надежду.

— Продолжать маневр! — скомандовал я в лорингофон. — Не отходить!

Положение было из самых худших — не прекращая движения и продолжая вести бой, мы, по существу, оставались на одном и том же месте, потому что двигаться было некуда.

Справа загорелся шедший параллельно моему танк лейтенанта Матюшина.

— Стоп! — закричал я водителю.

Первым из люка появился сам Матюшин с горящим на спине комбинезоном. Из нижнего люка выпрыгнул стрелок, но встречная пулеметная очередь отбросила его назад, к танку.

Матюшин покатился по снегу, пытаюсь сбить пламя. Я высунулся из люка:

— Сюда, Матюшин! Ко мне!

Матюшин не добежал. Взмахнул руками, застыл на мгновение и упал лицом вниз.

— Товарищ комполка! — Васек буквально силой стащил меня вниз. — Вы что?!

Вражеских танков перед нами уже почти не было. Избегая потерь, они круто уходили вправо от нас, в образовавшийся после прорыва коридор.

А радист охрипшим голосом кричал:

— Приказано отходить в квадраты восемнадцать-девятнадцать! Восемнадцать-девятнадцать!

Я не стал отходить.

Темнело. Бой затихал.

Ближе к полуночи, на КП соединения, генерал Черепанов, бледный от волнения и шального снарядного осколка, угодившего ему в плечо, докладывал по телефону командующему фронтом:

— Пятьдесят пятый танковый полк подполковника Асланова и тридцать седьмой стрелковый полк подполковника Схиртладзе, товарищ командующий. По-видимому, не смогли. Так точно, товарищ командующий. С утра пытаемся. Нет, связь, к сожалению, прервана.

О том, что вместе со мной попал в кольцо тридцать седьмой стрелковый, я узнал лишь полчаса назад, когда в лощине, где мои танки устроились на «ночлег», вдруг раздался шум автомобильных двигателей, послышались возбужденные голоса людей, восклицания, приветственные выкрики.

Мы с подполковником устроились в моем танке, пытаясь при тусклом освещении рассмотреть что-нибудь на карте.

— Постарела карта, — сказал Схиртладзе. — За один день постарела. Здесь — они. Здесь — тоже они. И здесь — тоже.

— А мы — вот здесь, — сказал я.

— Именно. И с утра они начнут нас кушать. Ази. Скушают и выплунут.

— А это что?

— Станция. Мы днем пытались ее занять, потом нам приказали отступить.

— Амирэн.

— А?

— Этот Верхне-Кумский очень маленький.

— У них там шестая танковая дивизия. И артиллерии куча.

— А хутор — маленький.

— Ты чему радуешься, слушай? Ну маленький хутор, успокойся, маленький, не подрост еще, ва... — Тут Схиртладзе вдруг застыл с раскрытым ртом и некоторое время обалдело смотрел на меня. Затем закричал: — Понял, генацвале, понял, шени чириме! Ты мхэци, Ази, мхэци! Маленький хутор, маленький, не могли они там все разместить, ишак я, последний ишак!

Спустя полтора часа вернулась засланная мной разведка, и в лок свесилась голова Самулекина:

— Порядок, товарищ командир, есть язык.

— Давай его сюда.

— Вообще-то мы его уже раскололи. Я Камарзаева с собой взял, он с ним побóтал по дороге. Все верно, основные силы у них в низине, за хутором.

— А не врет?

— Век воли не видать. Фраер он жеваный, полные штаны наложил.

— Начштаба, комиссара и всех командиров. И наших, и тоزاریща подполковника.

— Есть.

Схиртладзе удивился:

— У твоей разведки лексикон, как у уголовников.

— А он и есть уголовник, — засмеялся я. — Бывший. Я его из штрафного батальона взял.

Вскоре мы провели короткое совещание с командирами, а еще спустя час в нашей лощине началось движение.

Две цепочки танков с устроившимися на броне автоматчиками стали медленно покидать лощину, огибая ее слева и справа.

Часа через полтора оставшиеся танки и тягачи с противотанковыми орудиями под прикрытием темноты тихонько поползли вперед.

Мы очень надеялись на предутренний туман. И он нам помог. В семь сорок пять я взглянул на часы и скомандовал:

— Огонь!

Мой танк выстрелил куда-то вперед, в туман, пока наобум, потому что это был не столько выстрел, сколько сигнал.

— Полный вперед!

И утро взорвалось.

Засевшие на хуторе немцы просыпались под трехсторонним шквальным огнем. Слева заходили танки под командованием капитана Охрименко, справа, со стороны станции, шел я, а Схиртладзе в центре имитировал атаку в лоб, привлекая к себе главные силы врага.

Они купились. Они обрушили весь свой огонь на Схиртладзе, а в это время мы с Охрименко с противоположных флангов ворвались на хутор, круша и подавляя огнем все на своем пути. Фашисты, как в немо кино, выскакивали из окон и дверей, взбирались на крыши, перемахивали через плетни, часть из них пыталась все-таки как-то сгруппироваться, оказать сопротивление, они сейчас многое отдали хотя бы за две-три свободные минуты, но у них не было этих минут, у них не было ни секунды. Грохот снарядов, минометные и бронебойные очереди, рев двигателей, крики, стоны, дым, заволакивающий все вокруг, — земля заходила ходуном под хутором Верхне-Кумским...

Двое немецких пулеметчиков залегли в каком-то саду и сквозь живую изгородь строчили по нашей пехоте. Пашка, не ожидая приказа, понесся прямо на них, но нас опередил невесть откуда взявшийся грузовик. Он на какое-то мгновение подставил свой бок под огонь, но тут же развернулся и, дав полный задний ход, устремился на пулеметчиков, — один из них бросил пулемет и побежал, другой даже подняться не успел. А шофер грузовика уже стрелял короткими очередями по убегающему немцу.

— Во дал, а! — восторженно закричал Васек.

— Ты его знаешь?

— Коля Мурзин, из стрелкового!

Спустя несколько дней Коля стал моим шофером и ординарцем.

А пока мы продолжали отбивать у врага Верхне-Кумский. Стрелки Схиртладзе и моя пехота занимали избу за избой, огород за огородом, пядь за пядью, у отвоеванных у противника орудий уже хозяйничали наши бойцы, а мы с Охрименко, соединившись наконец, неслись вниз, не давая врагу опомниться, громя их живую силу, их «тигры» и «фердинанды», спокойно укрывшиеся внизу, за хутором, и уже совсем не того, что случилось на самом деле, ожидавших от сегодняшнего утра...

А на командном пункте соединения проматывавший всю ночь в жару и еле вставший на ноги генерал Черепанов долго смотрел в бинокль, ничего не понимая, а потом пробормотал:

— Бред какой-то... Немцы в Верхне-Кумском своих бьют.

Стоящий рядом с ним начальник штаба невозмутимо подтвердил:

— Точно, бьют. Но не немцы, а наши; и не своих, а чужих.

Через пару минут Черепанов уже докладывал командующему по телефону:

— Так точно, товарищ командующий! Пятьдесят пятый танковый полк и тридцать седьмой стрелковый! Уже бросил, товарищ командующий, все что есть бросил! Не выбьют, товарищ командующий, теперь не выбьют! Есты! Есты! Так точно!

Вся ценность совершенного нами со Схиртладзе маневра даже нам самим стала ясна несколько позже: мы полностью изменили картину боя на нашем участке фронта, мы как бы вывернули ее наизнанку, немцы теперь никак не смогли бы сомкнуть кольцо, они сами в нем оказались, и их главные силы, кроме того, были теперь перед нами, как на ладони.

Но это мы прочли про самих себя уже потом, в приказах и газетах, а в то декабрьское утро мы просто сделали все для того, чтобы нас, как выразился накануне ночью Амиран, не «скушали».

В домике сельсовета, где немцы успели разместить свой штаб, я первым делом увидел странного, абсолютно черного с лица человека в шлеме и комбинезоне, с погонами подполковника танковых войск.

Я не сразу понял, что стою перед зерка-

лом, каким-то чудом уцелевшим в этой бойне, и смотрю на самого себя.

Возле зеркала на стену была прикреплена небольшая фотография какого-то немецкого офицера.

— Кто это? — спросил я.

— Командир шестой танковой дивизии, — ответили мне. — Полковник фон Харвиц.

— Значит, это его мы отсюда выбили. Убит?

— Ушел, товарищ подполковник.

И тут я увидел в окно, что на носилках несут Схиртладзе.

Я перемахнул через подоконник, подбежал к носилкам, нагнулся над ними:

— Амиран! — кричал я. — Амиран!

Схиртладзе открыл глаза.

— Что ты кричишь? — негромко сказал он. — Я не глухой, генацвале, я раненый.

Спустя четверть часа мы наладили связь со штабом соединения.

— Да, товарищ генерал. Спасибо, товарищ генерал. Да, пришлось отступить, но вперед.

А утром следующего дня, когда бой откатился за реку Аксай, а наш полк, получивший временную передышку, латал раны, в Верхне-Кумский приехал Еременко. Он стоял возле своей машины, а я перед ним, навывтяжку.

— Так точно, товарищ командующий. Пятьдесят пятый Гвардейский танковый полк подполковника Асланова и тридцать седьмой Гвардейский стрелковый полк подполковника Схиртладзе. Подполковник Схиртладзе ранен, товарищ командующий.

— Это вы придумали фразу «отступить вперед»? — спросил командующий.

— Случайно получилось, товарищ командующий, — сказал я. — Я ведь не русский.

— Не лукавьте, подполковник, — без улыбки сказал Еременко. И добавил: — Вы и подполковник Схиртладзе представлены к званию Героя Советского Союза.

— Служу Советскому Союзу!

— Ну, Самулекин... Потрепал ты нам нервы.

— Тормознуться пришлось, товарищ комбриг. В первую ночь мы не очень-то. В смысле улова. В общем, пересидели денек.

Генерал разведчика не торопил. Тот пил чай — обжигаясь, частыми, жадными глотками. Начштаба своего нетерпения не скрывал. Замполит был, как обычно, спокоен и хмур.

— Значитца, так, — наконец заговорил Саму-

лекин.— Курорт у них там. Отдыхают. И раньше двадцать шестого никуда не намыливаются. Через четыре дня, выходит.

— Верно,— спокойно сказал генерал.— И в нашем штабе такие данные.

— Фуфло,— так же спокойно вдруг сказал Самулекин.— Сироп это, товарищ комбриг. Пусть льют на другую голову.

— Конкретнее, Саша.

— Пасли они нас,— сообщил Самулекин.— Вы моё чутьё знаете. Почти сразу они нас нарисовали. Затылок у меня заныл — верная примета. Хана, думаю, ну да ладно, так просто не дадимся, десяток-другой гансиков с собой прихватим... А они — не берут. Пасут, но не берут. Да так пасут, что комар носа не подточит. Ребята уж намекают стали, что старшой, мол, малость...— Самулекин покрутил пальцем у виска.— А я им — не таись, ребята, вставай во весь рост, все равно не заметят.

— Почему?— спросил начштаба, хотя почти всё уже было понятно.

— А чтоб мы вернулись и вам про это самое двадцать шестое на уши навешали. Раза три они про двадцать шестое. То в шутку, вроде, то еще чего-то.— Самулекин усмехнулся.— Я эти примочки не принимаю, товарищ комбриг.

— Дальше,— сказал генерал.

— Было и дальше. Я им нарисовал, что возвращаемся. А сам устроил ребятам берлогу, и — назад. С другого боку. Вдруг, думаю, придется чего.

— Привиделось?— усмехнулся замполит.

— Прислышалось, товарищ подполковник,— ответил Самулекин.— Бензовозки они ждут. Завтра вечером.

Генерал кивнул, еле скрывая во взгляде торжество.

— И за нами во все глаза смотрят,— сказал он.— Я сам видел, Саша, у них через каждые полсотни метров наблюдатель на дереве сидит. Солнце их подвело. Стеклышки так и блестели. На деревьях ведь стекла не растут, а, Саша?

— Только в Африке,— сказал Самулекин. Засмеялся даже замполит.

— Завтра двадцать третье,— задумчиво произнес генерал.— Значит, двадцать четвертого?

— Выходит, что так,— сказал начштаба.

Генерал вновь обернулся к Самулекину:

— Саша, фамилии ты там слышал какие-нибудь?

— Любые?— не удивился Самулекин.

— Чинном повыше, желательнее.

— Выше унтер-офицера нету,— с сожалением сказал разведчик.

— Давай унтера.

— Штагге. Из мотострелков.

Майор Савин в сопровождении сонного, протирающего глаза переводчика спустился в землянку, включил фонарь.

— Встать!

Пленный поднялся, с недоумением глядя на вошедших.

Майор сделал переводчику знак.

— Вам не удалось чистосердечным признанием смягчить свою участь. Завтра вы будете отправлены в тыл,— объявил переводчик пленному.— Нами захвачен в плен унтер-офицер Штагге, который показал на допросе, что истинный срок наступления соединения генерала Харвица — послезавтра, утром двадцать четвертого.

Обер-лейтенант некоторое время молчал, затем раздельно и четко произнес несколько слов.

Майор взглянул на переводчика. Тот перевёл:

— Он сказал, что такие, как Штагге, позорят арийскую расу.

Пленному был виден только свет фонаря. Поэтому он не мог заметить, как майор Савин с облегчением перевел дыхание, зато услышал, как тот засмеялся.

— Эх ты, тетеря,— сказал майор.— Сам всё сейчас и выложил. Ариец ты дерьмовый.

— Это переводить?— спросил еще не отошедший от сна переводчик.

— А как хочешь, лейтенант,— весело ответил Савин.

— Вот какое дело, Лёша,— сказал генерал командиру саперного батальона, расстелив на столе карту.— Минировать будешь.

Командир сапёров вытащил свою карту, поменьше.

— Вот эти два участка на флангах,— показал генерал.— Слева, от отметки «пять» до отметки «двадцать шесть». Справа, от отметки «восемьдесят два» до отметки «сто три». И вот эту полосу, за нами. Всю, от нуля до сорок второй.

Собеседник генерала коротко кивал и делал на своей карте пометки.

— Всё понял, капитан?

— Сроки, товарищ комбриг.

— Фланги минируешь сегодня ночью. Тыл — завтра ночью.

— Ясно.

— Это пока тебе ясно. А сейчас будет неясно.

Капитан поднял на генерала глаза.

— Фланги ты не минируешь,— сказал генерал.— А тыл — минируешь.

Капитан даже глазом не моргнул. Сделал только паузу:

— Понял.

— Но учти. Не минируешь так же добросовестно, как минируешь. Чтоб даже у ежа не было сомнений — фланги заминированы. Ясно тебе, Лёша?

Командир сапёров кивнул.

Эшелон должен был отправиться минут через пять. Стоял замечательный весенний день. Мы с братом сидели на каких-то ящиках, в самом конце перрона, внизу, на площади, меня ждал в «виллисе» Коля, а эшелон вёз моего брата и других бойцов с одного фронта на другой.

— Я так боялся, что не успею тебя перехватить.

— Да, это здорово,— улыбнулся брат.— Я глазам своим не поверил.

СТАНЦИЯ ВИШНЕВАЯ. 1943.

Хоть он и улыбнулся, глаза у него были совсем не веселые.

— Что ты, Гаджи? — Я положил руку на его колено.

— Ничего, Ази. Всё в порядке. Знаешь, я почти каждый день пишу домой письма. Маме и твоим.— Он помолчал.— Жалею, что не женился. Ты меня торопил, а я так и не женился. Теперь жалею. След бы оставил.

— Прекрати,— попросил я.

— Нет, Ази, это факт. Я очень плохой солдат. Только ты не путай одно с другим — я их и вот на столько не боюсь и ненавижу не меньше твоего. И о тебе все время помню. И горжусь. Но я солдат никудышный, понимаешь, не умею я, стариюсь, пытаюсь, никто, может, и не замечает этого, но сам-то я знаю... Я понимаю, солдат это не профессия, просто в жизни твоей Родины наступает однажды момент, когда каждый, кто может, должен стать солдатом. Я стал, Ази. Не задумываясь, ты знаешь. Но не умею.

Я сидел, опустив голову. Что я мог ему сказать?

Он потянулся к моей шинели:

— Покажи Звезду.

— Пока не вручили, Гаджи,— сказал я.— В следующий раз покажу.

— Да,— сказал он.— Конечно. В следующий раз.

Прогудел паровоз.

— Рядовой Асланов! — позвали от вагонов.

— Береги себя, брат.

— И ты береги.

Мы обнялись. Я не хотел его отпускать, но он мягко высвободился и заспешил к уже двинувшемуся эшелону, поминутно оглядываясь и махая мне рукой. И вдруг остановился и закричал:

— Ази!

Я побежал к нему, и когда до него оставались какие-то несколько метров, он бросил мне маленький коричневый мешочек, похожий на кисет, а сам вспрыгнул в вагон.

Я поймал мешочек, раскрыл его. В мешочке была земля.

— Наша, Ази! — прокричал мне брат из вагона.— Ленкоранская!

Днем бригаду посетили артисты.

Посреди поляны стояла «полуторка» с откинутыми бортами, в кузове ее разместились кукольный театр.

Персонажей сейчас было двое — Гитлер и Геринг. Артисты, спрятавшиеся за ширмой, очень смешно имитировали немецкий язык, при этом Гитлер почему-то говорил тонким женским голосом, а у Геринга все время, как воздушный шар, надувался живот. Геринг пытался о чем-то Гитлеру доложить, он явно врал и преувеличивал, и живот у него в это время постепенно надувался. Гитлер прерывал Геринга, визжал и потрясал кулаками, а в довершение изо всей силы ударял Геринга ногой по задку, и от этого удара у Геринга, под громовой смех и улюлюканье зрителей, с шумом лопался живот. Потом всё начиналось сначала, и в каждый следующий раз было гораздо смешнее, чем в предыдущий, хотя ничего абсолютно не менялось, разве что никак нельзя было точно подгадать тот момент, когда Гитлер ударит.

Генерал стоял в одном из передних рядов и хохотал вместе со всеми.

В конце концов Гитлер упал в обморок, а Геринг, которому теперь уже никто не мешал надуваться, надулся до такой степени, что лопнул сам,

В тот солнечный день мы тоже хохотали до упаду.

Однако как раз было совсем не до смеха. Нам предстояло переправиться через реку — узенькую, уютную такую речушку, — но мост немцы за собой уничтожили. Мы остановились, чуть не доезжая берега, выжили.

Вода играла солнечными лучами, зеленела трава, в воздухе пахло весной, но звуки далекого боя и разрушенный мост перед глазами не позволяли даже на мгновение забыть о войне.

Я и несколько моих командиров стояли на пригорке.

РЕКА ВИЛИЯ. 1944.

Подождал командир саперного батальона.

— Понтонную переправу, товарищ комбриг? — спросил он.

— Нам спешить надо, капитан, — сказал я.

Он пожал плечами:

— Ничего не поделаешь.

Я некоторое время стоял в каком-то оцепенении, и со стороны вполне можно было подумать, что я загляделся на речную природу.

Затем я сказал:

— Садитесь, ребята.

Этим разрешением воспользовались мгновенно — кто сел, а кто и лег.

— Есть шальная мысль, капитан, — сказал я. — Прикажите-ка замерить глубину реки.

— Слушаюсь.

— Лейтенант Коробочка! — позвал я. Сел на траву, скинул шлем и велел подбежавшему лейтенанту: — Садись, Слава. — Я сделал серьезное лицо. — Твой взвод ожидает особо опасное задание.

Захотали мы спустя примерно час, когда вернулся посланный мной в штаб за почтой Коля и стал свидетелем «особо опасного задания».

Он вылез из «виллиса», пошел в нашу сторону своей обычной молодцевато-небрежной походкой, взмог на пригорок, взглянул на реку и застыл на месте с пачкой писем в руках. У него был такой вид, будто он увидел выходящую из воды настоящую русалку, и не одну причем.

А увидел Коля всего-навсего три танка из взвода лейтенанта Коробочки, но танки эти стояли в воде, поперек речного русла, гуськом, и по ним, как по мосту, шли остальные наши танки.

— Е-моё, — только и сказал Коля.

Вот тут-то мы и захотали, глядя на него. Может, мы просто соскучились по смеху, на войне редко выпадают веселые минуты, а может, было действительно смешно — уж

очень забавное выражение застыло на Колином лице, — но мы смеялись до упаду, до слез, до коликов в животе, некоторые даже катались по траве, так нам было смешно.

А потом, когда отсмеялись наконец и схватили у Коли все письма, он подсел ко мне, еще обиженный на наш смех, и сухо доложил:

— Во-первых, газета «Правда». Тут про вас написано, лично, вот: «Умение побеждать»... И портрет имеется. Статью я прочел, можно было, конечно, лучше. А также письмо из дому. Всё.

Я мельком взглянул на свой портрет в газете и взялся за письмо. Коля отвернулся. Понаблюдая еще немного за необычной переправой. И тут его осенило:

— Товарищ генерал, между прочим, я на своем «виллисе» по этой вашей, с позволения сказать, плотине проехать не смо...

Коля осёкся, потому что в этот момент взглянул на моё лицо. Медленно перевел взгляд на письмо у меня в руке. Помолчал. Потом тихо спросил:

— Кто, товарищ комбриг?

— Брат, — ответил я.

— Итак, товарищи командиры, мы имеем твердые основания предполагать, что враг начнет наступление завтра утром. — Генерал обвел глазами собравшихся в штабном блиндаже офицеров. — Перед тем, как перейти к деталям, в двух словах попытаюсь передать рисунок будущего маневра и боя. Журналисты прозвали нас с вами мастерами фланговых атак. Против нас воюет сейчас генерал Харвиц, который тоже знает, с кем он воюет, и который когда-то имел возможность лично убедиться в том, что такое фланговая атака в исполнении хороших солистов и оркестра. — По блиндажу прокатился смех. — Наши саперы за прошедшую ночь постарались убедить врага в том, что на этот раз мы собираемся встретить его в лоб, по центру будущего боевого плацдарма. Но мы решили, что нехорошо изменять самим себе. Нам еще не надоел наш излюбленный манёвр, повторение — мать учения, пусть Харвиц лишний раз убедится в этом. Задача манёвра проста. Основные танковые и артиллерийские силы бригады с приданными им подразделениями — ночью, по ложным минным полям, по флангам справа и слева — обходят вражеские части «на цыпочках», употребляя выражение майора Охрименко. Конспирация максимальная — от методов и спосо-

бов передвижения до количества костров в лесу, оно должно остаться неизменным. Малые, так называемые отвлекающие силы бригады остаются здесь, на месте, завязывают встречный бой, после наших фланговых ударов резко отходят, примыкают к основным силам и гонят врага сюда, к опушке, к минному полю. К настоящему, если саперы не перепутали.— Генерал наконец улынулся, и все словно ждали этого, зашевелились, забубнили.— Тихо, тихо.— Генерал поднял руку.— Мало времени, товарищи командиры. Если есть общие вопросы по боевой задаче,— задавайте, потом перейдем к деталям.

— Разрешите, товарищ комбриг?

— Слушаю.

— Вопрос такой: самого Харвица брать или дадим еще одну попытку?

— Товарищ подполковник!— рассердился генерал, застучал пальцем по столу, но всё потонуло в дружном взрыве хохота.

Генерал вздохнул, посмотрел на замполита.

— Чего смотришь?— мстительным шепотом откликнулся тот.— Каков поп, таков и приход.

«Здравствуйте, мои дорогие».

Поздно ночью генерал писал письмо домой. Поскрипывало перо. Писал генерал медленно, задумываясь почти над каждой строкой и по нескольку раз перечитывая написанное. Не дописав письмо, он встал, вышел наружу. Неторопливо, без всякой цели шел по лесу.

Всё так же горели костры. Но бойцов возле них было гораздо меньше. Меньше было голов, меньше шуток.

Уткнувшись сержанту Акопову в плечо, всхлипывала медсестра Галя. Генерал обошел их стороной.

Навстречу шел Петрович. Они молча остановились. Петрович медленно свернул сигарку, поинтересовался:

— Чего не спишь?

— А ты чего?

— По-стариковски. Застегнулся бы.

— Не холодно, Петрович.

Механик чиркнул спичкой. Помолчали.

— Плохое тут небо,— вдруг сказал Петрович.— Жизни в нем нет. У нас в Крыму что летом, что зимой — звезды. Иные — с кулак. А тут, пока хоть одну какую увидишь, все глаза проглядишь к ядрене фене.— Он взглянул на генерала и снова, без всякого перехода сказал:— Ты бы поберёгся завтра. А то взял

себе привычку высовываться всё время. Как гусь.

— Да и простудиться можно,— согласился генерал.

Петрович на шутку не отреагировал. Затушил пальцем сигарку, окурочку аккуратно спрятал в карман.

— Ладно, комбриг,— сказал он.— С богом. Поспи пойдя.

— Спокойной ночи.

Петрович отошел шага на два, но остановился, прислушиваясь к чему-то.

— Ты что?— спросил генерал.

— Поёт, вроде, кто-то.— Петрович постоял еще немного.— Послышалось, видать.— Он медленно, грузно ушел в темноту.

Генерал повернул обратно.

И тоже услышал пение. Еле слышное, откуда-то справа.

Генерал пошел на голос.

— «Тут агаджи боюнджа, тут емедим доюнджа...»

Голос был тонкий, неокрепший, мальчишеский. Генерал остановился, вглядываясь в темноту.

— «Яры хелбетде гёрдум, ай джан, ай джан...»

Генерал сделал еще несколько шагов, и поющий тут же испуганно умолк.

— Кто?— негромко спросил генерал.

В ответ раздались торопливые шаги — невнятный певец убежал.

— Постой!— перейдя на азербайджанский, чуть запоздало крикнул вслед генерал.— Не бойся, чудак, я только хотел, чтоб ты допел, вернись, эй!

Но никто не вернулся. Снова стояла тишина.

— Дурак...— пробормотал генерал.

Пошел обратно. Затем остановился. Откашлялся. И попробовал сам:

— «Гедирдим яваш-яваш, аягыма дейди даш...»

Продолжать генерал не стал. Собственный голос показался чужим и некрасивым. И песня звучала по-другому.

Он вернулся к себе. Ложиться не стал. Сел за стол, чтоб закончить письмо. Взял ручку, обмакнул ее в чернила. И тут ему показалось, что он не один. Он поднял голову. На топчане сидела его жена.

— Ты что делаешь?— спросила она.

— Пишу письмо,— ответил генерал.— Тебе и детям.

— А мы в кино были. Мы хронику очень любим смотреть. Всё время тебя ищем на экране.

— Глупые,— улыбнулся генерал.— Столько людей воюет, а вы одного-единственного ищете.

— Для нас ты — один-единственный,— сказала жена.

— Как мама?

— Плохо. Лежит больше.

— Как она перенесла гибель Гаджи?

— Мы ей не сказали. Доктор так посоветовал.

— А письма? Он ведь часто писал письма.

— Письма приходят. Я их пишу. Я научилась его почерку и по ночам пишу от него письма. Отдаю Махмуду, на почту. Он приносит.

Генерал опустил глаза. А когда снова поднял их, жены не было, а на топчане сидели его сыновья.

— Папа,— сказал младший сын,— а мы тебя сегодня в кино видели.

Старший весело рассмеялся:

— Не верь ему, папа. Он еще маленький и все путает. Как увидит на экране лётчика, начинает кричать: «Папа, папа!». Он думает, что танки летают по воздуху.

— Я не путаю,— сказал младший.— Мой папа — лётчик. Он летает на танке и бросает бомбы на Гитлера.

— Я с ним не спорю,— сказал старший.— Он хныкать начинает. Папа, война ведь скоро кончится, да?

— Скоро, сынок. Мало осталось.

— Я тоже хочу поговорить с папой,— сказал младший.

Старший по-взрослому вздохнул:

— Поговори с ним, папа. А то капризничать начнет.

— Ты меня помнишь?— спросил у младшего генерал.

— Конечно, помню,— ответил младший.— Ты вошел в комнату и спросил: «Где бабушка?». А еще помню, что мы сидели под деревом. И этих у тебя тогда не было.— Младший показал на плечи.

— Это погоны называется,— сказал старший.— Папа, ты пишешь нам письмо?

— Да.

— А что ты сейчас пишешь?— спросил младший.

Генерал взглянул на лист перед собой.

— Я пишу: «А если случится что со мной...»

— А дальше?— спросил старший.

— Дальше я еще не успел.

— А что с тобой может случиться?— спросил младший.

— Дурачок,— сказал старший.— На войне всё может случиться. На войне убивают.

— А что такое «убивают»?— спросил младший.— Папа, что такое «убивают»?

Генерал опустил глаза.

И вновь перед ним сидела жена.

— Они очень выросли,— сказала она,

— Очень,— откликнулся генерал,

— У тебя завтра бой?

— Да.

— Ты мне ничего не рассказываешь. Все мужья женам хоть что-то рассказывают, а ты нет.

— Это сложно, ты не поймешь. Да и скучно. Не обижайся, родная.

— Ты будешь там, где тяжелее всего?

— Я командир. Я должен быть там, где тяжелее. Но завтра боя может и не быть. Я тебе сейчас все расскажу. Понимаешь, мы решили, что немцы обязательно начнут атаковать зав...

— Я тебя плохо слышу,— сказала жена.

— Погоди,— сказал генерал.— Погоди, прошу тебя, побудь еще немного.

— Совсем ничего не слышу,— сказала жена. И исчезла. Топчан был пуст.

Генерал посидел еще немного без движения. Затем обмакнул ручку в чернильницу и продолжил письмо.

Рассветный лес был необычайно тих.

Но это была уже совсем другая тишина — звенящая, настороженная, предгрозовая, пугающая.

Бела была земля, бел был лес, белым было поле перед ним, и тот лес, напротив, тоже был бел и тоже был пока тих.

Белыми были и танки, готовые к бою.

Генерал, высунувшись по грудь из люка, неотрывно смотрел в бинокль.

В какой-то момент ему показалось, что его негромко оклинули. Он обернулся.

Мне показалось, что меня окликнули.

Я обернулся. Они стояли совсем близко, позади танка. И смотрели на меня, все.

Мать, жена, сыновья, сестра, брат, генерал Мехмандаров, дежурный по училищу, председатель экзаменационной комиссии, старик с чубком, вестовой из Злочева, мой бывший башенный стрелок Васек, лейтенант Матюшин...

Их было много. И все они стояли на снегу и молча смотрели на меня.

— Товарищ комбриг!— позвали меня из танка.

— Товарищ комбриг!— раздался снизу голос Пашки.— Кажись, начинается!

Генерал вскинул бинокль.

И в тот же миг лес напротив ожил, задышал, оцетинился жерлами вражеских танков.

— Гетдик э...— негромко сказал генерал.

— Что?— не расслышал Ваня Максаков, новый башенный стрелок.

— Приготовились, говорю,— сказал генерал.

Танк под ним загудел, задрожал, как конь, готовый к прыжку. Генерал скомандовал:

— Вперед!

И застыл в стоп-кадре.

ЭТОТ БОЙ 21-Я ГВАРДЕЙСКАЯ ТАНКОВАЯ БРИГАДА ПОД КОМАНДОВАНИЕМ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГЕ-

НЕРАЛ-МАЙОРА АЗИ АСЛАНОВА ВЫИГРАЛА. НО САМ ГЕНЕРАЛ БЫЛ СМЕРТЕЛЬНО РАНЕН. ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 24 ЯНВАРЯ 1945 ГОДА.

В 1985 ГОДУ, В ГОД СОРОКАЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, АЗИ АХАДОВИЧУ АСЛАНОВУ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ ЛЕТ.

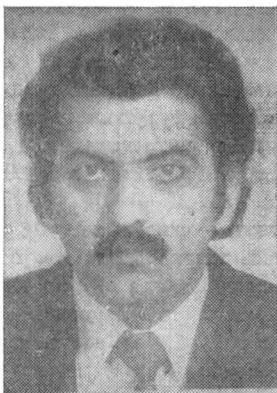
Толкая впереди себя тачку, скользя и спотыкаясь, по густому темному лесу бежал мальчик.

Бежал и кричал, бежал и кричал, побеждая страх.

Лесное эхо разносило крик мальчика, и ему казалось, что этот крик бежит впереди него.

Неслись навстречу деревья. Хлестали по лицу ветви. Убегала из-под ног земля.

А мальчик все бежал и бежал.

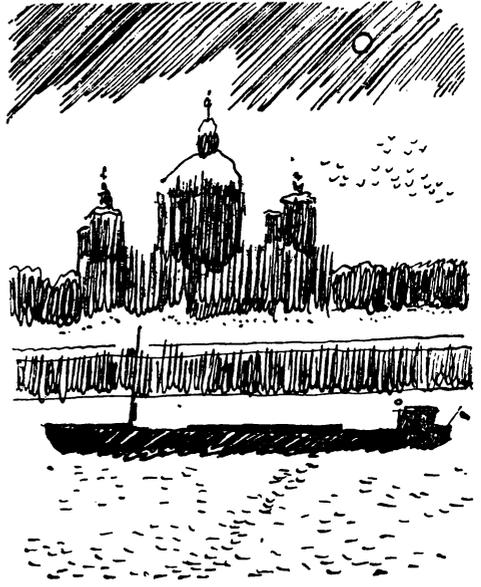


РАМИЗ МАМЕДОВИЧ ФАТАЛИЕВ (родился в 1946 году) окончил нефтехимический институт, а затем Высшие сценарные курсы Госкино СССР. По его сценариям поставлены художественные фильмы «Свое счастье», «Мелочи жизни», «Старые письма» (в соавторстве с В. Фигановым). «Семейное дело», «Шестой», «Грачи», «Без свидетелей» (совместно с Н. Михалковым и С. Прокофьевой), «Сделка» и др.

Фильм по сценарию Р. Фаталиева «А если случится что со мной...» ставит на киностудии «Азербайджанфильм» режиссер Расим Исмаилов.

**АРТУР
МАКАРОВ**

ПОРОХ



Линзы полевого бинокля позволяли не только разглядеть отдельные дома, но и создавали иллюзию присутствия на ленинградских улицах, где сновали люди, передвигались трамвай и автомашины.

Опоясанный почти замкнувшимся кольцом немецких дивизий город жил, и разглядывавшему эту жизнь человеку предстояло принять решение, когда и как прекратить в нем биение жизни.

Начальник штаба группы армий «Север» генерал-лейтенант Бреннеке передал бинокль адъютанту и начал спускаться с дошатого помоста наблюдательного пункта. У подножья лесенки-трапа его встретил полковник армейской разведки, вытянувшись, доложил негромко:

— Господин генерал-лейтенант, вызванные офицеры в сборе, пленный доставлен.

— Хорошо,— одернул китель генерал.— Он в состоянии отвечать на вопросы?

— Методы воздействия еще не были применены. Он ранен, но врач считает, что допрос возможен.

— Тогда приступим.

С пленного были сняты сапоги и ремень, на петлицах гимнастерки остались знаки различия капитана Красной Армии. Он стоял под деревьями в окружении офицеров разведки, и те расступились, когда подошел Бреннеке.

— Вы сдались, и для вас война окончена,—

без околичностей начал генерал, и переводчик из-за его плеча немедленно приступил к своим обязанностям.— Как вы понимаете, она, по сути, вообще закончилась победой германской армии, поэтому мои вопросы будут иметь чисто формальный характер, а ваши ответы не окажут никакого влияния на развитие событий. Меня интересует...

— Я не буду отвечать,— сказал пленный.— На батарее не осталось снарядов, мы дрались врукопашную, меня взяли, когда я был без сознания... А что до победы, то все равно, как ни натужься— уши выше лба не поставишь. Вот так вот! Больше говорить не намерен.

Пока переводчик искал слова для перевода пословицы, Бреннеке испытующе наблюдал очень бледное и очень спокойное лицо русского, и результатом наблюдений явилась убежденность, что этот человек не скажет ничего.

— Что ж, тогда не станем терять времени,— кивнул генерал.— По-видимому, вы действительно хороший офицер, хотя это вряд ли облегчит вашу дальнейшую судьбу. А война все-таки кончилась, и, если останетесь живы, хватит немногим более недели, чтобы убедиться в этом... Мою машину, полковник! Вы поедете со мной.

Генерал повернулся, зашагал прочь, сопровождаемый двумя офицерами, и, стоя в окружении врагов, пленный командир Красной

Армии видел, как подъехала машина, как Бреннеке уселся в нее и как машина отъехала.

На оперативном совещании присутствовал высший командный состав, занимавший должности не ниже командира полка. Тем не менее, собравшихся было много, а помещение натоплено, и в нем угнетала духота. Но присутствие командующего группы армий «Север» фельдмаршала фон Леоба обязывало к особой подтянутости, поэтому Бреннеке держался соответствующе и старался докладывать как можно лапидарнее.

— ...фюрер определил Петербург как первую стратегическую цель в войне против России. Это обусловлено не только тем, что город является вторым по величине политическим и промышленным центром, но и тем, что он носит имя основателя большевистского государства, являясь для русских особым символом. Именно сейчас сложилась наиболее благоприятная обстановка для решающего удара: по данным разведки, у противника наметилась острая нехватка боеприпасов, его артиллерия на голодном пайке, располагая резервом всего лишь в десять-пятнадцать снарядов на орудие...

Среди собравшихся прошел оживленный ропот, а Бреннеке позволил себе сделать краткую паузу.

— В связи с этим считаю целесообразным в течение ближайших дней провести наступательные операции на всех участках фронта, заставляя противника израсходовать боезапас, а затем приступить к решающей операции по захвату города. Ориентировочный срок начала штурма через семь-десять дней.

— Благодарю. Прошу сесть,— предложил ему фон Леоб.— Итак, господа офицеры, остается уточнить детали. Прежде всего хочу услышать мнение командующего авиацией.

Сухощавый генерал люфтваффе говорил так же четко и жгато, как и начальник штаба.

— Мы имеем подавляющее превосходство в воздухе. Только три из десяти русских транспортных самолетов, идущих к городу, достигают цели, истребители противника теряют более шестидесяти процентов состава за вылет, наши бомбардировщики практически беспрепятственно атакуют намеченные объекты. Противовоздушная оборона русских все еще активна, однако вряд ли явится существенным препятствием для нанесения бомбовых ударов в связи с предстоящей операцией...

Словно в подтверждение звучащих слов,

начали вибрировать оконные стекла: в небе, волна за волной, шли к городу самолеты с крестами на фюзеляжах.

Их было много, и, когда над штабом, где шло совещание, проходил очередной эшелон, со стороны Ленинграда донеслись глухие разрывы бомб, сброшенных головными машинами.

Артподготовка противника длилась уже пять минут, а Свиридову казалось, что вечность, и, чуть приподняв голову, он взглянул на часы.

Близкий разрыв осыпал его комьями земли, разрывы густо вставали перед траншеями, позади и среди них, откуда-то раздался еле слышимый призыв:

— Санитары! Санитаров сюда!

Снова приподнявшись, щуря запорошенные глаза, Свиридов заметил неподалеку шевеление: темная фигура двигалась на крик, и по объемистой сумке сбоку он понял, что это и есть санитар, закричал остервенело:

— Как ползешь, охламон неуклюжий?! Жмись плотнее, так твою в железку! Сахарницу, сахарницу не выставляй... Слышишь?!

Ползущий услышал, обернулся, Свиридов узнал недавно присланную фельдшерницу Мельникову и больше ничего не успел крикнуть, потому что, вскочив, она побежала, придерживая сумку, и вдруг сразу стало невыносимо тихо. Артподготовка немцев закончилась.

Спеша вдоль траншей к батарее, Свиридов видел, как изготавливались к отражению непрерывной атаки ополченцы в живых ополченцы, отметил множество недвижимых тел. А добежав, обрадовался, что все четыре орудия целы, и перевел дыхание.

— Сейчас... они танки пустят. Гляди зорче, Загретдинов. Понял? Встреть как следует!

Командир батареи осторожно извлек из мятой пачки папиросу, прикурил и кивнул:

— Встречу. Совсем близко подпущу и ударю. Два раза.

— Почему два?— удивился Свиридов.— Это как понять?

— Совсем просто понять,— жадно затянулся еще и еще Загретдинов.— Три снаряда на ствол имею... По одному на другой раз придержу. Они обязательно снова полезут.

— Та-ак,— с уважением оглядел его комбат.— Расчетливый ты оптимист... Ну-ну, действуй.

Когда спустился к разрушенному прямым попаданием блиндажу, увидел, как несколько молодых ополченцев разбирали из ящика бу-

тылки с горючей смесью. Эти люди знали, что им предстоит сделать, и комбат знал, поэтому совсем не начальственно попросил:

— Вы уж постарайтесь, ребята... Снарядов мало, большая надежда на вас.

Ответом было лишь стеклянное позвякивание разбираемых бутылок, а немецкие танки уже показались с краю изрытого разрывами поля перед траншеями, и за танками россыпью шли солдаты.

В одной из траншей, аккуратно отерев шапкой грани штыка, пожилой ополченец наставлял Никонова:

— Станешь колотить — в грудь не суй, в твердом штык застревает... Старайся над ремнем угадать, сразу дергай и прикладом под каску вывертывай. Без спешки, но споро. Осознал?

— Толковое объяснение, как не усвоить? — с натугой изобразил улыбку Никонов. — Попробуем.

Выглянув из-за бруствера, он увидел, как перед одним из танков поднялся и взмахнул рукой боец, на лобовой броне появилось едва видимое голубое пламя. Тяжелая машина, не задерживаясь, проползла то место, откуда бросили бутылку, и вдруг позади ее башни оказался темный дымок. Вот теперь танк встал.

Выстрелы четырех орудий прозвучали не очень слышно, но еще два танка прекратили движение и один вертелся на месте.

— Ну, с богом, — вздохнул, разгибаясь в рост, сосед Никонова. — Пошли, сынок!

Выбравшись из траншеи и уставив штыки вперед, оба перешли на скорый шаг, затем побежали, и справа и слева от них бежали другие ополченцы.

А им навстречу густо набегали немцы, и спустя малое время те и другие встретились в рукопашной схватке.

В сумятице боя комбат Свиридов потерял шапку, и легкий ветерок шевелил волосы, пока он читал приказ, присланный из штаба фронта.

Посланец, доставивший приказ, выглядел чересчур щеголевато среди людей в грязных, изодранных ватниках, сознавал это, но терпеливо ждал, вытянувшись по уставу.

— Так, я понял, — сложил и сунул в планшет бумагу Свиридов. — За Никоновым пошли и сейчас приведут, если жив. А Коньков в моем батальоне не значится. Верно, он в соседнем... В общем, там выясните, — он взглянул на машину, стоявшую поодаль. — Сильно

понадобились, раз даже транспорт за ними прислали, да?

— Приказано доставить, — бесстрастно ответил прибывший из штаба. — В кратчайший срок.

— Ну, ну, это я так, — кивнул комбат и оглянулся. — Вон Никонов идет. А идет чего-то неважно.

Никонова и верно пошатывало на ходу, придерживая его под руку, рядом шла фельдшерница, а сзади шагал ополченец, отправленный комбатом искать затребованного.

— Вот, Никонов, требуют тебя к большому начальству, — сказал Свиридов, когда тройца подошла. — То ли награждать, то ли наказывать за что — это мне не разъяснено. Лично я тебя за этот бой обязательно в сводке отмечу... А сейчас езжай, хотя отпускаю жалею.

— Куда отпускаете? — спросил Никонов, трудно ворочая шейю. — Зачем?

— Ему в медсанбат надо, товарищ Свиридов, — вмешалась Мельникова. — Он контужен сильно.

— Куда и зачем, на месте объяснят, — хмуро пообещал Свиридов. — А что контужен, плохо, конечно. Ты, Мельникова, вот что: сопроводи его, чтобы к начальству попал в годном состоянии. Получите довольствие, какое положено, и предписание по форме, — он взглянул на часы. — Зайдем-ка в землянку, закончим все это... Скоро фрицы обратно воевать начнут, у них график точный.

Никонов шагнул за ним, его снова шатнуло, и Мельникова, поддерживая, сменила ногу, подлаживаясь рядом.

А посланец из штаба и ополченец, доставивший Никонова, остались стоять друг против друга перед входом в землянку.

Низкая облачность давала надежду, что налета не будет, и старая полуторка как могла шустро катила по наезженной прямо через поле дороге.

Стоя в кузове, Коньков поглядывал на близившиеся дома городской окраины, в который уже раз недоумевая, как могло случиться, что немцы подошли настолько вплотную.

Ехавших вместе с ним, видимо, одолевали сходные мысли, во всяком случае, скуластый и небритый командир, чьи знаки различия скрывала брезентовая накидка, горестно крикнул:

— Эх, мать... моя мамочка! Двадцать минут от передовой и вот он, Питер. Неужто и дальше немец пройдет, а?

— А ты с кого спрашивать хочешь?— зло усмехнулся Коньков.— Ты себя спрашивай.

— Да уж себя я— будь спокоен!— обрадовался его злости скуластый, потому что стало возможным разрядить свою.— А вопрос для дела остается, если я с ним третий раз куда надо еду. Собираемся мы дальше воевать или нет? А вдруг собираемся, то чем, когда у меня по три снаряда на оружие осталось! Может, ты ответишь?

Коньков ответить не успел.

Стоявший слева от него пожилой военврач почти лег на кабину, чтобы видеть говорившего, прикрикнул высоким голосом:

— Прекратите! Приказываю замолчать! Иначе сдам первому патрулю за паникерство и разглашение сведений о нашей обороне. Дискутер нашелся!

— Кто-кто?— тоже лег грудью на кабину скуластый.— Это я паникер? Да я...

От резкого торможения полуторку занесло, расшвыряв ехавших в кузове. Сразу вскочив, Коньков взглянул на небо, но самолетов не было видно и слышно.

— Ты что, сдурел?— крикнул выскочившему из кабины шоферу.— Чего встал?

— Мины! Мины там!— шофер уже прыгнул через промоину на изрытое поле, отбегал, спытываясь.— Они ж взорвутся сейчас!

Пока не понимая в чем дело, Коньков махнул через борт вслед за скуластым и еще одним пассажиром в кожанке, уже на бегу увидел, как от растопырившего руки шофера увернулся какой-то темный клубочек, как зигзагами заметался военный в кожанке. Коньков споткнулся о твердую борозду и, упав на колени, прямо перед собой узрел широко открытые глаза на бледном кривящемся личике.

— Дяденька, я не буду! Дяденька, простите!

— Чего не будешь?— Коньков на коленях приблизился к мальчонке и взял его за плечи.— Реветь не вздумай, я же свой.

— А зачем вы тогда ловите? Бежите все...

Мальчишке было лет восемь, не больше, одежду заляпала мокрая глина, а чуть поодаль лежала клеенчатая кошелка, из которой высыпались мелкие грязные картофелины.

— Картошку, что ли, копали? Да не реви, говорю, успокойся!

— Она... нячья... Олег сказал, можно брать... раз осталась...

Коньков побросал рассыпавшиеся клубеньки в кошелку, подал ее мальчику и поднялся.

— Олег сказал! Там же мины стоят, закинет черт-те куда вместе с картошкой... Вставай! Давай руку, не бойся меня.

— Я уже не боюсь... А мины дальше, мы рядом собираем.

Подходившие мужчины вели еще двух собирателей, тот, что был постарше, время от времени пытался вырваться из-под руки увещевавшего его шофера.

— Тю, дурной, я же сказал, не сдадим никуда и домой подброшу... Не рвись, время нет обратно ловить. Вы где живете?

— Нигде.

— Ну и дурак, что врешь. А то как раз хотел вам к картошке консерву подбросить.

Белоголовый мальчишка, семенивший к машине рядом с Коньковым, живо обернулся к шоферу:

— Мы на Васильевском живем, дяденька... В одном дворе.

— Вот и выходит попутно,— одобрил шофер.— Залазьте наверх.

Две щуплые фигурки перебрались через борт, но старший остался стоять у колеса, глядя в землю.

— Ты что задумался?— спросил его скуластый командир, на всякий случай держась поближе.— Сигай наверх к своим подчиненным.

— А консервы? Обещал ведь.

Уже севший в кабину, но еще не захлопнувший дверцы шофер озадаченно покрутил головой, достав вещмешок, начал развязывать его на коленях.

Военврач, так и не оставивший кузова за все время происходившего, вдруг рассмеялся, засмеялся и хрипло закашлялся скуластый, смеялись шофер и человек в кожанке, вместе со всеми рассмеялся и Коньков.

Стоявший у машины парнишка оглядел всех и, поскольку взрослые нашли в этой ситуации нечто настолько смешное, что на глазах военврача даже проступили слезы, то и его лицо выразило слабое подобие улыбки.

Савин, Купцов и Петраков шли по городу как положено: по мостовой у бровки тротуара, один спереди, двое рядом позади, строем. И как ни часто встречались на улицах военные, все наблюдавшие шагавшую тройцу сразу понимали, что она только-только с фронта.

Но и их не миновала проверка патруля, лица патрульных красноармейцев были очень

серьезны, а начальствующий лейтенант придирчиво рассматривал документы.

— Петраков Иван Николаевич... Год и месяц рождения?

— Август тысяча девятьсот десятого. Шестое августа,— ответил Петраков быстро.

— Та-ак... Предписано явиться — куда?

— Набережная лейтенанта Шмидта,— пояснил Савин, хотя место назначения было указано в бумагах.

— К какому часу?

— К пятнадцати ноль-ноль.

— Все правильно, держите,— вернул документы лейтенант, а красноармейцы рядом с ним отвернули от проверяемых стволы автоматов.— Дорогу знаете, товарищи?

— Знаем,— сказал Купцов из-за плеча Савина.— Я — питерский.

— Тогда следуйте,— козырнул лейтенант.— Счастливо вам.

— И вам наилучшего,— пожелал отходя Петраков.

И они пошли дальше.

Сирена воздушной тревоги, голос диктора, объявляющего о ней по радио, и частые хлопки зениток раздались почти одновременно, из-за того что немецкие самолеты поднимались с очень близких аэродромов.

Улица опустела мгновенно, последней пробежала в укрытие вожатая остановившегося трамвая, и теперь трое двигались вплотную к стенам домов, остерегаясь осколков зенитных снарядов. Четыре разрыва — далекий, поближе и опять два далеких — возвестили о начале бомбежки, за перекрестком над крышами показались клубы дыма.

Грянул более близкий взрыв, из окон посыпались стекла, каменной крошкой разлетелся по тротуару кусок карниза. А затем послышался визгливый нарастающий вой, Савин успел крикнуть «ложись!», они упали ничком, и земля под ними подпрыгнула от тяжелого удара. Еще слышались треск и грохот, а вскочивший Петраков уже бежал к переулку, из которого валили клубы белой пыли, и двое других бросились за ним.

Как ни странно, но тут, возле рухнувшего дома, раньше них оказались люди. И хотя это были гражданские, в их поведении не виделось паники, суеты или боязни, словно тяжелое дело, каким занимались, выпадало на их долю каждый день.

Увидев в проломе стены шатающегося окровавленного человека, Савин полез к нему через осыпь щебня, успел подхватить падающего и на руках снес вниз,

— Медпункт через подворотню, там указатель,— подсказали ему со стороны, и он сразу понял, куда идти, увидев двух подростков с носилками, на которых полусидела старая женщина.

Петраков и Купцов присоединились к группе мужчин, разбирающих завал из кирпичей у входа в подвал. Сорвавшаяся сверху балка стоймя ударила рядом, отпрыгнула, но на это никто не обратил внимания, все работали молча и яростно.

В переулочек въехали две пожарные машины, пожарные в касках включились в работу, и когда общими усилиями сдвинули дощатую стенку, косо прикрывшую вход в убежище, оттуда послышались голоса.

Приняв на руки девушку с до зелени бледным лицом, Купцов, спотыкаясь о кирпичи, спустился на мостовую, убыстряя и убыстряя шаги, почти бегом донес ко входу в медпункт, и здесь его остановили.

— Подождите, сейчас выйдут санитарки,— сказала женщина в берете, с повязкой на рукаве.— Они примут.

— Да я сам, чего ждате? Пустите-ка.

— Нет-нет, не надо!— женщина решительно загородила вход и обернулась.— Санитарки уже идут... Вера, Соня, скорее!

Санитарки переняли ношу Купцова, скрылись в проеме дверей, а женщина в берете, тронув Купцова за рукав, тихо попросила:

— Не сердитесь, пожалуйста. Вы ведь с фронта?

— Ну... Нынче утром нас вызвали.

— Ну вот. Вам еще воевать, а там женщины, детишки раненые, очень тяжело смотреть. Ваш товарищ сам не свой вышел.

Посмотрев туда же, куда и она, Купцов увидел сидящего под стеной Савина. Глаза у него были крепко зажмурены, обхватив плечи руками, он покачивался, как бы унимая боль, губы что-то шептали беззвучно,

Суровые дни наложили особый отпечаток на характер и на внешний облик жителей города, это было заметно и по пассажирам трамвая. И все равно Жигалов ощущал нечто довоенное, находясь в погромывающем на перекрестии рельс вагоне, расслабился и вскоре задремал, убаюканный частым покачиванием.

Пожилой рабочий с брезентовым ремнем противогаса через плечо, на которое щекой прислонился Жигалов, сначала скосял на спящего глаза, потом тихо позвал стоявшую рядом молодую женщину:

— Гражданочка, будьте любезны! При-
сядьте на мое место, мне выходить надо. Ти-
хонечко. Во-о-от.

Осторожно придержав голову бойца, при-
поднялся, несколько смущенная женщина села
рядом с Жигаловым, и теперь он спал на ее
плече, совершенно не ощутив перемены.

Так проехали еще остановку, начался сле-
дующий перегон, и его подбросили и сорвали
с места звуки выстрелов. Он услышал и осо-
знал их за гулом движения раньше всех
в вагоне, до этого зажатый коленями автомат
разом оказался в руках, а сам Жигалов уже
был на площадке вагона.

Три человека бежали по улице, один обер-
нулся, дважды выстрелил навскидку, и перед-
ний из двоих преследующих милиционеров
споткнулся, пошел медленно и косо, упал на
бок.

Жигалов прыгнул с подножки, сильно от-
кидываясь назад, тормозил, пытаясь одновре-
менно развернуться, а когда развернулся, ря-
дом противно мяукнула пуля, и он понял, что
это целили в него.

Двое из бежавших скрылись в арке, а стре-
лявшего он срезал короткой очередью, и по-
равнявшийся с ним милиционер крикнул:

— Лихо, браток! Мы их сейчас...

Впереди них, прямо возле арки, резко затор-
мозил грузовик, дверцы кабины распахнулись,
но еще раньше из кузова через борт прыг-
нул ополченец в ватнике, клацнув затвором,
загнав патрон в ствол. За ним прыгнул вто-
рой, цокнув о твердое подковками сапог.

— Это что за война?— глядя под арку,
спросил тот, что был с винтовкой.

— Диверсанты... Мы документы хотели про-
верить... А они стрелять и ходу...— отвечая,
милиционер дышал тяжело и со свистом.

Жигалов увидел, что второй ополченец —
девушка, отметил, что она без оружия, а от
машины подошел командир в шинели, с писто-
летом в руке, и тогда Жигалов спросил:

— А что стоим? Уйдут, сволочи.

— Не-ет... Не уйдут...— милиционер все ни-
как не мог унять дыхание.— Я этот двор знаю.
Но брать надо... Как бы на крыши не по-
лезли.

Жигалов вбежал во двор раньше всех, Ни-
конов следом, пространство между домами
оказалось почти круглым и заасфальтирован-
ным. Чей-то, было не понять, женский или дет-
ский, голос крикнул из окна сверху:

— Они в угловой, в угловой подъезд побе-
жали! Двое!

Незнакомый Никонову автоматчик первым

оказался у двери подъезда, а Никонов услы-
шал позади, среди дробного стука каблучков
одна, цокающий, оглянулся и — точно, следом
бежала Мельникова.

И тут же сверху щелкнуло раз и другой,
с визгом брызнули крошки асфальта, и, поймав
ее, набегающую, Никонов швырком бросил
фельдшеру к стене.

— Да ты, твою!.. Куда лезешь? Ну, куда?!

— А вы? Вам самому нельзя... Я же по-
слана...

— Послана! Стой здесь. Нет! В подъезд,
живо!

Туда уже проскочил милиционер. Когда
распахнул дверь, из глубины лестничной
клетки, сверху, донесся грохот автоматной
очереди, и Никонов отдернул Мельникову
назад.

— Здесь... Здесь стой. И — ни шагу!

Командир-порученец, сопровождавший его,
вернулся под арку, оттуда, из-за угла, торчал,
пошевеливаясь, ствол пистолета. Никонов уви-
дел пожарную лестницу, закинув винтовку за
спину и разбежавшись, подпрыгнул, подтянул-
ся и полез наверх, торопливо хватаясь за
ржавые, холодные перекладки.

Следившая за ним Мельникова услышала,
как во второй раз, глухо и, видимо, совсем
наверху лестницы, дал знать о себе автомат,
потом ей показалось, что она слышит топот
на крыше.

Никонов еще лез, еще только добирался до
края крыши, а она явственно услышала бу-
хающие звуки шагов по ней, стиснув кулаки,
кусала губу, напрягшись. Его голова подня-
лась над карнизом, вот он высунулся по пояс,
закинул ногу, и тут у него пулей сдернуло
шапку. Никонов качнулся и перевалился за
карниз. Исчез.

Шапка упала на асфальт двора, Мельнико-
ва не отрываясь смотрела на нее, а на крыше
опять негромко щелкнуло и сразу же гулко
ударил винтовочный выстрел. Затем другой.

Что-то темное и тяжелое, шумно пролетев,
хлюпко шмякнулось рядом с шапкой, Мель-
никова не слышала, как это тяжелое сначала
катилось по кровле, и теперь, вздрогнув, за-
жмурилась. Так и стояла с закрытыми глазами.

Потом милиционер и автоматчик вывели из
подъезда задержанного, к ним подошел стояв-
ший под аркой командир и какие-то штатские
люди, прошел мимо, поднял шапку и вернул-
ся к ней Никонов, и лишь тогда Мельникова
обрела способность слышать и пошла со дво-
ра, отвернув голову, чтобы не видеть темный,
расплывшийся ком под стеной.

На улице, у машины, Никонов спросил автоматчика:

— Тебе куда? Давай подбросим за геройство.

— Мы не подбросим,— взглянул на часы порученец.— Время следовать.

— А может, ему попутно!— упрямо возразил Никонов.— Так отчего не взять?

— Да нет, я уж сам,— отозвался Жигалов, навешивая автомат через плечо.— Тоже кой-куда прибыть распоряжение имею,— и сунул ладонь Никонову.— Шустрый ты мужик, с тобой рядом воевать можно. Бывай, курносыя!

И пошел через улицу к остановке трамвая.

А Никонов, посмотрев ему вслед, залез в кузов и протянул руку Мельниковой,

День был холодный, но солнечный, сейчас он особенно ощущал красоту города и жадно всматривался, примечая любые изменения.

Мельникова как бы отошла после происшедшего и тоже смотрела по сторонам.

— Ты сама откуда?— спросил Никонов.— В Ленинграде бывала?

— Да. То есть я из Калининна, а приехала как раз в июне, десятого. У меня здесь тетя жила, я в медицинский хотела... А дома училище кончила.

— Тетка что, уехала? Ты сказала — жила. Мельникова вздохнула.

— Уехала. К нам уехала, к маме. А у нас теперь немцы.

Что ей было сказать? Никонов помолчал, потом предложил оживленной, чем сделал бы это до начала разговора:

— Хочешь, я тебе про город рассказывать стану? Ну, что сам знаю...

— Хочу, спасибо.

— Сейчас мы к Смольному подъедем... Смольный институт, он так назывался, и учились там дворянские дочери, образование и благородное воспитание получали. В революцию главный штаб был, а теперь там горком и тоже, вроде бы, главный штаб,— он взглянул на нее и усмехнулся.— Может, это военная тайна, так ведь и ты присягу принимала...

Мельникова тоже улынулась, но ничего не успела ответить: машина повернула, остановилась перед воротами Смольного, и сидевший в кабине командир протянул какую-то бумагу одному из караульных, а второй встал на колесо и заглянул в кузов.

— Вот это да!— озадаченно сказал Никонов.— Похоже, приехали.

Оставив винтовку внизу и следуя за перетянутым блестящими ремнями дежурным, Никонов поднялся на третий этаж. Здесь дежурный ввел его в большую приемную, что-то негромко сказал майору-адъютанту.

— Товарищ Никонов?— с любопытством взглянул на него майор.— Проходите, вас ждут.

И указал на двери в глубине.

В просторном кабинете у стола был один Кузнецов, и, сразу узнав его, Никонов решил доложить о себе по-армейски, но тот протянул руку:

— Здравствуйте, Сергей Иванович. Вас хочет видеть товарищ Жданов.

— Меня именно?— очень удивился Никонов.— Здравствуйте... А зачем?

— Сейчас все узнаете. Садитесь.

Никонов огляделся, но сесть не успел, потому что из двери в углу вышел Жданов. Подойдя и здороваясь, задержал руку Никонова, внимательно всматриваясь в него.

— Товарищ Никонов? Здравствуйте.

— Здравствуйте, товарищ Жданов.

— Прошу садиться.— Жданов обошел стол, сел. Кузнецов сел сбоку, а Никонов на стул против стола.

— Вы хорошо знаете артиллерийские пороха?— спросил Жданов.

— Да, конечно... Я много лет работал на пороховом производстве.

— А группу современных порохов?— заинтересовался Кузнецов.

— Тоже, разумеется,— разговор, как ни странно, шел о знакомом, и Никонов почувствовал себя уверенней.— Я, в общем, потомственный пороходец. Получил образование по порохам, работая, прошел все стадии производства, бывал в зарубежных командировках...

— Да-да, это нам известно,— нетерпеливо перебил его Жданов.— Значит, современные пороха отобрать сможете?

— Смогу, конечно,— недоумевая вопросам по столь простому поводу, ответил Никонов.— А где отобрать?

Жданов поднялся, прошелся по кабинету и, вернувшись, остановился против него. Никонов встал.

— Сидите-сидите. Вот какое сложилось положение, товарищ Никонов... Заготовки у нас есть, есть артиллеристы и орудия, а стрелять из них мы вскоре не сможем! Уже введен лимит, разрешающий использовать один-два снаряда в сутки на орудие. И все из-за того, что в городе нет артиллерийских поро-

хов! Поэтому вам предстоит отобрать пороха и доставить в Ленинград.

— Откуда... доставить?

— Из Кронштадта,— прищурился Жданов и усмехнулся.— Моряки народ запасливый!— И опять стал очень серьезен.— Так — доставите?

— Отобрать — отберу и сделаю все, чтобы доставить. — Никонов помедлил. — Какими транспортными средствами возможно распорядиться?

— Давайте мандат,— обернулся Жданов к Кузнецову. И, приняв у него бумагу, протянул Никонову. Тот встал.— Вот мандат, он уже подписан. Внизу вас ждет машина, поедете на набережную лейтенанта Шмидта. Там у пристани стоит катер-охотник, он в вашем распоряжении. Там же группа из шести человек, они тоже в вашем распоряжении. Направитесь в Кронштадт, предъявите мандат командованию флота. Порох надо доставить на Калашниковскую набережную в бывшие мучные склады, вас будут ждать. Все понятно?

— Так точно, товарищ Жданов. Разрешите выполнять?

— Подождите.— Жданов снова прошелся по кабинету, вернулся. Теперь он говорил мягче и медленней, как бы желая, чтобы каждое его слово осталось в памяти.— В Кронштадте очень нелегкая боевая обстановка... Очень! Его обстреливают с моря и с берега, непрерывно бомбят. И тем не менее, я хочу, чтобы вы поняли особую, исключительную важность предстоящей задачи... Этот порох нам нужен как воздух, он необходим крайне. Поэтому рискуйте в меру. Справитесь?

— Постараюсь,— развел руками Никонов. Вспомнил, что он уже не штатский и вытянулся.— Будет сделано все возможное!

Жданов протянул руку:

— Тогда — ступайте!

Майор-адъютант не вызвал снизу дежурного в ремнях, провожал сам. Выйдя на улицу, Никонов не увидел ни ставшего уже привычным грузовика, ни Мельниковой, понял, что она уехала, и пожалел, что не успел попрощаться.

Майор махнул рукой, и к ступеням подехал длинный «ЗИС-101». Вот этого Никонов не ожидал.

— Счастливого пути,— козырнул майор.— Желаю удачи.

— Благодарю,— козырнул в ответ Никонов. И услышал цоканье подковок.

Все это время Мельникова ждала, при-

строившись в сторонке у дверей, сначала стоя, а потом присев возле вещмешка, напоследок как бы задремала и очнулась от звука работающего автомобильного мотора. Увидела Никонова и подбежала, довольная, хотя и не без чувства вины из-за того, что едва не заснула.

— Ты здесь? Не уехала?— изумился Никонов.— Как же теперь... Я задание получил, приказ. Тебе со мной нельзя.

— А я от комбата приказ получила. И никто его не отменял!

Никонов был как бы свой, к тому же опекаемый, но рядом находился майор, и Мельникова, возражая, стояла по стойке «смирно».

— Какой у вас приказ?— спросил майор, и Никонов понял, что выход из положения найден, есть кому отменить свиридовское распоряжение.

— Сопровождать товарища Никонова в виду контузии! Следить за состоянием.

Никонов заметил, как осунулось ее лицо, вспомнил, что она прямо из боя, а они не отдыхали и не ели.

— Товарищ майор этот приказ отменит. И распорядится, чтобы тебе к месту добрать-ся помогли.

— Я отменить не вправе,— сказал майор.— Вы, оказывается, контужены, и в виду ответственности задания сопровождающий должен остаться при вас.

— Ну, знаете!— вскипел Никонов. И распахнул заднюю дверцу машины.— Садись... Да мешок сними, горе. И винтовку мою держи.

Повернувшись к майору, молча козырнул еще раз, сел рядом с шофером, и «ЗИС» мягко тронулся с места.

Капитан-лейтенант Ганичев отшелкнул в воду окурки и взглянул на часы.

— Что, задерживается начальство?— осторожно спросил стоявший рядом Антипов.

— Опоздание начальства в порядке вещей,— буркнул Ганичев, исподлобья взглянув на небо.— А что небеса чистые — это дрянь. Обязательно налетят, как пойдём.

— Авось пронесет,— предположил Антипов и посмотрел на набережную.— Похоже, что эта пехота тоже начальство ждёт.

Шестеро за гранитным парашютом не были слитной группой: трое держались вместе, еще трое каждый порознь.

— Возможно,— пожал плечами капитан-лейтенант и вдруг выпрямился и провел рукой по пуговицам тужурки.— А вот и начальство, если интуиция меня не подводит.

Вид Никонова, выбравшегося из подкатившей машины, не слишком походил на начальника, но все ожидавшие на набережной сразу поняли, что это тот, кого они ждут, и, не сговариваясь, встали строем.

— Николай Александрович, ты?— изумленно взгляделся Никонов и, подшагнув, взял за плечи Конькова, стоявшего правофланговым.— Вот не ждал радости! Здравствуй.

— Здравствуй,— улыбнулся Коньков.— А я ждать не ждал, а подумал о тебе отчего-то. Предчувствие, что ли. Значит— в твое распоряжение поступил?

— В мое. Об этом— позже.

Никонов двинулся вдоль строя, и каждый представлялся:

— Младший командир Савин...

— Рядовой Купцов!

— Рядовой Петраков!

— Рядовой Ильичев...

— Жигалов, рядовой!

— Вот и встретились. Быстро, а?— Никонов с удовольствием смотрел на Жигалова.

— Так точно. Я же сказал, с тобой... Виноват, с вами воевать можно. Выходит, напророчил.

Спустившись на набережную, капитан-лейтенант Ганичев подходил для рапорта с особым флотским изяществом, ладонь взлетела к виску точно со смыканием каблуков.

— Товарищ особый уполномоченный, катер прибыл в ваше распоряжение и к походу готов. Командир дивизиона капитан-лейтенант Ганичев!

— Очень приятно. Никонов,— несколько поштатски прозвучал ответ, и в глазах Ганичева запрыгали веселые искорки.

— Прикажете готовиться к отходу?

— Да, выходим... Грузитесь на катер, товарищи!

Жигалов подошел к Мельниковой, так и стоявшей в стороне ото всех, подняв и забросив за плечо ее вещмешок, подмигнул озорно:

— Плавать умеешь, курнося?

— А что? Если тебя спасать, то еще посмотрю, стоит ли!

— Вот-вот, приглядишься, пока ухаживать будешь. Только я на это скорый, так что особенно глазами не хлопай.

Старшина Антипов, встречая поднимающихся на борт, весело покрикивал:

— Пошустрей, пехота! Вниз, солдатики, вниз, там теплее и брызгать не будет. Да курить не вздумайте! Шевели-ись!

Корпус катера задрожал, за кормой вспенился белый бурун, и, все выше и выше зади-

рая нос, охотник пошел, вспарывая воду, к устью реки.

— ...Купцов и Ильичев— с артиллерийского полигона, Савин слесарем-сборщиком на оружейном заводе работал, Петраков— артиллерист, так что народ знающий.— Коньков, беседовавший с Никоновым, посмотрел на Жигалова, что-то нашептывающего Мельниковой в другом конце тесной каюты.— А вон тот я не знаю откуда.

— По-моему, нам его за лихость отрядили,— рассудил Никонов.— Видел я его в деле, парень— гвоздь!

— Так видать, что ходок,— согласился Коньков.— Как раз девчонке голову закрутит.

— Сколько мы идем, минут двадцать?— поднялся Никонов.— Пойду покурю. Заодно на море взгляну.

Одолев крутые металлические ступени, открыл люк и попал в облако водяной пыли. До рубки добрался основательно вымокший и, когда втиснулся в нее, Ганичев бросил:

— Подходим. Обстановка сложная, как видите.

И Никонов увидел впереди панораму Кронштадта, затянутую гарью и пороховым дымом, с черными клубами пожарниц. Оттуда, из дымных облаков, вынеслись низко идущие самолеты, приближаясь с невероятной быстротой.

— Наши?— спросил Никонов, взглядываясь напряженно.

— «Ах, если бы так,— прошептала она». Это гансы. Сейчас охотиться начнут.

«Мессершмитты» промелькнули над катером, стука пулеметов и пушек не было слышно за мощным гудением двигателей, но справа и слева по воде пробежали бурливые дорожки.

Катер резко бросило в сторону, затем в другую, и теперь он так и шел зигзагами, а впереди, над водой, снова появились атакующие истребители врага.

— Полный! Самый полный!— кричал Ганичев в трубку переговорного устройства.— Вре-ешь, не дадимся, нас дома ждут... Па-вернем!

Уходя от очередного обстрела, катер описал крутую дугу и проскочил в гавань под защиту зениток и завесы из дыма.

Здесь шли на малом ходу, и Никонов с горестным чувством увидел осевший на грунт полузатопленный линкор «Марат», торчащие из волн мачты затонувшего транспорта, лежащий на боку лидер «Минск».

— Третьего дня сотни три пикировщиков налетело, такое творилось!— мрачно пояснил Ганичев.— До сих пор пожары коптят. А мы под дымком и пришвартуемся. Все прикроет от лютого глаза.

Решение капитан-лейтенанта было и правильным и своевременным: как только начали высаживаться, начался налет.

Никонов и Коньков первыми выбежали из-под завесы дыма на бульжную площадку, которую предстояло пересечь, чтобы укрыться у кирпичных пакгаузов. Воздух гудел от взрыва бомб и стука пулеметов, осколки зенитных снарядов с посвистом били о камни.

Савин, Петраков и Купцов так и бежали втроем, следом за ними — Ильичев.

Из-под кирпичной стены Никонов увидел, как начали преодолевать открытое пространство Мельникова и Жигалов, досадливо ударил кулаком о ладонь:

— Черт! Нагрузил девчонку винтовкой и забыл про нее!

Мельникова действительно бежала с винтовкой. Жигалов тащил ее вещмешок. Оба были на полпути до цели, когда над ними с ревом промелькнули две черные тени, по бульжнику пробежали полосы маленьких взрывов и Жигалов упал. Сразу вскочив, метнулся вперед, но из распоротого мешка высыпались банки консервов, буханка хлеба, свертки, и Мельникова, присев и положив винтовку, собирала припасы, совала за пазуху. А в небе снова нарастал звенящий гул.

— Брось, брось ты это! Слышишь?— крикнул Никонов.— Беги! Беги, я приказываю!

Она то ли не слышала, то ли не обращала внимания, но зато услышал Жигалов. Оглянувшись, он бросился назад, добежал, одной рукой подхватил винтовку, другой ухватил Мельникову за ворот, подпернул на ноги и, перехватив за рукав, бегом поволок за собой.

Мелькнувшие самолеты еще раз вспоролы очередями бульжную площадь, но бежавшие уже достигли укрытия, и, рухнув на колени и хватая ртом воздух, Жигалов с трудом выдал:

— Все... Любушка... Теперь шей на меня... стирай... А когда добрая — так и приласкай душевно... Раз я жизни не пожалел... значит, сильно влюбился!

В этом дворе большой деревянный дом сгорел после бомбежки на прошлой неделе, но каменный флигель уцелел, и, подходя к не-

му, Ганичев испугался, что хозяйева перебралась куда-то, таким он выглядел нежилым.

На стук в дверь не ответили; шурша пожелтевшей, пожухлой травой, Ганичев прошел вдоль окон с грязными стеклами, постучал в крайнее. Изнутри, за рамами, белым пятном обозначилось чье-то лицо, он вернулся к двери и скоро за ней послышались шаркающие шаги.

Старуха в наброшенной на голову цветастой шали, отворив, отступила в глубь квартиры, исчезла в полутьме, но он знал, куда идти, и вошел в комнату, устланную грязным потемневшим ковром.

Сел у стола, покрытого тяжелой, в пятнах, скатертью, закурил, а хозяин появился очень тихо, несмотря на одышку и грузность.

— Здравсте, дорогой капитан, опять решили навестить, да? Только у меня совсем ничего не осталось — откуда взять?— старые запасы людям раздал, за новыми в город не съездишь. Ленинград тоже бомбят, голодно там?

— Бомбят.— Ганичев стряхнул пепел в бронзовую пепельницу с томно изогнувшейся грудастой красавицей.— Мне что-нибудь выпить и закусить. Не водки, а, скажем, для дня рождения женщины.

— Ох, женщины!— сощурился без того узкие глаза, вздохнул хозяин.— Они в войну торопятся жить, боятся, что все мимо пройдет. Гордые красавицы ласковыми стали, а ласковые...

— Давай покороче, у меня времени нет.— Ганичев полез в карман реглана.— И денег нет. А есть вот это,— вынув тяжелый портсигар, подержал на ладони, положив на скатерть, подвинул к хозяину.— Пойдет, я думаю.

Большая пухлая рука накрыла тускло блестящую вещицу, приподняв, покачалась, взвешивая, исчезла под столом.

— Не знаю, как быть, пойду посмотрю, вдруг осталось от хорошей жизни. Ах, война, война! И когда конец?

Где-то в отдалении звучно пробили часы, через комнату прошмыгнула старуха в шали. Ганичев вмял папиросу у ног бронзовой красавицы, и вернулся хозяин.

— Нашел, случайно осталось,— поставил на стол запыленную бутылку темного стекла.— Как раз милой женщине понравится: сладкое и крепкое. Она очень добрая станет. Еще шпроты нашел, язык в желе... Больше ничего нету, что сами кушать будем?

— Ну, ты не скоро похудеешь,— поднявшись и засовывая банки в карман, оценил Ганичев.

— Это больной я, поэтому полный такой,—

пожаловался хозяин.— Сердце, давление тоже большое... Ты спроси у нее: если красивые, старые штучки есть, пусть не жалеет. От себя оторву, а найду для дамочки вкусное. Сейчас раненых много, она ночами работает, ей кушать надо.— Ганичев молча смотрел на него, и говоривший счел нужным пояснить:— Конечно знаю, куда пойдешь! Гарнизон маленький, все друг друга видят, знакомые все...

— Слушай, знакомый, и запоминай: если к ней со своими делами сунешься—приду, выволоку на двор и шлепну! И ни давления тебе, ни сердечных колик, полный покой. Обдумай это, поскольку меня провожать не надо.

В середине сентября немцы вышли к побережью Невской губы и с тех пор почти круглосуточно вели обстрел Кронштадта.

Вот и сейчас то и дело слышался посвист снарядов и звуки дальних и близких разрывов, но это стало привычным, как стало привычным многое за три с лишним месяца войны.

И только к тому, что опять представляется возможность увидеть Веру, Ганичев привыкнуть не мог.

А она, выйдя несколько раньше, уже ждала у ворот госпиталя, увидев подходившего, двинулась навстречу и только и сказала тихо:

— Вернулись... А я все думала, думала... Тут такой налет был!

— Я знаю. Успели к концу, но все обошлось. У меня четыре часа, Вера.

— А мне к двенадцати на дежурство.— Она взяла Ганичева под руку.— Знаете, к Гале муж в увольнение пришел, они почти месяц не виделись, просила быть... Так что пойдете к ним, ладно?

— Приглашение принято с благодарностью. Честно говоря, я его ждал... Поскольку ну куда же нам деться в таких условиях? Гулять как-то не манит.

— «Деться» — нехорошее слово... А что честно и что ждали, это хорошо. Я тоже вас очень ждала; у нас трудно, очень много раненых поступает, и вообще все так страшно кругом. А с вами не страшно. Странно, всего месяц знакомы, а я жду и думаю о вас.

Вот так, сразу при встрече и на ходу, ему было сказано почти все, что мечтал услышать, и Ганичев понял, что он счастлив.

Идти было недалеко. Вера жила в квартире Батановых. Батанов был летчик-истребитель и теперь сам открыл им дверь.

— Здравствуй, Вера,— сказал, улыбаясь радостно.— Здравствуйте... Я Батанов.

Ганичев

— Галя! Га-а-а!— крикнул Батанов в сторону кухни.— Это Вера пришла... Она же — надежда, она же — любовь! И с ней моряк, красивый сам собою.

Он был вообще веселый и радушный человек, а сейчас уже четыре часа пробыл дома и предвкушал еще шесть часов впереди.

— Замечательно!— донеслось из кухни.— И у меня все готово... Вера! Оставь моряка Володьке и собирай на стол.

Ганичев выставил на столик под вешалкой две консервные банки и бутылку, снял и повесил реглан, пригладил волосы перед зеркалом.

За стенами дома по-прежнему длился обстрел, но жизнь продолжалась и представлялась ему замечательной.

Пластинку, видимо, использовали часто, и крутилась она с шипением.

На Дальнем Востоке акула
Охотой была занята,
Злодейка-акула дерзнула
Напасть на соседа кита,—

с лукавой интонацией пел Утесов, и Ганичев с Верой танцевали под немудрящий мотив.

Галина убирала со стола, а Батанов, покрутив в руках пустую бутылку, поставил ее и сказал:

— Да-а, еще как там эта акула себя поведет... А, видали мы их! Самураи тоже бойкие, пока всерьез не врежешь. Мы ведь дальневосточники, моряк!

— Я знаю,— танцуня ответил Ганичев.— Вера рассказывала.

Но слопать кита, как селедку,
Акула никак не смогла,
Не лезет в акулюю он глотку,
Для этого глотка мала.
Да-да, да-да, для этого глотка мала!
Да-да...

— А рассказывала, как он с моими родными знакомился?— Галина, смеясь, ставила посуду на поднос.— Они ведь у меня староверы, народ строгий, а Володька с друзьями два ящика спирта привез и еще закурил от волнения... Там та-а-кое началось, родители на дыбы, ребята еле ноги унесли!

— Так ведь вместе унесли!— с удовольствием напомнил ей муж.

— Вместе, вместе, молодец! За это бери поднос, неси в кухню... Вера, можно тебя на минутку? Извините, Сергей.

У себя в комнате Галина оглядела вошедшую подругу, покачав головой, спросила:

— Ну? Долго ты его будешь танцевать? Им же скоро опять туда... Я его месяц знаю, а вижу, что он за тебя по первому слову нырнуть и не вынырнуть готов. А ты что?

— Что же мне делать?— тихо сказала Вера.— И я нырнуть готова и вижу, как он ко мне... А как сказать, не знаю.

— Господи, да чего говорить?— Галина ласково чмокнула ее в щеку.— Батанова я забираю, веди моряка к себе, а к чаю на дорогу я вас позову. Иди, иди, горюшко тихое, пропади они пропадом, фрицы проклятые, не пройдет у них, чтобы мы без счастья жили!

В опустевшей столовой Ганичев стоял у окна и стекла вздрагивали со слабым звуком вибрации.

Помедлив на пороге, Вера тихо прошла к себе, подойдя к зеркалу, всмотрелась, поправила волосы и вздохнула.

— Сережа,— позвала негромко.— Что вы там один? Идите сюда.

На мгновение прикрыв глаза, он зачем-то застегнул крючки ворота кителя, неловко ступая, дошел до двери, и, когда вошел, Вера плотно прикрыла ее, повернувшись, положила руки на его плечи.

— Ты... ты потом опять уйдешь и опять вернешься. Обязательно! Потому что я тебя буду ждать еще сильнее. Хотя сильнее я уже не смогу, так я тебя жду все время..

Совещание проходило в штабе флота, и его командующий адмирал Трибуц говорил:

— ...различные марки порохов хранятся на форту Петра Первого. Какие вам нужны — отберете сами. Теперь о погрузке... Сколько у вас людей?

— Семь человек,— ответил Никонов.— Со мной — восемь.

— Это нетрудно сосчитать, но это все равно, что ничего. Хорошо, людей мы выделим... Товарищ Корецкий, во что бы то ни стало обеспечьте двести человек для погрузки.

— Слушаюсь,— ответил Корецкий.

— Разрешите, товарищ адмирал?— спросил пожилой капитан первого ранга.

— Говорите.

— На мой взгляд, погрузку необходимо закончить затемно, чтобы к утру плавсредства уже ушли. Я имею в виду опасность попадания в них во время налетов.

— Да, это необходимо учесть,— кивнул адмирал.— Мы можем предоставить лишь бук-

сиры и стотонные баржи. Скверно представить, что произойдет, если в такую баржу ударит бомба!

— В случае попадания не останется ничего живого в радиусе полутора километров, не менее,— уточнил Никонов.— Но ведь буксир и баржа — комбинация очень тихоходная. Может быть...

— Ничего иного быть не может,— теперь перебил уже адмирал.— У нас просто нет иных средств. Я вообще считаю ваше предприятие безнадежным, поскольку вы пойдете открытые артобстрелу с берега и ударам с воздуха! Но приказ есть приказ, и мы его выполним в том смысле, что обеспечим погрузку, всемерную охрану в пути и возможное прикрытие с воздуха. Капитан-лейтенант Ганичев, ваш дивизион будет конвоировать транспорт.

— Есть конвоировать!— улыбаясь, отозвался Ганичев, и многие посмотрели на него с удивлением, настолько легкомысленно-радостной прозвучала интонация ответа.

— Прикрытие с воздуха обеспечивает эскадрилья майора Хохрякова...

Коренастый, глыбоподобный Хохряков гордился своим сходством с Валерием Чкаловым, сам летал классно, но сейчас был пасмурней непогоды.

— Разрешите доложить, товарищ адмирал. В настоящее время имею большую убыль в летном составе, полностью технически исправных машин — пять, взлетно-посадочную полосу противник приводит в негодность каждые два-три часа. В этих условиях...

— Даже в этих условиях надлежит любой ценой обеспечить прикрытие порохового каравана.— Трибуц оглядел собравшихся.— Это относится ко всем: обеспечить своевременную погрузку, выход в море и поход любой ценой! Всем ясно?

— Есть обеспечить погрузку!— сказал Корецкий.

— Есть обеспечить прикрытие каравана!— все так же бодро отозвался Ганичев.

— Слушаюсь, товарищ адмирал!— ответил Хохряков.

— Товарищ Никонов, сколько вам нужно времени, чтобы отобрать годные марки порохов?

— Если начать через полчаса, то за пять-шесть часов управимся,— прикинув, ответил Никонов.

— Придется управиться за три, максимум — четыре часа,— постановил командующий флотом.— Товарищ Никишин, работы по погрузке

не могут проходить в абсолютной темноте. Следует предусмотреть наличие фонарей с синими стеклами. Позаботьтесь накормить горячим.

— Вас понял, товарищ адмирал! Будет исполнено!

Предстояло завершить совещание, и адмирал Трибуц еще и еще прикидывал, все ли учтено из учитываемого.

— Да, вот еще что: необходимо усилить зенитные батареи в районе погрузки. Это по вашей части, товарищ Москалюк.

— Есть усилить зенитные батареи!

— Тогда заканчиваем и — в добрый час! Капитану первого ранга Лаврентьеву держать меня в курсе происходящего, докладывая каждые сорок минут. У меня все, выполняйте!

Тут, под сводами старинных каменных галерей, они стояли тысячами, помеченные маркировкой цинковые ящики, и внутри каждого аккуратно увязанный мешок с порохом.

Галереи освещались скудно, приходилось подсвечивать фонариком и, разглядев маркировку, Никонов определял:

— Этот.

Или:

— Этот в сторону. Следующий.

Жигалов и Ильичев подхватывали и несли отобранные к выходу, а по другую сторону стеллажа отбирал нужное Коньков и ему помогали Савин с Петраковым.

Выход из галереи был завешен большим брезентом, чтобы наружу не проникал свет, а от выхода и до причала с пришвартованной к нему железной баржей стояли цепочкой краснофлотцы, передающие ящики друг другу.

Укладкой ящиков на барже руководил Купцов и неотступно следовавший за ним лейтенант, как эхо, дублировал его указания:

— Плотнее кладите, без зазоров...

— Есть класть плотнее!

— Сюда еще три, один сверху, и новый ряд начнем...

— Уложить три, один сверху, начать новый ряд!

В синем свете фонарей лица работавших выглядели странно, сказанное негромко гулко отдавалось в недрах железной коробки, то и дело царапал нервы металлический скрежет обшивки о камни причала.

К Любе Мельниковой, находившейся в щели-укрытии, спрыгнул краснофлотец, протянув окровавленную руку, попросил:

— Перевяжи, сестричка. Вроде, ноготь со-свал.

— Покажи-ка,— она подвинула фонарь поближе.— О-ой, как... Его удалить надо.

— Одним меньше — ничего. Удаляй!

Мельникова раскрыла сумку, перебирая содержимое, а ее пациент приподнялся, прислушался и покрутил головой:

— Ах, не вовремя зудят... Ты вот что: бинтуй быстро, не выйдет операцию производить. Сейчас налетят, устроят нам карусель!

И в цепи работавших услышали гудение подходивших самолетов, то один, то другой с тревогой поглядывали на черное небо.

Звук моторов усилился, вспыхнула и начала очень медленно опускаться гирлянда огней, за ней засветились и как бы повисли вторая и третья.

Стало очень светло.

— Всем в укрытия! — раздалась команда.— Немедленно всем в укрытия!

Люди разбегались, прыгая в щели, ища защиты под бетонными стенами, многие использовали старые воронки.

С первыми разрывами бомб часто-часто застучали зенитки, потянулись вверх нити трассирующих пуль.

Перебегая и припадая к земле, Никонов добрался до баржи. Сброшенные с самолетов осветительные ракеты озаряли все вокруг мерцающим светом. То ли это мерцание, то ли сильное волнение кривило лицо Купцова.

— Сколько ящиков приняли? — спросил его Никонов.

— Почти полный груз! — грохот стоял такой, что приходилось кричать.— Что делать, Сергей Иванович?

— Ума не приложу! — Никонов с отчаянием смотрел в небо.— Одно попадание — и всему каюк! А буксиры только часа через два подойдут!

По причалу бежал краснофлотец-связист, перепрыгнув на баржу, крикнул:

— Никонов! Товарищ Никонов, вас из штаба флота на связь вызывают! Срочно!

— Иду! А ты в укрытие не хочешь, Купцов?

— Сам же сказал: одно попадание, и всему амба! Отсюда раньше всех на небеса вознесусь... Иди!

— Ладно, держись!

Купцов видел, как они бежали, как с треском расцвел впереди и правее бегущих багровый куст разрыва и как тело связиста косо взметнулось и грянулось о землю.

Зажав уши ладонями, Никонов потряс головой, переместившись к краснофлотцу, пере-

вернул тяжелое тело и, глянув в лицо, спотыкаясь, заспешил дальше.

Слышимость была очень плохой, и командующий не говорил, а кричал:

— ...одна почти загружена? А потери? Потери есть? Так... Так... Хорошо, мы примем решение и свяжемся с вами через тридцать минут!

Адмирал Трибуц положил трубку и повернулся к Корецкому.

— Погрузка временно прекращена, хотя одна баржа почти загружена. Они, разумеется, возобновят работы, но не без основания ждут следующего налета.

— Немцы налетят обязательно,— кивнул Корецкий.

— Вот именно. А посему выход один: северо-западнее форта Петра Первого на должном удалении организовать якобы аналогичный участок работ. Имитировать попадание в баржу, чтобы горела и демаскировала объект. И несмотря на бомбежку продолжать работы, чтобы это засекали с воздуха.

Адмирал помолчал, пальцы лежащей на столе руки выбивали беззвучную дробь.

— Там будет очень трудно, поэтому следует отобрать добровольцев.

— Есть отобрать добровольцев!— отозвался Корецкий.— Прошу разрешить возглавить работу на ложном объекте, товарищ адмирал.

Выйдя из-за стола, Трибуц постоял против Корецкого, вернувшись на место, сказал:

— Разрешаю. Выполняйте.

В скудно освещенном помещении раздалась команда:

— Эки-ипа-аж, смир-рна-а! Равнение на-алево!— скомандовавший офицер, неся ладонь у козырька, подошел к Корецкому.— Товарищ капитан первого ранга! Третий экипаж в составе семидесяти двух человек построен. В виду убыли в составе отсутствуют шестьдесят три, больных нет. Экипаж к выполнению задания готов. Командир экипажа капитан-лейтенант Васнецов!

— Вольно.

— Во-оль-но!

Корецкий прошел вдоль строя и вернулся на середину.

— Товарищи краснофлотцы, на форту Петра Первого идет погрузка пороха для оборонных заводов Ленинграда, выполняется ответственной задачей. Налеты вражеской авиации

грозят непоправимой бедой всему Кронштадту. Мне доверено отобрать добровольцев для скорейшей организации ложного объекта погрузки с целью отвлечения самолетов врага. Работать придется под огнем. Хочу сказать, что не изъявивших желания никто не осудит: у нас сейчас нет безопасных постов. Это все. Для принятия решения выделяю минуту.

Он сказал правду: для сражавшихся в цитадели Балтийского флота безопасных мест не было. Три дня назад в этом экипаже значилось на шестьдесят три краснофлотца больше! Но сколько вернется из тех, кто уйдет сейчас?

Корецкий опять взглянул на часы.

— Минута истекла, товарищ Васнецов.

— Экипаж, смир-рно! Добровольцы, к выполнению задания два шага вперед, шагом марш!

Строй дважды и слитно шагнул, приблизившись к Корецкому.

— Благодарю всех, товарищи...

— Служим трудовому народу!— мощно грянул ответ,

Грея ладони о горячую кружку с чаем, Жигалов поглядывал на сидевшую против него Любу Мельникову, наглядевшись, сказал задушевно:

— Вот закончим мы непосильное таскание тяжестей и опять поплывем с тобой по синему морю, Любушка. Исключительно полезная будет прогулка и, может статься, станешь ты золотой рыбкой, а я чудным морским. Ну, тогда сама понимаешь, никто мне не закажет, как с тобой поступить!

— Ты бы лучше сладкого ел поменьше,— упрекнула Мельникова.— Третий кусок тянешь, а еще сколько народу придет. Сказочник!

Наблюдавший за ними Никонов заметил, что эти двое всегда оказываются рядом, если выпадает возможность, и их пикировка не вводила его в заблуждение.

Он допил чай и потрепал за плечо дремавшего Конькова.

— Кончай ночевать, Николай Александрович... Осталось всего ничего, начать и завершить. Полтора часа до подхода буксиров.

— А? Да... Пошли, я там все отобрал, но проследить надо. Долго кимарил?

— Минут пять.

— Ты смотри, а та-акой сон видел!

В стоящей шеренге из рук в руки переходил ящик за ящиком, но передавались они заметно медленнее, чем раньше.

— Устали люди, — сказал Коньков.
— Так и не шутка часами груз бросать...
М-мм!

Никонов скривился, и Коньков обеспокоенно взглянул на него.

— Ты что? Голова?

— Ничего, стреляет маленько... Любе не скажи, она уже раза три приставала, пульс щупала... Обойдется.

— Дай бог.— Коньков посмотрел вдаль над его плечом.— А там грохочет! Они ведь без укрытий, специально от нас отвлекают.

В той стороне, где находился ложный объект, колыхалось зарево, слышались частые взрывы, и самолеты, гудевшие над головой, спешили именно туда.

Никонов тоже взглянул и утешил:

— Не завидуй. Если отшвартуемся, нам предстоит не скучнее забава. Да уж скорее бы отшвартоваться, тошнее нет, когда за тебя другие расплачиваются!

Нырнув под брезент, вошли в галерею и стал слышен голос Петракова, отмечающего в блокноте выносимые ящики, а из глубины вышел Савин, обрадовался, увидев Никонова.

— Товарищ Никонов, взглянуть надо, там клеймо непонятное. Не «американец», не «француз», а просто не разбери-пойми. Я сперва три отложил, после вижу — целая партия.

— Ну, пойдем взглянем... А ты сходи на баржу, Николай Александрович, проследи, как погрузка.

Шарящие в небе лучи прожекторов высвечивали массивные серебристые туши аэроставов воздушного заграждения. А надував самолет, сходились на нем и «вели», не отпуская, ярко выделяя под обстрел зениток.

Теперь Ленинград часто бомбили ночами, но в Смольном давно смешались понятия «день» и «ночь», напряженная деятельность не затихала круглые сутки.

На этом совещании обсуждалась одна из самых больших проблем — проблема продовольствия.

— ...положение не только тяжелое, оно очень тяжелое, — говорил Жданов. — К сожалению, мы не можем принимать в расчет переброску продовольствия из-за кольца блокады: количество транспортных самолетов минимально, и враг особенно охотится за ними. Еще раз ограничить нормы питания личному составу войск и Балтийского флота — значило бы понизить их боеспособность. Остается одно: снова сократить продовольственные нормы на

селения... Прежде чем приступить к обсуждению этого вопроса, я предлагаю выслушать товарища Попкова.

Попков встал, положив перед собой блокнот, оглядел собравшихся.

— Тщательный учет наличных запасов продовольствия дал такие неутешительные результаты... Мясопродуктов осталось на пять недель, муки на десять недель, крупы и жиров на шесть-семь недель, сахара на две-три недели. Уже наблюдались случаи смертности от дистрофии...

Подошедший к Жданову секретарь тихо сказал:

— Извините, Андрей Александрович, но вы просили... На проводе Кронштадт, командующий Балтфлотом.

Жданов поднялся:

— Прошу извинить, товарищи, я отлучусь ненадолго.

В соседнем помещении подошел к аппарату, взял трубку:

— Жданов у аппарата. Да, слушаю вас, товарищ Трибуц... Так. Хорошо... Понимаю. Когда баржи должны выйти в Ленинград? Ах, вот как. Промедление в этом вопросе для нас подобно смерти, но если ночью безопаснее... Да, вы правы, отправляйте, как решили. Мы ждем, очень ждем этот груз! Благодарю вас, всего доброго.

Повесив трубку, некоторое время постоял, не двигаясь, затем провел рукой по лицу и вернулся в комнату, где шло совещание.

— Продолжайте, товарищ Попков. Вы остановились на данных о смертности среди гражданского населения...

Приближающийся к пирсу буксир дал о себе знать пытением старой машины, огней на нем не было.

Капитан буксира, пришвартовавшись, перешел на пирс, подойдя, показал в неестественном свете фонаря худощавое и немолодое уже лицо.

— Кто тут старший?

— Я старший. Моя фамилия Никонов.

— Ну да, сходится... А я старший из буксировщиков, сейчас другие подойдут. Интересно, как станем баржи швартовать?

— То есть как их цеплять? — удивился Никонов. — А что вы меня спрашиваете, первый раз баржи ведете?

— Зачем первый... Хочу хозяйское слово услышать.

— А как их вообще цепляют? — напрямую спросил Купцов.

Капитан, сощурившись, осмотрел его, прежде чем ответить.

— Могу с носа, могу на буксир. Можно борт к борту, сбоку.

— А как лучше?— начал терять терпение Никонов.

— А как прикажете, так и пришвартую,— прозвучал хладнокровный ответ.

— Как прикажу, значит... Что мы, везем, знаете?

— И знать не хочу. Мое дело — буксировать.

Темнота вокруг заметно серела, близился рассвет. Со стороны ложного объекта по-прежнему доносились взрывы, а здесь было тихо, под стенами, в щелях-укрытиях и где только было возможно, приткнувшись друг к другу, спали уставшие люди.

Поразмыслив, Никонов решил:

— Будем швартовать баржи сбоку. Таким образом, чтобы корпус буксира прикрывал баржу от обстрела с берега.

Капитан согласно хмыкнул:

— Кхм! Мимо немцев пойдем, верно... Значит, с этим решили. А каким фарватером следовать?

И вновь вопрос застал Никонова врасплох.

— А какие фарватеры тут есть?

— Их тут два, морской и пассажирский.

Никонов посмотрел на Конькова, и тот пожал плечами.

— В чем разница, не объясните?

— Это просто: пассажирский на три мили дальше от берега.

— Так пассажирским и пойдем!— обрадовался Коньков.— Подальше от немцев.

— Тогда неувязка,— погладил щетинистый подбородок капитан.— Я с ним не очень знаком. Я только морским ходил.

— Вы что, недавно здесь плаваете, да?— с яростью спросил Никонов.

— Зачем недавно? На Финском заливе двадцать пять лет.

С воды послышалось пыхтение двигателя, подходил второй буксир.

— Вы, это, решите тут, что почему,— указующе предложил капитан.— А я Митю Самохвалова встречу, это он подходит.

И исчез, перебравшись на свой буксир.

Рассвет брал свое, темными неподвижными глыбами обозначились у причала пороховые баржи, предметы вокруг проявлялись все отчетливей.

Никонов и Коньков отошли к насыпи старого подъездного пути, присели на трухлявые шпалы. От бункера-хранилища в шинели вна-

кидку подошел Ильичев, чиркнув спичкой за отверстием шинели, закурил, присел рядом.

— Сил нет, до чего в сон клонит,— пожаловался, как бы извиняясь.

— Что будем делать?— спросил Никонов.— Звонить командующему флотом, просить другого буксировщика?

— А есть он, другой?— переспросил Коньков.— И сколько времени пройдет, пока пришлют... Надо в море выходить, засветло нас тут раздолбят за милую душу.

— Раздолбят,— задумчиво согласился Никонов.— Будем выходить, решено. Тогда распределим так: на первой связке пойду я, ну и Мельникова, таким образом...

— А Жигалов?— рассмеялся Коньков.— Как он без нее?

— А Жигалов с тобой на второй. На третьей — Петраков и Купцов. Ну а на четвертой Ильичев и Савин.

— Будет сделано, как раз он мужик запасливый, так что и я при харчах!— обрадовался Ильичев.

— Вот так и пойдем,— подытожил Никонов.— Давайте соберем всех, условимся окончательно, что и как. На всякий случай помни, Николай Александрович, ждут нас на Калашниковской набережной, туда груз доставить.

— Вот и доставишь,— Коньков вынул из пальцев Ильичева окурки, жадно затянулся раз и другой.— Мы вместе доставим!

Перед утром резко похолодало и поднявшийся от воды туман заволок все густой пеленой, дав защитникам Кронштадта передышку от налетов авиации врага.

Выезжая с госпитальной бригадой забирать раненых, Вера Лебедева в глубине души имела надежду встретить Ганичева, но тяжелая работа заставила забыть все личное и отдать ей целиком.

Раненых, доставленных с объекта северо-западнее форта Петра Первого, выносили с плавсредств на причал. Врачам надлежало решать очередность их доставки в госпиталь, поскольку машин было мало.

— Заберите немедленно,— сказала Вера санитарам, осмотрев раненного в голову.— Осторожней несите.

Краснофлотец, к которому она затем перешла, сам задрал тельняшку, показав неумело накрученную, в темных пятнах повязку на животе.

— Меня, думаю, лучше здесь оставить... Когда трюм разворочен, любой корабль тонет...

— Тише, тише... Не надо напрягаться,— попросила Вера.— Корабль на воде, а ты уже на берегу и все будет хорошо. Сейчас в госпиталь отвезем.

На следующих носилках, сцепив зубы, мотал головой, борясь с болью, моряк с простреленными ногами. Осторожно ощупав вокруг ран, она достала из сумки шприц, отломала головку ампулы.

— Не делайте укола... доктор,— попросил раненый.— Я их до смерти боюсь.

— Зато боль отпустит и заснешь.

— Да, а проснусь — и ног нету... У вас быстро отчихают.

— Что за глупости! Кости целы, скоро будешь ходить как раньше... Я укол сделаю, и даже заберем тебя попозже, пока лежишь, отдохнешь.

Вера сделала укол, опустившийся по трапу санитар что-то прошептал ей на ухо, и, собрав сумку, она поднялась на баржу.

На корме, в дошатай рубке, лежал на койке командир экипажа Васнецов. Сидевший около краснофлотец встал навстречу, сказал смятенно:

— Он говорил все время, ничего не понять было, а после замолчал и только пальцами шевелил... Быстро так, будто на рояле играл!

Присев на койку, Лебедева взяла и подержала запястье Васнецова, затем осторожно приподняла веко. Встала и, покачав головой в ответ на вопросительно-испуганный взгляд краснофлотца, вышла из рубки.

— Левее... Еще левее,— отчетливо раздался совсем рядом голос за бортом, и она вздрогнула.— Так держаты!

Слоистое облако тумана разорвалось, передвигаясь, и метрах в пятнадцати от себя Вера увидела Ганичева.

Она видела голову и часть тела по грудь, как бы живой бюст, затем белесый, колышущийся доскут закрыл все, кроме головы, и так странно было видеть отдельно проплывающее лицо Сергея, что ей сжало горло и не стало возможным его окликнуть.

Разрыв в облаке сомкнулся. Крепко сжав поручень, Вера напряженно вглядывалась в клубящуюся завесу, но больше ничего не было ни слышно, ни видно.

Туман напоз с воды на берег, и в нем растаяла сначала железнодорожная насыпь, затем пирс, стало мглисто.

— Ну что, отплываем?— спросил капитан.

— Да, пошли.

Капитан только кивнул, спрыгнул в будку и запустил двигатель.

Стук мотора был единственным звуком среди седой пустыни, за бортом бесшумно струилась темная вода и от нее тянуло холодом.

Палуба стала мокрой и скользкой, приходилось передвигаться очень аккуратно. Дойдя до кормы, Никонов вернулся к будке, понаблюдал капитана, поинтересовался:

— Мельникову не видели? Девушку, что со мной пришла, фельдшерницу нашу?

— На барже они,— не повернув головы, пошевеливал руль капитан.— Там обосновались.

— Кто — они?

— Ваши, чья же. А кто и что, фельдшерница или какая птица — вам видней.

Перебравшись через бортовое ограждение на баржу, Никонов едва ли не ошупью обогнул штабель ящиков.

— Люба!— позвал, возвысив голос, но он все равно звучал глухо, как в вате.— Мельникова, где ты?

Продвинувшись еще, оказался там, где на корме осталось свободное от ящиков пространство, и остановился. Присел на корточках, да так и остался, не зная, как быть.

Жигалов заснул сидя, на плечи наброшен мешок, левая рука засунута в карман, правая лежала на автомате.

А Мельникова, положив голову к нему на колени, съежила под его шинелью и спала, нахмурившись, отчего лицо казалось очень строгим.

Взлетная полоса была для маскировки забросана сосновым лапником, накрытые маскировочными сетками самолеты загнали в молодую поросль леса, а еще глубже в лесу располагались землянки летного состава и технарей. И если для полосы удалось найти более или менее сухое место, то жилые и служебные помещения ютились в сырости.

Пробегаая по наброшенным на болотную жижу доскам, Даушвили оскользнулся и нога по колену ушла в темную хлюпь.

— Вах, дэда!..

Прыгая на одной ноге, доскакал до твердого, прижавшись спиной к чахлой сосенке, снял и вытряхнул сапог, но носки выжимать не стал, хотя сапог натянул с трудом.

И съехал-ворвался в землянку с обычной лучезарной улыбкой.

— Илья, Вава, смотрите, что скажу: нам скоро новые машины подарят! Сам майор сказал, а такой человек разве зря обещает? У-у-уй, как новую хочу! Моя, как дырявый хинкали, совсем без начинки, на ней быстро только вниз лететь можно и то, когда мотор заглохнет...

Застигнутый его появлением в момент обследования наличных запасов съестного, Ванин, посмеиваясь, наблюдал бурные излияния, прикрыв крышкой очередную кастрюльку, резюмировал:

— Новые машины — мечта, прав ты, Вахтанг, и за новость по правилам причитается... И насчет начинки прав: она и в пельмене, и в пироге смысл имеет. Я об том, что вообще шамать охота до чертиков, а с этим полный конфуз получается — ни крошки не осталось!

Лежавший на топчане Батанов сел, потянулся, и несколько раз быстро развел руками от груди в стороны.

— Бр-р! До чего болото обрыдло! Одеядо сырое, подушка мокрая... А друг — обжора! Сам втихаря остатки подмел, а теперь тюльку на уши вешает. Слышал я, как ты хрумал.

— И кто подмел, я? — неискренне возмущился Ванин. — Нахал ты, Володька, а не сталинский сокол! Я тихим сусликом лежал, ничего такого не позволил, думаю, пусть отоспится после Галиной ласки, отдохнет перед вылетом.

Даушвили успел снять сапоги и носки, босиком подшлепал к столу и стукнул кулаком.

— Ва, какой вылет? Ничего не видно, солнца совсем нету, небо на землю упало и лежит, вставать не хочет... Сегодня весь день тоже спать буду, пусть и мне красивая женщина приснится, очень хочу!

— «Очень хочу!» — передразнил Батанов. — Прохотел, милоч. Говорил, давай с Верой познакомлю, а теперь при ней моряк якорь бросил... Ничего морячок, из интеллигентов, правда, но твердый.

— Отобью! — азартно воспрял Даушвили. — Какой моряк, почему? Зачем меня не дождалась, свое счастье потеряла?.. Ладно, пускай. Когда мне орден дадут, поеду домой и та-а-кую девушку найду! Уже знаю, где найти, сестра написала.

В дверь протиснулся Брянцев, сел на ближний топчан, отерев руки о комбинезон, уныло сообщил:

— Товарищ старший лейтенант, машины кое-как отладили, можно лететь, если ветерок попутный... Еще одну к обеду доведем до ума, нашел я, чего в ней движок чихал. Так что вот, доложил,

— А по вывеске я ждал, что ты на палочке верхом воевать прикажешь, — расхохотался Батанов. — И куда лететь, Петр Фаденч, если Даушвили говорит, что неба не видно?

— Не, это туман. Его скоро растащить должно, — все так же грустно пообещал механик.

— Ладно, орлы, — нагнулся и достал из-под топчана кошелку Батанов. — Поглядим, что моя золотая жинка своему суженому собрала... О-о, Илья, запах знатный! Тяни чайник с печурки, пировать будем!

Из дремотного забытья его вырвал сильный шум, затем услышал стук быстрых шагов по железной палубе. И, словно бы не спал, вскочил на ноги.

— Товарищ Никонов, немцы обстреливают! — крикнул Жигалов с буксира.

Тотчас резко свистнуло, пронзительный свист завершился тяжелым ударом, и рядом с баржей возник и опал водяной столб.

Никонов добежал до борта, перескочил на буксир и обмер: туман рассеялся, словно нарисованный берег был рядом, и с него была вражеская батарея.

— Капитан! Капитан, мы каким фарватером идем?! — заорал Никонов.

— Морским, каким же, — обстрел, казалось, не произвел на капитана никакого впечатления. — Я вас предупреждал, что пассажирским не ходил.

У носа баржи встал новый водяной столб, и после шумного звука обрушившейся воды Никонов услышал:

— Мамочка... Мамочка родная! Мамочка... Мамочка родная!

Под стенкой будки сидела Люба, глаза были закрыты, а волосы распушились, как наэлектризованные.

— Мельникова, вста-ать! На корму ма-арш! Считай снаряды. Громче докладывать!

Поднимаясь, Люба осмысленно взглянула на него, зашпешила к корме.

— Расстреляют к... матери! — с веселой злобой констатировал Жигалов. — Во-он наши тянутся, по ним тоже ударят!

— Тянутся? Ты где должен быть? Ты с Коньковым должен быть, а не возле юбки хвостом крутиться! Я тебя туда плыть заставляю!

— Не топи меня, начальник, я в воде не тону, я огня боюсь, — дурашливо запритчал Жигалов и вдруг, оскалившись, показал паль-

цем на капитана:— На него ори! В море отворачивать надо!

— Третий!— звонко донеслось с кормы.— Четвертый!— Снаряды ложились в десятипятнадцати метрах, и вода обрушивалась на палубу.— Пятый! Шестой!

Никонов нагнулся к капитану:

— Поворачивай в море! Быстро!

— Ох, на мель посажу.

— Да хоть на мель... Поворачивай!

— Хозяин — барин,— закрутил штурвал непонятный мужик.— А чего сюда, к примеру, осколки не летят? Одни брызги.

Никонов съезжил лоб, огляделся и радостно хлопнул капитана по плечу.

— А ты все же соображаешь! Жигалов... Жигалов! Они ведь снарядами с дистанционными трубками бьют, для наземных целей, понял?

— И что? Почему радуешься?

— Да потому, что осколков не дают, нам только прямое попадание страшно!

Совсем пришедшая в себя Люба громко выкрикивала:

— Одиннадцатый! Двенадцатый! Тринадцатый!

— Будет!— махнул ей Никонов.— Теперь про себя счет веди. Доложишь, когда спрошу!

Капитаном у Конькова был тоже пожилой, но словоохотливый крепыш, с синим пятном ожога на щеке и на шее.

— Вон, вон как их в вилку берут!— подсказывал возбужденно.— По нам тоже ударят, верно я говорю?

— Уда-арят,— шурясь от блеска воды, всматривался вперед Коньков.— Ну-ка, что это... Они отворачивают, гляди, Самохвалов.

— Ну да, в море уходят,— подтвердил Самохвалов.— Видно, хотят на пассажирский фарватер перебраться. И как Самсонич решил-ся, он им ни в жизнь не ходил!

— И мы повернем. Давай!— распорядился Коньков.— Эх, наши сзади далеко... Отвернуть бы им раньше, а как передашь?

Самохвалов бухнул ботинком в железный ящик под ногами.

— Открой, возьми там флажки... Я подсказу, как отсемафорить. Поймут, небось,

Савин и Ильичев шли на замыкающей связке буксир-баржа, но грохот обстрела был хорошо слышен им тоже.

— Чего-то по нам не стреляют,— поежился Ильичев.— Молчание, оно хуже тревоги, а, Василий?

— Экономные,— сплонул за борт Савин.— Им одну зацепить — и все вверх тормашками взлетим. Чего тратиться? Тошно, что самим пальнуть нечем!

— Это да, огрызаясь, спорить легче. Сам я раньше просто смиренный был, от всего шумного сторонился... А понял, что зубастому много лучше: и не сильно укусишь, да в другой раз напрасно не тронут. Правда?

— Может быть, и правда, раз на опыте осознал,— Савин прислушался, приложив ладонь ко лбу, взглянул на небо.— Та-ак... И то правда, что горе да беда поодиночке не ходят. Дождались.

— Ты о чем?— тоже подняв лицо, завертел шеей Ильичев.

— Видишь самолет?

— Не-а... А, вижу! Так он высоко и один. В другую сторону идет.

— В другую,— вздохнул Савин.— Разведчик это, не иначе. Как раз соберет стаю, огрызайся тогда, сколько хочешь,— он зевнул и потянулся.— Война — войной, а спать все равно тынет... Прилечь бы!

Над ними действительно кружил разведчик.

Немецкому летчику с высоты казалось, что четыре пятна внизу остаются неподвижными, но он знал, что это только кажется, и уже успел прикинуть малую скорость хода судов и их курс. И, включив рацию, начал передавать:

— Внимание, внимание! В квадрате двадцать шесть обнаружил караван судов противника. Курс норд-норд-ост. Внимание! Внимание! В квадрате двадцать шесть обнаружил караван судов противника...

Очень близкий разрыв окатил его с головы до ног и, утерев лицо рукавом, Никонов ободряюще улыбнулся Мельниковой:

— Это какой был?

— Двадцать седьмой!— выкрикнула Люба.

— Молодец, считай дальше,— Никонов посмотрел, где Жигалов. Тот, стоя на коленях у борта, вглядывался в даль.— Жигалов, ты что? Оробел слегка?

— Такого за мной не водится. Смотрю, кто нас догоняет.

— Догоняет? Где?

Никонов подскочил к нему, глянул вдоль вытянутой жигаловской руки, увидел пять белых бурунов позади слева.

Очень скоро они превратились в пять катеров-охотников, на полной скорости сближавшихся с буксиром.

Передовой катер сбавил ход, приблизился, и с него раздался усиленный мегафоном голос:

— Эй, на тихоходе, как там у вас?

Никонов сложил ладони рупором:

— Благополучно пока! Только обстрел diminuet!

— Постараемся помочь!— Ганичев нагнулся к переговорной трубке.— К постановке завесы, товсья! Машина — полный!

Катер рванулся, встал на дыбы, пошел с разворотом, и вдруг с его кормы стали вырываться клубы белого дыма, стеной поднимавшегося к небу.

Охотник мчался вдоль каравана, за ним развернулся и задымил второй, белая пелена отгораживала буксируемые баржи от берега.

И сразу же снаряды стали падать с большими перелетами.

— Тридцать второй! Тридцать третий!— в голосе Мельниковой слышалось ликование.— Смотрите, как далеко, Сергей Иванович! Тридцать четвертый!

Катера завершили постановку дымовой завесы и на малом ходу строем шли уже с другой стороны каравана.

Еще два высоких фронта ознаменовали падение снарядов, и обстрел прекратился.

— Ур-ра-а!— не сдержав восторга, закричал Никонов. И забыв о неприязни к капитану, подбежал к будке:— Похоже, уйдем, а? Может, ходу прибавить?

— Сильно мелко пока, наскочить боюсь. Буксир бы и снялся с песка, а с баржой не вытянет,— нежданная улыбка проявилась на сумрачном лице старого моряка.— Тебя как с отчеством звать?

— Сергей Иванович.

— Так и слышал, а все знакомиться время. Михаил Самсоныч я... Скажи барышне, чтоб на баржу шла. На корабле женский пол не к добру, ну а баржа она баржа и есть.

— Ладно, Михаил Самсонович, переведем женский пол.

Никонов, посмеиваясь, направился на нос, куда еще раньше перебрался Жигалов. И ведь опять что-то балаболит по обыкновению!

— Люба...

Она обернулась, непонятный испуг искажил лицо, а позади Никонова гулко и часто за-

стучало по палубе, послышался звон разбитого стекла. Темный силуэт пронесся над буксиром и взмыл в небо.

Немецкие самолеты подошли со стороны берега, из-за дыма завесы, а звук их моторов заглушил стук буксирного движка и гул от близко идущих катеров.

Вокруг рулевой будки искрились на солнце стеклянные осколки, и, почуяв недоброе, Никонов спешно вернулся туда.

Михаил Самсонович полулежал, откинувшись к стенке, одна рука лежала на штурвале, рукав на плече другой мокро набух.

— Видишь... зацепило меня. Перейми руль. Я тебе указывать стану.

Ильичев заметил заходившие в атаку самолеты, находясь на буксире, оглянулся посмотреть, где Савин, и увидел, что он спит на носу баржи, привалившись к кнехту для намотки каната.

— Савин, самолеты!— крикнул отчаянно, перепрыгнув на баржу, побежал вдоль борта.— Вася, тревога! Василий!

Едва ли не громче крика раздавался стук каблуков о железные листы, и, очнувшись и встав на колени, Савин сразу увидел подбежавшего и увидел, что он что-то кричит.

Но не услышал сначала ничего, просто удивился, что позади бежавшего начала строчкой лопаться в дыры железная обшивка, а потом эта строчка догнала Ильичева, и он, распахнув руки, грудью упал на палубу и остался лежать.

И только теперь Савин услышал рев моторов и, как стоял на коленях, так на коленях и подошел к убитому.

«Мессершмитты», казалось, были очень далеко внизу, они только что вышли из первой атаки и теперь возвращались, перестраиваясь для новой.

Это перестроение было хорошо видно на фоне расплывшегося шлейфа дымовой завесы, и Батанов оглянулся посмотреть, подтянулся ли Даушвили.

— Не отставай, Вахтанг, подтянись! Атакуем, как начнут заход. Все вместе.

— Шесть штук, видишь, Володька?— спросил Ванн.

— Вижу. От меня не отставать, присматривать друг за другом!

Ванин всегда дрался с умом и не терял головы, а вот за Даушвили требовался глаз да глаз.

Батанов еще раз убедился, что звено идет за ним, подал сигнал покачиванием крыльев и потянул ручку на себя. Самолет вошел в пики, и стрелка высотомера быстро поползла, отсчитывая пронесшееся вспять пространство.

И вдруг, как всегда неожиданно, Батанов увидел в прицеле хвост «мессершмитта», слегка повернул и, как только в прицеле мелькнул фонарь кабины, резко нажал на спуск.

Самолет задрожал от стрельбы, а он все не снимал палец со спусковой скобы, пока очертания вражеской машины не заполнили все впереди. И лишь тогда потянул ручку на себя, круто взмывая вверх.

Ванин заметил вспышку, образовавшееся желтоватое облако с черной окантовкой дыма, крикнул: «Молодец, командир!» и тут же в его прицеле оказался бок «мессершмитта». Не убавляя скорости, он открыл огонь, приговаривая:

— Давай! Давай! Дава-ай! Падай, сволочь! И не видя, попал или нет, и уже не видя цели, а только стремительно надвигающуюся водную гладь, резко взял на себя, выворачивая машину вверх.

Ванин попал. «Мессершмитт», по которому он стрелял, задымил и потянул в сторону, а сверху на него свалился Даушвили и несколькими очередями сбросил в море.

И не как от снарядов, столбом, а широко, взбрызг, взлетела вода на месте падения.

— Е-есть! Второй е-есть, видишь, Ваня!— кричал Купцов, возбужденно тиская Петракова.— Дадут им наши прикурить, без отдачи. Жмите, ребятки, родные!

— Ребятки жмут, да все против их еще четверо,— резонно рассудил Петраков.— И как они там могут? Тут на пороже сидим, а все как бы спокойнее, раз плавать умею.

На всех баржах и буксирах следили за тем, что происходило в воздухе.

Смотрел Коньков...

Смотрел Савин...

Жигалов с Мельниковой...

Никонов стоял у штурвала, и Михаил Самонович ослабевшим голосом давал указания:

— Левее, чуток доверни... Так держаты! Ничего, парень, ничего. Считаю, уже Петергоф прошли, небось, и до Питера доберемся, раз бог за нас,

На хвосте у Батанова повис «мессершмитт», и, спикировав и проскочив между двумя другими, Батанов вышел к четвертому, набирающему высоту, сделав полубочку, всадил в него очередь, поднялся еще и вошел в разворот, выискивая своих.

В наушниках бились вскрики, охи, хрипы и ругательства русских и немцев. Даушвили увидел рядом чужой самолет, даже разглядел лицо пилота, пока секунду-другую они шли вровень. Затем он нажал на педаль, свалившись на правый бок, скользящим листом оказался под немцем и, взмыв вверх, нажал спуск. «Мессершмитт», потеряв скорость, едва не накрыл его, задымил, вспыхнул, камнем пошел вниз.

— Вахтанг, оглянись! Вахтанг, на хвосте!

— Вахтанг, уходи, немец сзади!

Два отчаянных предупреждения раздались одновременно. Ванин бросил машину в сумасшедшее пики, выходя в бок «мессершмитту», пристроившемуся к Даушвили, но тот уже успел открыть огонь.

Ванин увидел, как Даушвили дернулся, отвалился на спинку сиденья и его самолет накренился, перевернулся и начал падать.

— Ну, сука! Ну, тварь! Куда же ты?!

Не упуская из вида машину, расстрелявшую Даушвили, он сделал крен и боевой разворот через крыло, дав полный газ, взвился вверх и, поймав в прицел брюхо немца, дал очередь. Пулемет затрясся и смолк.

— А-а-а-а!!!— в ярости закричал Ванин.— Вре-е-ешы!

Находившийся выше Батанов увидел, как две машины сблизилась, самолет Ванина, качнувшись, срезал крылом хвост машины противника, и тотчас у него тоже отлетело крыло.

Немецкий самолет падал быстрее, а от нашего отделился темный комок, пролетел и после белой вспышки парашюта завис в воздухе.

Заглядевшись, Батанов ощутил сильный стук по фюзеляжу, остро и горячо обожгло голову, и тогда, не размышляя, он сделал самую крутую петлю в своей жизни, очутился выше зашедшего ему в хвост «мессершмитта» и начал вспарывать его одной очередью за другой.

«Мессершмитт» взорвался, развалился на куски и осыпался в море.

И стало очень тихо.

Снизившись, единственный оставшийся самолет из девяти недавно находившихся в воздухе облетел вокруг сверкающего на солнце

парашюта, затем, низко, пройдя над катерами, покачал крыльями и, взяв напрямую, потянул в ту сторону, откуда пришли три машины.

Капитан-лейтенант Ганичев тоже наблюдал воздушный бой, заметил парашют и принял меры.

— Третий!— крикнул в микрофон.— Третий, я — первый! Третий, подобрать летчика, уходить на базу. Как поняли? Прием.

— Первый, я — третий! Вас понял! Подбираю летчика, ухожу на базу!

Из строя катеров резко вырвался один, стремительно прорезав волны, оказался под снижавшимся парашютом, заходил на малой скорости, описывая круги,

— Подобрали! Подобрали!— радостно прыгала Люба.— Видишь, подобрал! Видишь?

— Тише ты, за борт свалишься,— придержал ее Жигалов, но и у него лицо было счастливое.— Конечно, подобрал... Разве ж наши бросят? Поря-адок, дальше идем, скоро я тебя с прибитием целовать стану.

— Ты, знаешь... Не забывайся! — строго осадил Люба.— Болтаешь прямо на людях разное, а подумать про меня могут.

— Чего подумать? Кто?— наежился Жигалов.— Хочу я посмотреть на таких внимательно!

— И смотреть нечего, просто надо уметь себя вести... Ой, куда это они, Женья? Уходят, по-моему!

Он чувствовал, что все не могло обойтись так гладко, и когда тревожно заговорил динамик, был внутренне готов к тому, чего давно ожидал.

— Первый, я — четвертый! Вижу справа по ходу семь торпедных катеров! Как поняли, прием!

— Пятый, я — первый!— отозвался Ганичев.— Вас понял хорошо. Слушать всем: второй, четвертый и пятый, атакуете встречным курсом! Я прикрываю транспорт. Всем внимание: атака!

Услышав шум мотора, все, кто стоял у посадочной полосы, задрал головы, ожидали появления машин.

Самолет был один. Появившись с севера на малой высоте, он сразу нырнул к началу полосы, коснувшись колесами земли, подпрыг-

нул, пробежал и остановился. Летчик не показывался.

Несмотря на грузность, майор Хохряков добежал к самолету первым, подобравшись к кабине, увидел бледное, окровавленное лицо Батанова, и тот без всякого выражения посмотрел на него.

— Ты что, ранен? А где Ванин, Даушвили?

— Илья таранил немца... Потом с парашютом прыгнул. Там наши катера, должны подобрать... А Даушвили нету.— Батанов трудно приподнялся, и Хохряков помог ему выбраться.

Оказавшись на земле, Батанов сел прямо под крылом, успев сказать механику:

— Фаденч, заправь баки, пополни боекомплект... Побystрее шевелись!

— Ты ранен,— нахмурился Хохряков.— И я тебе вылет запрещаю! На твоей машине сам полечу.

— Нет. Моя, она моя и есть,— Батанов, морщась, потрогал засохшую корку на ране.— Это царапина, я я не устал... Просто тошно, что ребят нет. Там шесть «мессеров» было... Все купаются. А Даушвили погиб. Так что я полечу.

— Понятно,— Хохряков еще посмотрел на него и крикнул:— Выгоняйте ту, латаную! Проверьте боекомплект! Вместе полетим, Володя. Вместе мы... В общем, полетим.

Технари вытолкали из укрытия отремонтированную машину, выкатили на полосу, и Хохряков пошел к ней, все уыбstrяя и уыбstrяя шага.

— Там пробойна в фонаре, заткни как-нибудь. Дует — сил нет,— сказал Батанов механику.

Два немецких торпедных катера горели, один тонул, но из охотников один горел тоже, дымясь, крутился на месте.

Еще два охотника отгеснили остальные торпедные катера, слышался стрекот пулеметов и таканье пушек.

А караван барж медленно полз, и с него отчетливо наблюдалась вся картина боя.

Было не понять, немцы или наши опять поставили дымовую завесу, и белые клубы дыма стлались по мелким волнам.

Выскочивший из дымного шлейфа торпедный катер объявился внезапно, прикрывавший караван охотник открыл по нему огонь, но пенные фонтаны вздымались вокруг, а катер приближался, развернулся. Никонов увидел прыгнувшую с него торпеду и то, как она оставляла след на воде.

Торпеда шла к головной барже, и Ганичев понял, что сейчас произойдет.

— Машина, полный! — он отбросил капюшон штормовки. — Самый полный, давайте же! Ну!

Торпеда неотвратимо мчалась к цели, охотник шел наперерез, забирая ближе к барже. С капитан-лейтенанта сорвало ветром фуражку, но он видел только предполагаемое место встречи с торпедой, и все в нем напряглось, помогая своему судну скорее достичь его.

Никонов видел, как подставивший себя охотник разломился пополам, обе половины высоко подбросил страшный взрыв и вода встала стеной, от которой ударила упругая волна горячего воздуха.

Этой волной его отшвырнуло на капитана, в ушах возник знакомый звон. А по палубе баржи прокатилась темная фигура, сорвалась в воду, и Жигалов, зачем-то сбросив сапог, подбежал к борту и нагнулся, стягивая второй.

— Жигалов, стой! — не слыша себя, отчаянно крикнул Никонов. — Жигалов, не смей!

Сапог отлетел в сторону, а Жигалов прыгнул, вынырнул, часто взмахивая руками, выбрасываясь по пояс при взмахах. Плыл туда, где в пенном шлейфе, оставляемом баржей, возникала и исчезала голова Любы.

И больше на воде никого не было.

За отдалившейся завесой дымов еще шел бой охотников с торпедными катерами, и два истребителя со звездами на крыльях промчались для того, чтобы поставить в нем победную точку.

Устье Невы было перекрыто понтонами, и на них, за мешками с песком, стояли с винтовками в руках и лежали за пулеметами люди, готовые отразить врага, если он попытается прорваться в город морским десантом.

К этому времени задние связки подтянулись и караван шел слитно.

Стоя у руля, Никонов жадно всматривался воспаленными глазами в панорамы родного города, все еще не веря, что они дошли.

— Из тебя... при хорошем надзоре... морячок выйдет, — сказал Михаил Самсонович. — Да все же... дай мне к рулю стать. Швартовка пункт серьезный.

На Калашниковской набережной их ждали: было много красноармейцев, готовых к разгрузке, стояли санитарные машины и поодаль еще одна — знакомый черный «ЗИС-101».

Когда Никонов сошел на набережную, навстречу прошагал майор-адъютант из Смольного, отдал честь

— Поздравляю с прибытием, товарищ Никонов!

— Благодарю, здравствуйте, — опять-таки очень по-штатски ответил Никонов.

— Вас и товарища Конькова ждут в Смольном. Приказано доставить немедленно для получения нового назначения.

— А где он, Коньков? Жив ли?.. Я его с самого выхода не видел.

— Да, нам сообщили, что вас обстреляли, — сочувственно сказал майор. — Никто не верил, что целы остались.

Но Никонов уже не слушал его, а пошел обратно к причалу, потому что туда подходили остальные связки.

Встречавшие помогли спуститься Михаилу Самсоновичу, потом Никонов увидел Конькова и Савина, сошел на набережную капитан Самохвалов.

А затем вынесли двое носилок.

На одних, с очень белым застывшим лицом, лежал Ильичев, а на других, стараясь попасть в ногу и ступать осторожно, Купцов и Петраков несли Мельникова.

Когда подошел, Люба открыла глаза, Никонов нагнулся и услышал:

— Он... с меня в воде... сапоги сдернул и ватник стянул... Еще по щекам бил... чтобы плыла... не боялась утонуть. Потом к тросу подтолкнул, я уцепилась... а его нету.

— Ты лежи, лежи, девочка... В госпитале отдохнешь, я тебя навещу обязательно. И не плачь, слышишь? Не надо плакать, нам, наверно, еще долго воевать предстоит.

В санитарной машине обнял на прощание старого капитана:

— Лечись, Самсоныч... Без тебя Балтика скучать будет.

— Так и мне без нее... Дай тебе бог!

Когда вернулся к товарищам, вся команда стояла строем. Оглядев всех, Никонов вздохнул.

— Ты, Николай, со мной поедешь, видно, дальше служба вместе пойдет... А вас, если удастся, затребую. Если нет — век помнить буду! — пожал каждому руку. — Благодарю... Благодарю... Благодарю... Живите долго.

Затем Никонов и Коньков пошли к машине, майор-адъютант сел впереди.

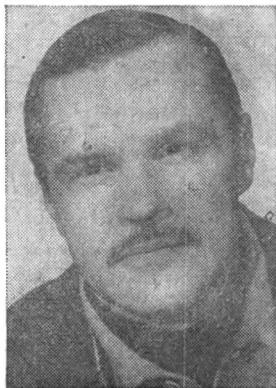
Подождав, пока «ЗИС» отъедет, Савин командовал Петракову с Купцовым:

— Что ж, солдатики, стано-овисы! За мной, полегоньку, марш!

Вдалеке захлопали зенитки, военная команда всю вела разгрузку прибывших барж,

а по набережной уходили трое красноармейцев.

Шли, как положено: двое рядом позади, один спереди, строем.



АРТУР СЕРГЕЕВИЧ МАКАРОВ (родился в 1931 году) окончил Литературный институт им. М. Горького. Автор ряда повестей и рассказов. Артуром Макаровым и при его участии написаны сценарии художественных фильмов «Красные пески», «Один шанс из тысячи», «Новые приключения неуловимых», «Приезжая», «Последняя охота», «Ольга и Константин» и другие.

Фильм по литературному сценарию «Порох» ставит на киностудии «Ленфильм» режиссер Виктор Аристов,

**КОНСТАНТИН
ЛОПУШАНСКИЙ**

**ВЯЧЕСЛАВ
РЫБАКОВ**

НА ИСХОДЕ НОЧИ



Ларсен — угрюмый, безучастный — неподвижно лежит на узкой койке. Его глаза уставлены в потолок. Койка стоит в тесном помещении бетонированного бункера — тумбочка, шкафчик, небольшой стол. Еще две койки — по стенам. Одна из них пустует, на другой, укрывшись с головой, спит кто-то. Еще один человек сидит за столом и ест прямо из консервной банки. Его руки дрожат.

— Который час? — спрашивает Ларсен.

Человек за столом смотрит на ручные часы:

— Без четверти семь.

— Утра или вечера?

Человек пожимает плечами.

— Не знаю... — Берет складной нож и нарезает мясо в банке ломтиками. — Толстый еще спит... Наверное, утро...

Ларсен садится, опускает ноги на пол. Сядит, глядя перед собой в бетонную стену.

— Голова кружится, — говорит он.

...Ларсен идет по узкому пустому коридору. Видны какие-то приборы, мигающие лампочки.

Мимо проплывают запертые двери, одна из них открыта настежь, демонстрируя какой-то жилой блок. Валяются растоптанные вещи, коробки, бумаги. Издалека возникает голос из репродуктора: «Освободите подъездные пути! Всем перейти в сектор «А».

Авторы выражают глубокую признательность Б. Н. Стругацкому за ценные советы и предложения в процессе работы над сценарием «На исходе ночи».

Впереди нарастает гул неразборчивых голосов. Ларсен входит в широкий полуосвещенный туннель и идет по узкому металлическому карнизу, огороженному хлипкими перилами. Внизу — прямо на смутно виднеющихся рельсах — шевелятся тени. Стонут, разговаривают, движутся куда-то.

Внезапно откуда-то раздается громкий шелчок, в голос оператора, искаженный усилением, произносит: «Освободите подъездные пути. Всем перейти в боковой туннель, сектор «А». Немедленно освободите пути».

Пока звучит голос, с противоположного конца карниза доносится быстро приближающийся топот. Появляется группа военных с автоматами наперевес.

— К стене! — рявкает старший.

Ларсен торопливо вжимается в стену.

Тяжело дыша, автоматчики пронесются мимо.

...Ларсен входит в тесное помещение, перегороденное шкафами аппаратуры. Откуда-то доносятся возбужденные голоса. Им отвечает усталый однообразный голос:

— Вынужден огорчить вас... Нет. Человек с таким именем у нас не зарегистрирован.

Перед экраном монитора сидит молоденький сержант, чувствуется, что он не в себе.

— Я оставлял запрос... — говорит Ларсен.

— Ваш сын не зарегистрирован в бункере, — отвечает сержант.

— Но регистрация еще не закончилась... \

— Два часа назад поступили данные по шестому блоку. Это все.

Ларсен поворачивается, чтобы уйти, но останавливается у двери:

— Этого не может быть! Почему меня подобрали, а его нет?

— У меня все сгорели, — глухо отзывается сержант. — Это может быть?

Ларсен входит в большое помещение, заполненное электронной аппаратурой. Перед пультами — два оператора.

— Что наверху? — спрашивает Ларсен и присаживается в свободное кресло перед одним из неработающих экранов.

— Еще горит, — отвечает оператор.

— Переключи на меня.

На экране перед Ларсеном появляется картина местности вокруг центрального бункера.

Объектив перископа медленно вращается, снимая круговую панораму. Вдали, в полутьме, видны руины города, озаренные точками близких пожаров, смутные тени людей, движущихся вдоль этих развалин. Снова темнота. Тлеющие остовы домов. Часть из них затоплена. Переполненные лодки хорошо различимы на фоне огня. Снова темнота. Синие сигнальные огни шлагбаума возле ворот центрального бункера. Машины, тени людей, мечущихся между ними. Близко — фургон, освещенный изнутри. Оттуда выгружают носилки. Возле фургона — несколько человек в противогазах и противохимическом обмундировании.

Звучит зуммер. Один из операторов, переключив рычаг на пульте, говорит устало и нервно:

— Центральная. Семь двадцать четыре. Утечка. Все техники — в старт-блоке.

— Переключаю вас. — Второй оператор лихорадочно щелкает тумблерами пульта. Загораются и гаснут какие-то сигналы. — Нет, не реагирует. Включаю дублирование.

Ларсен встает, подходит к большому металлическому шкафу, отпирает его. Там, в гнездах стеллажей, бесчисленные видеокассеты.

— Где кассеты за семнадцатое число?

Оператор неохотно встает, достает из шкафа несколько кассет.

— Это бесполезно, — пожимает он плечами.

Ларсен возвращается к своему пульту, вставляет кассету, переключает монитор на воспроизведение.

На экране та же местность, только в день катастрофы, через несколько минут после

взрыва. Из темноты резко высвечивается высокое здание. Стекла, одновременно лопнув, начинают медленно осыпаться. В черных провалах оконных рам мелькают лица людей.

Над горизонтом возвышается атомный гриб.

В полном беззвучии рушатся дома, несенные порывом огненного ветра, скручиваются линии электропередач, груды кирпича и бетона взлетают, словно сухие листья...

Второй оператор достает из ящика стола флягу, бросает первому, шепотом говорит:

— Крепкие нервы у старика.

— Теперь у всех крепкие нервы. — Первый делает глоток.

Ларсен сидит неподвижно, смотрит на экран, где все еще мечутся в огне люди.

— Ларсен, хотите выпить?

Тот не отвечает. Взгляд его прикован к экрану. Ларсен видит, как вдоль горящих развалин идет мальчик лет восьми, обугленная одежда на нем свисает клочьями. Он идет, не глядя под ноги, как это делают слепые, вытянув вперед руку и ощупывая ею все вокруг. Спотыкается, падает, встает и идет снова...

Ларсен останавливает кассету, возвращает изображение мальчика, пытается рассмотреть его лицо. Но лица не видно.

Ларсен судорожно вытирает капельки пота со лба, спина выгибается, он готов головой уйти в экран.

— Центральная, — говорит первый оператор, подобраться, — заклинило движок третьего перископа. Двенадцатый сектор не просматривается. Срочно вызовите ремонтников! — Он откидывается в кресле. — Что за черт!.. Все в старт-блоке.

— Спешат, — цедит сквозь зубы второй.

— Ты что об этом слышал?

Второй оператор молчит.

— Ладно, — первый кивает в сторону Ларсена. — При нем можно...

Ларсен выключает аппарат, вынимает кассету.

— Не видно? — спрашивает второй оператор.

Ларсен отрицательно качает головой. Встает, секунду стоит неподвижно, затем идет к двери.

— Если меня будут спрашивать, я в госпитале.

Ларсен идет по бесконечному туннелю. Горящие вполнакала лампы вздрагивают, мигая. Ларсен на ходу бросает в рот таблетку, трет левую сторону груди. В туннеле полутемно, слышен далекий гул механизмов, чмоканье

компрессоров, под потолком змеятся провода, кабели, трубы. Коридоры разбегаются в разные стороны, как в лабиринте...

..Ярко освещенная комната, типичный врачебный кабинет. Ларсен сидит на кушетке, ждет. Входит санитар — глаза воспаленные, лицо заросло щетиной. Подходит к столу, роется среди лежащих в беспорядке бумаг, ампул, пробирок. Доктор в расстегнутом, развевающимся от стремительных движений халате вылетает в приемную, на ходу крича:

— Где я возьму ему морфий? Везите в палату! — Он сдирает перчатки, бросает их на пол, подходит к Ларсену: — К черту! Ни одной операции больше. Что ты хочешь? Эрика здесь нет!

— Ты мог его не узнать.

— Я?!

— Он мог обгореть. Ты же не отец.пусти меня в детское отделение.

— Ларсен, туда даже пьяные санитары стараются не ходить. Это же! — Он трясет руками, и вдруг послеоперационное возбуждение в нем гаснет. Он садится, сгорбившись, курит. Ларсен стоит перед ним. — Не проси.

— Он там. Он без сознания.

— Не сходи с ума!

— Я чувствую, он там, а ты меня не пускаешь.

— Там не осталось ни одного ребенка его возраста.

Доктор молча придвигает к себе журнал, листает, вчитывается в записи, что-то подсчитывает на микрокалькуляторе. Ларсен стоит посреди комнаты.

— Там нет Эрика. — Доктор наконец поднимает на Ларсена глаза.

— Значит, он остался снаружи... Наверно, он покрутился вокруг, а когда схлынуло первое пламя, пошел к музею — искать Анну...

— Перестань. Ты говоришь глупости.

— Они могли там уцелеть, как ты не понимаешь. Старинное здание, глубокий надежный подвал. Там, кстати, убежище... Они строили еще задолго...

— Ларсен, опомнись.

— Мне надо наверх, — говорит вдруг Ларсен решительно.

— Наверх никого не пускают. Это исключено.

— Надо как-то пробраться.

— Ларсен, — медленно подбирая слова, говорит доктор, — послушай. Нам приказано взять анализы у всех, кто еще на ногах. На интенсивность поражения. У кого поражение

ниже определенного уровня, того — в список. По слухам, это список на эвакуацию.

— Куда?

— Не знаю. Но если ты хоть на несколько минут выйдешь из бункера сейчас, у тебя даже анализа никто брать не будет!

— Если он погиб, Анна там совсем одна, — помолчав, говорит Ларсен.

Доктор отворачивается.

...Большое, ярко освещенное помещение — приемная мэра в центральном бункере. Оно забито взволнованными, чего-то ждущими людьми; все стараются прорваться к отгораживающей угол стойке. За стойкой сидит сержант — видна лишь его голова в пилотке. Дверь за стойкой открывается, появляется мэр, следом за ним секретарь с блокнотом в руке. По толпе прокатывается гул, все напирают, пытаясь отвоевать более выгодное место. В толпе мелькает лицо Ларсена. Его толкают, оттирают.

Раздаются крики:

— Почему ничего не объясняют?

— Молчат до сих пор!

— Вы что-то скрываете!

— Это война? Скажите только одно — это война?

— Есть ли связь с материком? Почему вы ничего не говорите?

— Что-нибудь уцелело?

— Обстоятельства выясняются, — говорит мэр. — Нужно подождать официального сообщения. Военные и гражданские власти делают все возможное. В официальном сообщении все будет своевременно разъяснено. К сожалению, пока ничего не известно...

Ларсен наконец протискивается к сержанту, показывает ему удостоверение.

— Моя фамилия Ларсен. Я главный кибернетик второго блока. Мне нужно пройти к советнику Корнфильду.

Сержант мельком всматривается в документ, что-то переключает на своем селекторе, поднимает трубку одного из телефонов.

— Пройдите направо. Господин советник сейчас как раз свободен.

— Спасибо.

Люди провожают Ларсена завистливыми взглядами.

В кабинете Корнфильда полумрак, шуршит вентилятор. Советник сидит, сцепив руки. Кажется, что он спит или дремлет, не закрывая глаз. Ларсен присаживается на мягкий диван рядом с ним.

— Здравствуй, Корнфильд.
— Здравствуй, Ларсен.
Пауза.
— Мне нужно наверх...
— Наверх нельзя,— говорит Корнфильд бесстрастно.
— Никому?
— Никому.
— И тебе?
— Разумеется. Это приказ.
— Чей?
— Команданта.
— Значит, военные что-то знают?
Советник тяжело вздыхает, качает головой:
— Нет, это просто инструкция. У военных на все случаи жизни инструкции. На случай ядерной войны — тоже.
— И что в ней?
— Ну... Полная автономность, переход на кабельную связь... Много чего,
— Что именно?
— Ларсен!
— Нет, ну почему мне-то нельзя знать?
— Потому что по поводу инструкции есть инструкция держать ее в строгом секрете.
— Тебе же самому смешно все это.
— Да, мне очень смешно. Очень.— Корнфильд помолчал, затем добавил:— Есть еще пункт о подготовке ракет для эвакуации людей,
— Куда?
— На орбитальный комплекс.
— Куда?! Что за бред! Сколько же людей?
— Ну, возьмут не всех, разумеется... лучших из лучших.— Советник саркастически усмехается.— Кроме того, составляются списки по состоянию здоровья... Это объявят в ближайшие дни. Возможно, это действительно бред, но ничего другого не остается... Здесь все кончено. Все, занавес. Тебе-то объяснять, надеюсь, не надо.
— Так это все-таки война?— помолчав, спрашивает Ларсен.
— Наверное. Хотя точно ничего не известно.
Ларсен с усталым удивлением мотает головой.
— Если война, то ее кто-то же начал? Кто? Русские? Американцы?
— Не обязательно. Могла быть ошибка компьютера, аварийный срыв... В результате — обмен ударами... Сколько их было уже за последние годы, этих срывов! Не могло же так продолжаться бесконечно... Вот и допрыгались... Это моя версия. Теперь у каждого своя — все предполагают и никто ничего не знает.

— Но почему нет официального сообщения? За что вы мучаете всех?

— А что прикажешь официально сообщить? Что мир погиб из-за технической неполадки?
— Боже... Ведь мы маленькая островная страна, всего несколько иностранных баз.
— Всего! — горько усмехнулся Корнфильд.— Вполне достаточно, уверяю тебя... И потом какая разница — большая страна или малая, если погибла вся планета? Очень поучительная история, только некому будет извлечь из нее урок. Забавная ситуация... Очень забавная.

— Выпусти меня наверх,— после долгой паузы говорит Ларсен.

Корнфильд не отвечает, смотрит на собеседника, словно изучает его. Затем подсаживается к столу, берет трубку телефона:

— Соедините меня с полковником Ван дер Липпом.— Он вдруг прикрывает трубку ладонью и шепчет, наклоняясь к Ларсену:— Смешно сказать, но если бы два месяца назад было принято предложение русских, ничего бы этого не было. Понимаешь? Ничего! А может... вообще началось бы разоружение. Ведь они предлагали начать. А ракеты на базах на них, на русских, были направлены...

Ларсен сидит у стены туннеля в центральном бункере. По полу струится вода. Ее мерное, однообразное журчание далеко разносится в пустом, почти полностью погруженном в темноту туннеле.

Ларсен забрасывает в рот таблетку. Подождав немного, глотает еще одну.

Неожиданно из боковой двери выходит маленькая девочка. Глядя в упор на Ларсена, прикладывает палец к губам. Ларсен замирает.

— Дождик идет наверху... Слышишь?— говорит девочка и, ступая на цыпочках, исчезает в темноте туннеля.

Ларсен у себя в комнате. Сидит на корточках перед тумбочкой, складывает в мешок свои немногочисленные вещи. Сосед с интересом наблюдает за его действиями. Толстый по-прежнему спит.

— Надолго?
— Что — надолго?
— Уходишь?

Ларсен молча застегивает молнию мешка.
— Понятно... Тебя здесь искали.

— Кто?

— Не назвался. Мордастый такой. Работал в интерполе, кажется, по наркотикам.

— Ульф?— вскидывается Ларсен.

— Может, и Ульф... Приходил, принимался... По-моему, он и тут что-то расследует.

— Что?

— Пес его знает. Лишь бы что. Инерция. Ульф расследует... Военные играют, толстый — спит. Живем!

— Что Ульф сказал?— Ларсен встает,

— Что в госпиталь пойдет.

— Странно, как это мы разминувшись.

— Наверно, он ходит секретными ходами, Разноухивает. Ладно, идишь — иди.

Ларсен закрывает за собой дверь.

Ульфа Ларсен застает в госпитале. Ульф в доктор сидят у кровати, на которой, с капельницей, лежит, запрокинув голову и хрипло дыша, какой-то человек. Ларсен замирает у двери.

— Уцелел кто-нибудь из дежуривших вместе с вами?— тихо спрашивает Ульф, наклоняясь к лежащему.

— Откуда ему это знать?— еще тише говорят доктор. Ульф прерывает его жестом: тише. Лежащий молчит.

— Вы дежурили в самый момент взрыва?

— Да...

— Ваш радар вел круговое наблюдение?

Лежащий молчит.

— Ульф...— говорит доктор укоризненно.

Лежащий хрипит. Ульф вдруг встает и выходит из комнаты, сделав Ларсену знак следовать за ним...

...Теперь они в той комнате, где Ларсен и доктор беседовали утром. Несколько секунд молчания.

— Ты получил пропуск?— спрашивает Ульф.

— Да.

— Это хорошо... Попробуешь добраться до музея.

Ларсен кивает.

— Если я тоже выберусь наверх, я найду тебя... Возможно, мне понадобится твоя помощь.

— Что ты задумал?

— Тебе не надо этого знать, Ларсен.

— Но...

— Не надо — значит, не надо,— перебивает Ульф.— Если со мной что случится, я пришло кого-нибудь...

— Ты думаешь...— осторожно начал Ларсен.— То есть я хочу сказать...

— Я ничего не думаю...— вскидывается Ульф.— Для того, чтобы думать, нужно иметь факты, а их у меня нет. Одна интуиция. Нюх. Назови, как угодно...— Ульф вдруг резко придвинулся к Ларсену.— Они же скрывают что-то, неужели не видишь? Тянут с официальным сообщением. Почему? Я чувствую, здесь что-то не так, какой-то подвох, обман. Ловушка, дерьмо какое-то... Понимаешь?

Ларсен молчит, обескураженно глядя на Ульфа.

— Все, Ларсен. Иди,— коротко бросает тот.— Тебя не должны здесь видеть.

Выходит доктор. Ульф тут же бросается к нему.

— Он что-нибудь сказал еще?

— Он умер.

Доктор берет сигареты в ящике стола, молча закуривает, глядя в пространство,

Густая полутьма. В дымном тумане с трудом угадываются очертания разрушенных домов. Ларсен идет по разрушенной улице, лавируя среди завалов кирпича, стекла, свисающих проводов и покореженных, сгоревших автомашин.

То там, то тут из тумана выплывают фигуры людей, бредущих куда-то. Многие в противогазах, марлевых повязках, но в обычной одежде, превратившейся в грязные лохмотья. Другие — вообще без защитных средств. Бредут без цели, неизвестно куда.

Неожиданно впереди, среди руин, ярко высвечиваются какие-то трубы, металлические конструкции. Столб пламени поднимается над ними и тут же опадает. Ручейки огня текут по улице, разбегаясь среди обломков. Навстречу Ларсену бегут люди. Он бежит вместе со всеми, не в силах вырваться из людского потока.

Наконец его выталкивают на площадь перед большим полуразрушенным храмом. Ларсен оказывается возле пролома в стене здания. На какое-то мгновение мелькает перед ним фантазмагорическая картина: толпа людей в противогазах и возвышающаяся над всеми фигура пастора — в противогазе, армейском обмундировании и с ручным полицейским мегафоном. Пастор что-то кричит в мегафон, но слов не разобрать.

Серо-грязный туман, смешанный с гарью, скользит над черной водой. Небольшой плот — несколько бревен, соединенных обугленными

досками,— медленно движется по воде. Ларсен неуклюже гребет обрезком доски. Гроздкое противорадиационное обмундирование сковывает его движения. Сквозь стекла противогаза он видит руины города, освещенные тут и там островками огня. Рядом плывут, теряясь в дыму, какие-то обломки, бревна, сгустки, цепляясь за торчащие из воды развалины затопленных домов.

Рухнувший мост, вероятно, соединявший ранее две части города, лежит в воде, и плот скользит под почерневшей каменной аркой.

У берега покачиваются несколько лодок, переполненных людьми. Сквозь дым просвечивают фары санитарной машины. В их лучах мелькают фигуры в противорадиационном обмундировании, из развалин идут и идут с носилками.

Вдоль берега — остовы деревьев, превратившиеся в уголь. Они все еще тлеют, по стволам пробегают красноватые искры. Струи пепла стелются по земле, кружатся в воздухе, осыпаются с берега на воду. Воздух полон медленно опускающихся черных хлопьев.

Плот Ларсена относит все дальше и дальше от берега. Здесь течение сильнее, и Ларсен перестает грести, ложится на доски,

Темнота. Спичка на миг выхватывает из тьмы циферблат часов и тут же гаснет. Ларсен лежит на кровати одетый, одеяло сбилось в комок. Где-то открывается дверь, полоса тусклого аварийного света проникает в комнату, освещая голые стены подвалов музея, превращенных в убежище. В полосе света возникает фигура девочки-подростка. Она проходит мимо Ларсена, держа на вытянутых руках поднос с лекарствами и стаканом воды.

Девочка открывает дверь в соседнюю комнату.

— Опять? Когда это кончится, господи?.. Зачем вы мучаете меня? Зачем?— доносится хриплый женский голос.

Девочка возвращается.

— Поешьте,— говорит она Ларсену.— Я уже приготовила вам завтрак.

— Да-да, спасибо,— отвечает он, растирая пальцами глаза и виски,

В просторном полуосвещенном холле музея темнеет длинный обеденный стол, по бокам симметрично расставлены стулья. Ларсен идет через холл мимо нескольких дверей. Одна из

них полуоткрыта, оттуда доносится стук пишущей машинки.

Ларсен заходит в кухню, достает из шкафа таблетки, несколько упаковок разного цвета. Девочка держит стакан под тонкой, едва заметной струйкой воды, текущей из крана.

— Супруги Тешер еще не ложились,— сообщает она, удивленно поглядывая на приоткрытую дверь.

Ларсен молчит, аккуратно раскладывает на столе таблетки, садится, ждет. Девочка ставит стакан перед Ларсеном, садится рядом. Также, как и Ларсен, она, прежде чем принять таблетки, раскладывает их на столе.

Неожиданно стук машинки затихает.

— Ну что, что опять?— раздается раздраженный голос Тешера.— Неужели нельзя было позаботиться об этом раньше?

Шумно раскрывается дверь, в холл выбегает госпожа Тешер, бессмысленно топчется у большого стола, замечает в кухне Ларсена.

— Доброе утро... Простите, у нас кончилась бумага.— Она решительно подходит, глядя на Ларсена сквозь большие, косо сидящие очки.— Если вы позволите... У Анны...

Ларсен встает, но девочка опережает его:

— Я принесу. Пойдемте.

Появляется Тешер, подходит к Ларсену, садится рядом.

— Слишком много причин,— говорит он.— И в сущности, каждой из них было достаточно...

— Я бы советовал вам немного поспать.

— Надо спешить. Сорок восьмая глава, конца не видно. Могу не успеть.— Тешер тяжело вздохнул.

Госпожа Тешер с толстой пачкой бумаги проходит через холл к себе.

— Нельзя терять темп,— снова вздыхает Тешер. Он вдруг поспешно встает, выходит из кухни, но тут же возвращается.— Простите... Я забыл спросить, как самочувствие вашей супруги?

— Плохо,— говорит Ларсен.

Тешер сочувственно кивает, стоит, не зная, что сказать, затем молча уходит.

Ларсен возвращается к себе. В небольшой комнате, сосредоточенно согнувшись под жарко горящей лампой, он безостановочно вращает ногами под столом педали электропитания. Слышен мерный, волнообразный шелест. На столе полуразобранный противогаз с отомкнутой коробкой фильтра. Ларсен с усилием отгибает что-то в коробке фильтра, от напряжения стискивает зубы. Металлическая деталь с резким звоном отлетает в сторону и

ударяется о стену. Он встает и на цыпочках подходит к полуоткрытой двери в соседнюю комнату. Прислушивается. Там тихо. У противоположной стены в сумеречном свете просматривается постель, на которой лежит, отвернувшись к стене, одетая в брюки и теплый свитер женщина.

Накал в лампе постепенно слабеет. Ларсен поспешно шарит по полу, находит деталь и, сев к столу, снова изо всех сил вращает педали. Свет становится ярче.

Женщина в соседней комнате открывает глаза. Ей видны только работающие ноги под столом, равномерное движение колен мужа. Анна утыкается лицом в подушку.

Входит девочка с подносом в руках, на нем — автоклав. Ларсен поднимает голову.

— Посиди,— говорит он.— Она спит.

Девочка ставит поднос на стол, садится против Ларсена.

— Как ты думаешь,— говорит Ларсен негромко,— сколько банок он возьмет за аква-ланг? Я предлагал десять, но он отказался.

— Он и за пять отдаст. Просто поторговаться хочет...

Ларсен прислушивается к шороху в соседней комнате и снова склоняется над столом.

— Вы не ждите,— говорит девочка.— Если вам надо идти... Я сама...

— Может, придется ее держать. Ты не справишься.

— Я еще не сошла с ума, чтобы меня держать,— неожиданно доносится голос Анны из соседней комнаты.

Ларсен и девочка вздрагивают. Ларсен идет в спальню, по дороге машинально что-то переключив на приборном щитке у двери.

— Давно не спишь?— Ларсен поднимает одеяло, лежащее на полу, укрывает жену.

Анна резким движением сбрасывает одеяло на пол. Ларсен садится на край постели.

— Уже утро?— спрашивает она.

— Да. Сейчас Тереза сделает тебе укол, и я уйду, попробую достать лекарство.

— Лекарство...— издевательским тоном повторяет за ним Анна и осекается, с напряженным ожиданием следит за приближением девочки с подносом в руках.

Та останавливается у постели. В тот же миг Анна, приподнявшись, изо всей силы бьет снизу по подносу. Шприц и ампула летят на пол. Девочка стоит в полной растерянности, потом бросается подбирать осколки.

— Оставь меня в покое...— стонет Анна.— Я тебе говорила... Сделай мне другой укол, другой!

Девочка встает, с пальца ее течет кровь. Уходит.

— Извини нас,— говорит Ларсен ей вслед.

— Я устала...— едва слышно продолжает Анна.— Это же издевательство. Ну что тебе стоит? Ну я прошу тебя. Ты не представляешь... Больше нельзя терпеть. И незачем, незачем! Это ужасно... Через несколько часов начнется опять.

— К этому времени я вернусь, принесу лекарство.

— Ты же знаешь, что никакого лекарства нет и быть не может! Я умру. Понимаешь? Почему ты думаешь, что для меня будет сделано исключение?

— Ты могла бы сделать такой укол мне?— помолчав, спрашивает он.

— Да,— не задумываясь, отвечает она.— Да! Да!

— Мы все умираем, ты же знаешь,— говорит он.— Одни чуть быстрее, другие медленнее. Надо надеяться...

Она хрипло, отрывисто смеется:

— Мне жить осталось день-два, может быть, часы, а ты читаешь мне мораль. Меня тошнит от тебя, от всех вас... Устала...

Она закрывает глаза и лежит неподвижно.

Ларсен продолжает сидеть рядом.

— Прости,— чуть слышно, как во сне, говорит Анна.

— Я понимаю,— тихо отзывается Ларсен.— Постарайся уснуть.

Ларсен поднимает с пола осколок ампулы, оглядывается, куда положить его, но ничего подходящего не видит, сидит, держа осколок в ладони. Затем замечает, что Анна смотрит на него.

— Зачем тебе акваланг?— спрашивает она торопливо.— Ты что, собрался лезть под воду? Ты сумасшедший? Не понимаешь, что вода наверняка активна? Ну, я спрашиваю тебя!— В ее голосе звучит отчаяние.

Ларсен молчит, виновато опустив голову.

— Могли уцелеть сейсмографы.— Он чуть вздохнул, словно извиняясь за то, что говорит.— Я даже знаю, где... В лаборатории, рядом с нашим домом. Там, конечно, теперь все затоплено, но ведь дамба разрушилась не сразу... Значит, и затопить их могло не сразу. Несколько часов сейсмографы должны были работать... Если это была война, то должны быть зафиксированы повсеместные землетрясения. А если нет...

— Ты дурак?— резко перебивает его Анна.— Ты думаешь, можно найти доказательство, что мир не погиб, и он от этого воскреснет? Ты

что, слепой? Не видишь, что вокруг тебя происходит?— Она вдруг начинает плакать.— Что со мной, ты тоже не замечаешь. Боже! Все сошли с ума... Все... Не могу больше.

Она отворачивается. Лежит, медленно проводя пальцем по стене.

— Уйди,— шепчет она.— Очень тебя прошу...

Ларсен встает, поднимает одеяло, кладет его на край постели в ногах Анны и уходит.

Он поднимается по винтовой лестнице, сворачивает в полутемный коридор, останавливается возле одной из дверей, стучит. Никто не откликается. Ларсен открывает дверь. В пустой комнате чернеет койка у голой стены. На ней, укрывшись грудой тряпья, спит человек. Неподалеку стоит стул, рядом виолончельный футляр. Больше в комнате ничего нет.

— Ив,— довольно громко зовет Ларсен и несколько раз бьет рукой по открытой двери.— Ив, проснитесь...

Виолончелист что-то бормочет со сна и с головой уходит под ворох одежды.

Ларсен выходит из комнаты.

На полках шкафчика — масса каких-то склянок, баночек, мятых упаковок. Женщина роется среди них, близоруко подносит к глазам упаковки, читая названия. У нее молодое лицо, коротко стриженные волосы.

— Просто не знаю, где искать,— проговаривает она,— просто не знаю...

Ларсен сидит на диванчике рядом с пожилой женщиной. Перед ней стоят чемоданы. Они открыты, везде следы беспорядочных сборов. Возле чемоданов стоят дети — мальчик и девочка, с интересом смотрят на Ларсена. Он сидит, чуть повернув голову, стараясь не смотреть в центр комнаты, как бы стыдливо отводя глаза. Женщина чувствует это, поглядывает на Ларсена, но молчит. Наконец не выдерживает.

— Может быть, вы поговорите с ним,— говорит она сквозь слезы,— это же невозможно... День и ночь, не переставая...

Ларсен растерянно пожимает плечами.

— Марио! Перестань! Ты слышишь? Марио!— кричит женщина в глубь комнаты.

Там, между шкафом и столом, среди оторванных досок пола видна зигзагообразная траншея. Над краем свежерытой ямы виднеется лысая голова, мелькает лопата, размеренно выбрасывающая на пол землю — ком за комом.

— Марио!— вздыхает женщина.— Как глухой...

Дети перешептываются, смеются. Ларсен отводит глаза.

— Мы хотим идти сегодня. А вы?— спрашивает женщина.

— Куда идти?— Ларсен удивленно смотрит на нее.

— Разве вы не знаете? Приходили военные из центрального бункера. И у пастора были тоже... Все должны явиться в центральный не позже десятого. Это отлет? Как вы думаете?

— Возможно.

Молодая женщина наконец находит что искала.

— Вот, это таблетки от головной боли. Но их можно развести, две упаковки на стакан... Это помогает. Когда Ганс умирал...— Она вдруг замолкает. Губы у нее трясутся.

— Перестань, тебе нельзя волноваться,— говорит пожилая женщина.

— Спасибо, благодарю вас.— Ларсен берет таблетки и торопливо выходит:— Очень признателен вам.

В тамбуре убежища при музее Ларсен готовится к выходу в город. Он стоит в небольшой камере, в противогазе и противорадиационном обмундировании. Из длинного сухого человека он превратился в громадный зеленоватый мешок. Под обмундирование он засовывает банку консервов и несколько флажков с водой. Неуклюжей походкой, на ходу застегивая последние застёжки, он подходит к бронированной двери, отпирает засов, напрягаясь, отодвигает дверь и выходит наружу.

Низкий, свиновый туман висит над опаленной землей. Полутьма. Ни день, ни ночь — странные мутно-серые сумерки. Ларсен выходит из бетонного купола входа в убежище и оказывается в развалинах здания музея. Он уверенно идет среди свисающих балок и перекрытий через один выставочный зал, сворачивает в другой. В полумраке угадываются почерневшие, потерявшие форму каменные изваяния, остатки статуй.

Из развалин музея он выбирается через большой пролом в стене. Неподалеку, возле обломков стены, две фигуры, так же, как и Ларсен, в противогазах и защитных костюмах — отец и сын Хюммели. Они что-то бережно заворачивают в резиновый плащ. Рядом — лопаты, разрытая земля. Ларсен кивает им.

Они отвечают чинным приветственным поклоном.

Он идет среди обожженных стволов деревьев, стоящих густым частоколом. Мертвый, черный лес. Ветер поднимает над ним тучи золы и пепла.

Мелкая злая рябь лежит на реке, атакуя берег. Ларсен подходит к лодке, прикрытой рваными железными листами. С усилием сдвигает лодку в воду, вставляет весла в ключицы, торопливо гребет короткими веслами и вскоре исчезает в тумане...

...Через некоторое время Ларсен приближается к радарной станции. Здесь суматоха. Солдаты поспешно грузят в военные грузовики какие-то ящики, приборы. Эвакуация радарной станции идет полным ходом. На Ларсена никто не обращает внимания, только один солдат, пробегая мимо, едва не наталкивается на него, в руках у него — плоский, тускло блестящий прибор.

Ларсен направляется в аппаратную.

— У нас ничего нет. Ничего, — пожилой грузный человек отводит глаза, стараясь не смотреть на Ларсена.

В аппаратной все разорено — отовсюду свисают оборванные провода, двое солдат выдирают из недр пульта какой-то блок.

— В третью машину, — приказывает им человек, стоящий рядом с Ларсеном. Похоже, что он — один из операторов станции. Он тяжело опускается в одно из кресел возле развороченного пульта. Глокает какую-то таблетку.

— Пятна появились? Не замечал?

— Утром два на руках, — отвечает Ларсен. — Сколько на теле — не знаю, она не дает себя раздеть.

— Чертовски интенсивно, — говорит оператор. — Ей осталось несколько часов.

— А эскатамон?

— Что эскатамон! — взрывается оператор. — Ты знаешь, какие боли даст эскатамон? Это же не лекарство, просто стимулятор!

Он умолкает. Ему становится совестно и за свой крик и за горький взгляд гостя.

— У тебя есть еще продукты? — тихо спрашивает он.

— Да...

— Попробуй сходить на биржу. Неделю назад там можно было достать обезболивающее. Банка консервов — ампула... У меня ничего нет, — в голосе его звучит отчаяние. — Никаких лекарств,

Снова входят двое солдат, поспешно выносят еще один приборный блок. Оператор провожает их взглядом, затем встает, закрывает за солдатами дверь.

— Скоро отлет. Тебя включили в список?

— Не знаю. — Ларсен помолчал. — Я вообще еще не решил, стоит ли лететь.

— Ты это серьезно?

— Вполне. По крайней мере, сначала хочу разобраться.

— Что ты имеешь в виду?

— Многое... Ну, скажем, радиомолчание. Ведь оно началось с первых же часов после взрывов. Разве это реально — за пару часов уничтожить все радиостанции мира? Это чудесно... Тут что-то другое...

— Что?

— Трудно сказать... Может быть, купол глушения.

— Предположим. Только зачем?

— Это можно выяснить, если электронный центр уцелел хотя бы частично... Надо добраться туда. Тем более, что там можно узнать и многое другое.

— Например?

— Была авария на этой ракетной базе или нет...

— Это слухи.

— Не исключено. Но все-таки надо проверить.

— Зачем? В лучшем случае ты узнаешь, как все началось. Что это изменит теперь, когда все поггло?

— Зависит от того, что я узнаю...

Оператор долго смотрит на Ларсена.

— Ты не сможешь попасть в электронный центр, — наконец говорит он, понизив голос. — Туда никого не пускают. Ты даже подойти к нему не сможешь. Усиленная охрана. Стреляют без предупреждения.

— Что же делать?

— Ничего... И вообще, не надо об этом кричать. Понимаешь?

— Нет, — удивленно поднял глаза Ларсен.

— Слухи об аварии — это панические слухи. Они мешают нашей борьбе за спасение оставшегося человечества. Их надлежит пресекать. Беспощадно. Теперь понимаешь? Это последние новости из центрального бункера, — добавляет шепотом оператор. — Я был там вчера...

Ларсен идет вдоль развалин казармы радарной станции. Откуда-то из тумана доносятся крики команды, звон лопат и удары кирок. Ларсен сворачивает на черный асфальт шос-

се, идет по краю огромной ямы невероятной ширины. Несколько десятков солдат углубляют и без того фантастическую по размерам могилу. Ларсен проходит мимо офицера, который держит перед собой большую карту-схему захоронения. Рядом свалены кучи бирок с номерами.

Обгоревшие стены биржи возвышаются над руинами. Прячась от ураганного ветра, насыщенного пеплом, группы людей жмутся по углам бывшего центрального зала. Внутри все завалено обломками и засыпано черным песком, но огромное табло сохранилось. На нем различимы названия фирм и корпораций, чьи акции котировались в тот трагический день.

Вероятно, эта мысль и поразила Ларсена. Он останавливается у табло, замороженно смотрит на почерневшие буквы. «Нью уорлд сэввайвл», «Локхид», «ТРВ», «Перкин-Элмер», «Чарльз старк дрепер»...

Порывы ветра несут сквозь проломы в стене мятые деньги. Они кружатся вдоль коридора, словно листья, устилая собой пол. Какой-то человек в противогазе, но без защитного костюма, просто в старом мятом пальто, суетливо собирает их, набивая деньгами два больших портфеля.

В конце коридора сидят, негромко переговариваясь, несколько человек в противогазах. Увидев Ларсена, они умолкают. Ларсен подходит ближе, достает из глубокого кармана своего обмундирования банку консервов, бросает ее в песок. Сидящие встрепетались. Один из них достает из нагрудного кармана прибор со счетчиком Гейгера, прикладывает к банке. Видимо, он удовлетворен — консервы не радиоактивны. Он прячет прибор, вынимает из прекрасно сохранившегося «дипломата» небольшую ампулу. Ларсен берет ее, долго рассматривает, затем отрицательно качает головой.

— Просто новая упаковка, — объясняет торговец.

— Откуда может быть новая? — Ларсен недоверчиво крутит ампулу в руке.

— Вчера самолет упал на побережье.

Прятедь торговца поспешно закивал. Ларсен насторожился.

— Подожди. — Он присел возле торговца. — Где упал? В каком месте?

— Возле башни. — Торговец усмехнулся, по своему истолковав вопрос Ларсена. — Не ходи, все уже подчистили. Даже лампы вывернули... Ну, будешь брат? Или как?

— Беру. — Ларсен медленно поднимается,

В комнате Анны едва тлеет лампа. Одеяло лежит на полу. Возле постели сидит пастор, бормоча молитву по-латыни. Ларсен стоит у дверей, ждет. Ему видна тумбочка возле кровати Анны — темные флаконы лекарств, стакан с водой, на дне которого еще видна нерастворившаяся таблетка. Рядом стоят печочные часы, тонкая струйка песка беззвучно скользит вниз.

Входит девочка, держа на весу шприц. Подходит ближе, беззвучно плачет. Шприц вздрагивает в ее руке.

Пастор выходит из комнаты Анны, скорбно кивает Ларсену. Девочка тут же исчезает за дверью и через пару секунд выходит — шприц пуст.

Ларсен подходит к Анне, садится на крайшек кровати.

— Как хорошо... — говорит Анна. — Укол...

Ларсен гладит ее по руке.

— Ну, что ж, Ларсен... Ларсен, — повторяет она его имя, словно пробуя на вкус. — Прощай... Теперь вряд ли увидимся... — Она неожиданно улыбается. — Как на вокзале...

— Что? — спрашивает он. — Ты о чем?

— Не помнишь? Я всегда терялась, когда приходилось прощаться на вокзале... Ждешь, волнуешься, понимаешь, что времени мало осталось. А говорить вроде не о чем...

— Что говорить, я люблю тебя... — говорит Ларсен тихо.

Анна не отвечает. Кажется, что она засыпает, но неожиданно вздрагивает, дотрагивается до его руки:

— Я подумала... Если ты сможешь... принеси фотографии Эрика... Пусть они будут здесь, у тебя.

— Я попробую, — говорит он.

— Он погиб на улице, — продолжает она шепотом. — Ничего не видел. Ослеп. Шел, тыкался рукой, все горело вокруг...

— Откуда ты знаешь? — изумленно спрашивает Ларсен.

— Я во сне видела, сегодня... — Анна закрывает глаза, лежит неподвижно. — Ты иди, не надо ждать... Я хочу быть одна,

Большое полутемное помещение с земляным полом. Несколько холмиков возвышаются над землей. Здесь похоронены погибшие сотрудники музея. По краям возле стен лежат оторванные доски пола. В углу — остатки какой-то мебели.

Ларсен роет могилу, выбрасывает ком за комом черную землю, отдыхая после каждого

взмаха. Пастор сидит на стуле, вращая педали энергопитания. Провод тянется вверх, к большой голой лампе, свисающей с потолка.

— Я видел, в соседней комнате какой-то человек,— говорит пастор.— Может, попросить его?

— Не стоит,— отзывается Ларсен.— Он сумасшедший.

— Вероятно, Тереза может теперь вернуться к нам?— помолчав, говорит пастор.

— Да, конечно.

— Честно говоря, мне тяжело приходится без нее.

— Я понимаю... Как ваш приют? Как дети?

— Приют...— вздыхает пастор.— Восемь душ осталось.

— У вас есть продукты?

— Благодарю, пока есть.

Ужин проходит в молчании. Шелестят под столом педали. Посуды много, и она вполне хороша, но еда скудна. Ларсен ест машинально, как автомат. Отец и сын Хюммели, как всегда, совершают церемонию. Тешер ест деловито и сосредоточенно, поглядывая на часы. Девочка сидит возле Ларсена, рядом с ней пастор.

Виолончелист в дальнем конце стола, отдельно от всех. Он ест, продолжая читать книгу, громко перелистывая страницы. Он абсолютно безучастен ко всему происходящему за столом.

Госпожа Тешер сидит, словно окаменев, не притрагиваясь к еде. Чувствуется, что ей очень не по себе. Она берет вилку, но рука предательски дрожит, задевая край тарелки. Все сидят, стараясь не замечать ее состояние.

Молчание нарушает Хюммель-отец. Он явно взволнован, хотя пытается держать себя в руках.

— Мой сын считает, что надо идти в центральный бункер завтра, после обеда. Перед стартом могут возникнуть беспорядки... Как вы думаете?— обращается он к Ларсену.

— Не исключено.

— Откровенно говоря, все это пока не укладывается в сознании.

Старший Хюммель помолчал, задумавшись. Обводит взглядом сидящих, словно ожидая подтверждения своим словам.

— Погубили одну планету, теперь полетим дальше,— саркастически замечает Тешер.

— Не спорю, это серьезная моральная проблема,— соглашается Хюммель-отец.— Но что

делать?— Он снова поворачивается к Ларсену:— Ведь это единственный шанс, других нет...

— Возможно... Но я решил остаться. Я не лечу.

Звяканье посуды вмиг прекращается. Ларсен сидит, глядя в стол, но чувствует, что все взгляды обращены на него. Хюммель замирает на стуле.

— Ах, вот как...— мертвым голосом говорит он.— Вот как... Что ж, может быть, вы правы.

— Я не верю, что мир погиб,— говорит Ларсен спокойно.

— Вы можете доказать это?— холодно спрашивает Хюммель-сын.

— Нет, конечно. Доказать пока ничего нельзя, одни предположения... Тут даже дело не в доказательствах, если хотите...

— Мой покойный отец,— вздохнул пастор,— всегда говорил: «Надежда — дар божий»... Мне не дано.

— У каждого свое безумие, пастор, будем снисходительны,— заметил Тешер негромко.

— И придет бог судить землю, и низведет огонь с неба,— произнес пастор.— Все было предсказано, все...

— Свежая мысль,— хмыкнул Тешер.— И главное, очень убедительно...

— Хватит вам ерничать,— вспыхнул Хюммель-отец.— Могли бы хоть сегодня не оскорблять никого...

— Приношу свои извинения,— отдельно произносит Тешер.

— Я читала одну научную книгу,— вдруг говорит госпожа Тешер неестественно бодрым голосом.— Там сказано, что человек очень быстро эволюционирует... и ко всему может приспособиться! Да-да, ко всему!.. Нужно только, чтобы тело дышало... Кожа должна быть обнажена. Понимаете? Я хочу завтра попробовать... Я начала уже дыхательные упражнения...

Никто не проронил ни слова.

— Тебе надо отдохнуть,— тихо говорит Тешер.— Пойди... отдохни немного.

— Я говорю глупости?— госпожа Тешер неожиданно конфузится.— Надо же что-то делать!— неожиданно кричит она.— Вы что, не понимаете? Что вы сидите?! Ведь мы умираем, умираем!

Задыхаясь от рыданий, она торопливо уходит в свою комнату.

— Она очень впечатлительна. Смерть Анны... Вы должны понять,— бормочет Тешер.

— Да, конечно,— говорит Хюммель-отец. Слово пытается заполнить неловкую паузу, он начинает рваться в карманах, достает ли-

сток бумаги, разворачивает его, кладет рядом с собой на стол. Затем снимает очки, надевает другие.— Я позволю себе ненадолго задержать внимание присутствующих.— Голос его становится особенно торжественным.— Полагаю, что наша работа в музее подошла к концу, и пора осмыслить нашу деятельность... Конечно, наши возможности были более чем ограничены, и спасти все прекрасное, что создала человеческая культура, оказалось практически невозможным. Но мы сделали все, что смогли. Сделали, теперь я могу это сказать, чрезвычайно много...

Тешер негромко хмыкнул, но промолчал.

— Вчера, после нашего памятного спора,— Хюммель смотрит на Тешера с холодной вежливой улыбкой,— я позволил себе набросать черновой вариант некоего послания к будущей цивилизации, которая, смею надеяться, возродится когда-нибудь на нынешнем пепелище...— Он наливает в бокал немного воды и оглядывает сидящих, дожидаясь окончания трапезы.

— Простите, коллега, я не совсем понял, кому адресовано послание,— с едва скрываемой иронией замечает Тешер.

Хюммель несколько ступешивается.

— Не знаю... Кому угодно. Кто-нибудь наверняка все-таки будет. Пришельцы из космоса... Мутанты... Или, быть может, в глубинах океана существуют какие-то носители разума и теперь они выйдут на поверхность.

— Понятно.— Тешер резко встает.— Прошу прощения, я должен идти. Очень много работы...

Тешер скрывается в своей комнате, закрывает дверь, и почти сразу же оттуда доносится преувеличенно громкий голос, диктующий текст, сопровождаемый стрекотом машинки.

Хюммель-старший смотрит на свой листок, не зная, как поступить.

— Я думаю, отец, обсуждение текста можно перенести на завтра,— говорит сын примирительно.

— Да, пожалуй, сегодня не стоит,— торопливо соглашается отец.— В такой печальный день... Конечно.

Хюммель-старший придвигает свою тарелку и начинает сосредоточенно есть. Однако невольно, как и остальные, прислушивается к голосу Тешера.

— Пора наконец признать,— доносится из комнаты,— что история человечества — это история затянувшегося самоубийства живой материи, которую космическая случайность наделила способностью мыслить и которая не

знала, что делать с этой случайной, роковой способностью. И не нашла ей лучшего применения, как создание наиболее эффективных способов тотального самоубийства. От веревки незабвенного Иуды—до новейшей нейтронной бомбы, генетического, бактериологического и еще черт знает какого оружия! Восхитительный прогресс! Расцвет разума! Воровство — вот сущность науки. Воровать тайны природы, совсем не для нас предназначенные, убийственные для нас, оставаясь на пещерном уровне этики. Что сделал Прометей, воспетый нашим искусством? Украл огонь. Не изобрел, не открыл, а украл! Вот сущность! И с тех пор наука не стала менее аморальна. А в это время наше уважаемое искусство занималось тем, что выдавало желаемое за действительное...

— Культура не исчерпывается наукой!— громко выкрикивает Хюммель.

— Неужели?— доносится из-за двери.— Зато наука с успехом исчерпала всю культуру вместе со всеми нами. В сущности, культура так и не началась.

— Боже, и это мой ученик,— стонет Хюммель-отец, словно каждая фраза Тешера причиняет ему физическую боль,— ученик, которого я воспитывал в поклонении красоте, который плакал вместе со мной перед шедеврами итальянцев.

— Перестаньте, отец, прошу вас,— раздраженно шепчет Хюммель-сын.— Не устраивайте сцен. Не обращайтесь внимания.

— Как же — не обращайтесь!— все более накаляется отец.— Это же святотатство, надругательство над искусством!

— Много шедевров вы собрали в музее, а?— доносится голос Тешера.— Два-три десятка картин, две сотни книг и дюжина пластинок. Вот и все ваши шедевры! За шесть тысяч лет! Зато горы трупов и реки крови!

— Это становится невыносимым!— взрывается Хюммель и решительно идет к комнате Тешера.

— Пора наконец признать,— доносится откуда торжествующий голос,— что мы фатально не состоялись, что мы опозорились, не используя и сотой доли того, что дала нам природа... Вот с этого и начинайте послание! С этого!

— Замолчите!— стонет Хюммель, сотряса запертую дверь.— Вы варвар! Не смейте кощунствовать здесь, слышите?! Ваше вульгарное критиканство не способно растоптать великие ценности! Мне стыдно слышать вас! Я ухожу!

И он, как оглушенный, идет к себе в комнату, шумно закрывает за собой дверь. В тишине, поскрипывая, продолжают шелестеть педали под столом. Потом шелест перекрывается глухими мужскими рыданиями. Тешер тут же смолкает, дискуссия потеряла для него смысл. Все сидят молча. Сын машинально продолжает вращать педали.

— Пойду подышу свежим воздухом,— говорит вдруг виолончелист, грустно улыбаясь. Зажав книгу под мышкой, он на цыпочках выходит из холла.

— Коллега Тешер, конечно, многое преувеличивает,— говорит Хюммель-сын снисходительно, поворачиваясь к пастору.— И, как всегда, не видит главного... Но кое в чем он, пожалуй, прав...

— Что вы хотите сказать?

— Ветхие ценности уничтожены. Они оказались несостоятельными. Там, в космосе,— Хюммель-сын поднял палец вверх,— мы создадим новое человечество. Дадим ему новую мораль и новые заповеди: ненавидь ближнего своего, ненавидь дальнего, ненавидь самого себя!

— Мало вам ненависти?— горько вздохнул пастор.— Мир погиб от нее, и все еще мало?

— Я говорю о ненависти к человеку как виду. Он должен быть изменен с помощью генной инженерии. Мы будем добиваться коренных мутаций. Люди с самого раннего детства будут знать, что они — лишь материал для кропотливой работы биологов.

— Ну, как можно убедить человека в том, что он — материал?

— Человека можно убедить во всем что угодно.

— Представляю, что вы создадите...— Пастор горько улыбается.

— Я не удивляюсь тому, что вам это чуждо. Вы очень похожи на моего отца. Вы, прости за откровенность, последние гуманисты. В своем роде, мамонты...

— Спасибо и на том.— Пастор медленно встает.— Нам пора идти.

— Я провожу вас,— говорит Ларсен, затем добавляет, обращаясь к Хюммелю-сыну:— Если у вас будет время, перечитайте историю третьего рейха... Я думаю, вам будет это полезно.

Серый дождик шелестит в тумане по черным лужам. Мокрые обугленные стены развалин блестят в сумеречном свете.

Ларсен, Тереза и пастор движутся вдоль развалин, постепенно истаявая в тумане.

Ночь. Ларсен, вращая педали, сидит за столом в своей комнате. Он что-то подсчитывает, вычерчивает какие-то стрелки, линии. Рядом — раскрытые таблицы, справочники. За его спиной раздаются шаги и, после паузы, несмелый стук в дверь.

— Да,— говорит Ларсен.

Входит Хюммель-отец.

— Я слышал, как вы пришли,— говорит он.— Я подумал...

— Входите, присаживайтесь.

Тот садится, с интересом следит за работой Ларсена, оглядывается по сторонам, словно ищет что-то.

— Не знаю, насколько удобно говорить об этом сегодня,— начал осторожно Хюммель,— но я хотел просить вашего согласия... взять кассеты. Я хочу приобщить их к экспозиции большого зала.

— Какие кассеты?— Ларсен удивленно смотрит на Хюммеля.

— Я имею в виду... коллекцию Анны, записи ее бесед с посетителями...

— Ах, вот вы о чем. Разумеется, вы можете взять их.

— Благодарю вас.— Хюммель поспешно встает.— Еще раз простите меня, бога ради... Не буду мешать.— И выходит из комнаты,

Ларсен никак не может заснуть. Ворочается с боку на бок, поглядывая на светящиеся стрелки часов, на тлеющий волосок лампы аварийного света. Она мигает еще какое-то время, потом гаснет.

Он встает, освещая себе дорогу фонарем, выходит в холл, а затем в коридор, ведущий к музею.

На экране видеоманитофона — лицо женщины. Она несколько растеряна, ей трудно сосредоточиться — какие-то голоса, шаги доносятся издалека, они мешают ей. Слышно, как кто-то закрывает дверь. Становится тихо. Теперь видно, как Анна подходит к женщине, садится рядом.

— Я много думала об этом... Я скажу сейчас ужасную вещь, но это, к сожалению, правда — мы уже похоронили человечество. Ведь уже примирились с самой возможностью гибели... Приучили себя к мысли, что можно спокойно спать на бомбах, покупать убежища, смотреть по телевидению, как убивают беззащитных людей на другом континенте и испытывают на них химические снаряды. Разве не

так? Мы произносим много слов, но совершаем мало поступков, позорно мало! Да что говорить!.. Сейчас все говорят о каком-то скачке сознания, который вот-вот произойдет и решит все проблемы человечества. Не знаю... Какой скачок? В чем он? Может, он в том и заключается, чтобы не только произносить слова, но и начать наконец-то совершать поступки! Пока право поступков мы отдали военным, безумным политикам, всякой амбициозной сволочи, а себе оставили право на слова. Очень удобно, ничего не скажешь... Я никак не могу забыть историю с этой женщиной из Норвегии, которая продала свой дом и на все свои деньги организовала марш мира... А что сделала я, мои друзья, знакомые, мой муж? Он, кстати, состоятельный человек, известный ученый. И он прекрасно знает, что его разработки используют военные. Он возмущается, да... Он произносит слова, но он не совершает поступок. Не знаю, я путано говорю, но, по-моему, тут есть различие... И это трудно, очень трудно — совершить действие. Я знаю по себе... Я смотрела по телевидению, как женщины в Англии осаждали базу с ракетами... Ну, вы помните, конечно... У нас на острове тоже была подобная история, но я узнала о ней только из газет. А ведь это было совсем рядом. Я боюсь, я чувствую... это может произойти со дня на день... Ведь так не может продолжаться до бесконечности... Оружие, оружие, только и слышишь везде... Об этом все пишут, все говорят. Но в том-то и дело — говорят... Все говорят, но мало кто совершает поступки. Я опять о своем, но это мучает меня. Мне кажется — в этом все дело... Это как во сне, чувствуешь, что надо что-то сделать, а не можешь. Мне часто такое снится: бежишь, не можешь убежать или что-нибудь в таком роде. Я думаю, многим знакомо это чувство. Потому что мы все так живем, как во сне. Ну, может, не все, но большинство — это точно, это можно сказать с уверенностью... — Женщина замолкает и вдруг испуганно смотрит прямо в объектив телемонитора. — Впрочем, это не надо записывать. Мой муж — известный человек, вы понимаете... У него могут быть неприятности.

Экран гаснет.

Ларсен сидит перед видеомagneтофоном. Рядом, на стене, ряды репродукций, наклеенных на картон. Он сидит и машинально смотрит на безыскусный пейзаж, такой знакомый каждому живущему на Земле, написанный с любовью и нежностью к вечному чуду живой природы.

Утро. Полутьма. Среди развалин музея — две фигуры, Ларсен и виолончелист. Сгибаясь под ураганным ветром, они тащат остатки обугленного бревна к открытому люку. С трудом опускают его в люк, закрывают тяжелую крышку. Идут к куполу входа в бункер. Из жестяной трубы возле люка клочьями вырывается черно-грязный дым...

...Тесное помещение возле топки завалено обугленным деревом — дверцы, доски, обломки бревна. Ларсен и виолончелист, в резиновых плащах, но без противогазов — в марлевых повязках, бросают в огонь обугленные обломки. Выходят, закрывают за собой тяжелую дверь с большим квадратным иллюминатором. Сквозь нее видна толпа, огненные языки, качающиеся под порывами ветра.

Виолончелист тут же срывает повязку, сбрасывает плащ. Он судорожно дышит, откашливаясь и отплевываясь.

Ларсен подходит к трубам, тянущимся вдоль стен, пробует их рукой.

— Теплые? — спрашивает виолончелист.

— Чуть-чуть.

— Я перебираюсь сюда, — решает виолончелист. — И вам советую. По случаю начала ледникового периода...

Он снова начинает кашлять, машет рукой, затем уходит. Ларсен остается возле дверцы, долго смотрит сквозь стекло на огонь.

Вскоре возвращается виолончелист с грудой тряпок и футляром с виолончелью. Футляр пристраивает в углу, тряпки сваливает на деревянной скамье. Ложится, зарывается в тряпки с головой.

— Провалился оно все пропадом, — бормочет он, — к чертям собачьим...

В холле — полутьма. Однообразно стучит пишущая машинка из комнаты Тешеров.

Ларсен достает из кухонного шкафчика упаковки с таблетками, аккуратно, как всегда, раскладывает их на столе.

Хлопает дверь, появляется Хюммель-сын.

— Доброе утро. — Хюммель подходит к шкафчику, тоже достает таблетки, высыпает прямо в ладонь и методично заглатывает их одну за другой. Его движения размерены до автоматизма.

Ларсен устался в стол, общаться с Хюммелем-младшим ему явно не хочется.

— Доброе утро, — раздается вдруг звонкий и бодрый голос.

Ларсен и Хюммель оборачиваются и замирают. К ним приближается госпожа Тешер.

На ней ничего нет, кроме набедренной повязки. Вздрагивая от холода, она, тем не менее, улыбается, старается держать себя непринужденно. Не торопясь, она достает таблетки из шкафчика и так же медленно возвращается к себе, бросив на ходу:

— Я себя чувствую другим человеком. Просто поразительно, какая легкость! Полная адаптация!

Перед массивной дверью со смотровым глазком, прикрытым металлическим щитком, стоит Ларсен и давит на кнопку звонка. Чувствуется, что он стоит уже давно. Порывы ветра несут сверху пепел и каменистое крошево. Наконец щиток натужно сдвигается. Ларсен непроизвольно вздрагивает. Потом занимает позицию прямо перед глазком и, понимая, что его осматривают, показывает пустые руки. Металлическая дверь медленно раскрывается.

В тамбуре Ларсен снимает противогаз и резиновый плащ. Сквозь стекло иллюминатора следующей двери на него смотрит сохшийся старик, Кушкаш. На его лице видны темные пятна, признаки далеко зашедшей болезни.

Старик открывает дверь, и Ларсен входит в тесную прихожую. Прямо на него смотрят ручные пулеметы, от двери к ним тянутся провисшие провода.

— Ларсен,— говорит старик сварливо,— я ждал вас два дня назад. Отметьте себе: деловой человек не опаздывает. Идемте. Я все помню: вам нужен акваланг. Я мог бы расторгнуть контракт из-за вашей неорганизованности... неуважительности, я даже сказал бы, но не стану этого делать. Скажу по секрету: я надеюсь, что от единичных сделок мы постепенно перейдем к постоянному деловому сотрудничеству. Моя полная монополия лишает мою жизнь разнообразия.

Они идут между стеллажами, переходя из комнаты в комнату. На стеллажах всевозможные товары — от стиральных порошков и велосипедов до цветных телевизоров и игрушек. Везде — одна и та же надпись: «Сэрвайвл».

— Прошу прощения, господин Кушкаш,— виновато говорит Ларсен.— Я не мог прийти раньше, меня задержали дела.

— Ладно, ладно, прощаю. Я сказал уже, что не склонен придавать происшедшему чересчур большое значение. Отметьте себе: какова подготовка! Он обводит рукой вокруг.— Здесь есть все! Вы один из первых моих покупателей... Сказал бы даже — первый, но боюсь слишком вам польстить. Люди еще не могут

без вещей. Не могут жить, не могут умирать. Я понял это еще в детстве... Вот ваш акваланг. Возьмите сами, мне тяжело.

Ларсен достает из своего мешка банки с консервами и аккуратно, в ряд выстраивает их на столе. Кушкаш придирчиво их осматривает, держа в руке счетчик радиоактивности. Проверяет каждую банку со всех сторон.

— Вы честный бизнесмен,— говорит он наконец удовлетворенно.

Ларсен поднимает акваланг и хочет уйти.

— О нет! — говорит Кушкаш.— Так не полагается. Первую сделку нужно обязательно отметить.

Появляется бутылка коньяка, две маленькие рюмки. Кушкаш наполняет их. Ларсен безропотно принимает рюмку, чокается с хозяином.

— Я не буду много, но вы не обращайтесь внимания, пейте,— говорит Кушкаш, пригубив.— Вкусный коньяк, не правда ли?

— Великолепный,— говорит Ларсен.

Кушкаш удовлетворенно, счастливо смеется, вытирает пальцами уголки глаз.

— Я знал, что вы оцените. Что ж,— говорит он, поднимая рюмку.— За наше деловое сотрудничество! Я, кстати, никуда улетать не собираюсь. Вы, как я понимаю, тоже... У нас прекрасные перспективы взаимовыгодного обмена! За наше процветание!

Кушкаш чокается с Ларсеном и делает еще глоток. Ларсен допивает рюмку, и Кушкаш мгновенно, с неожиданной быстротой наполняет ее вновь.

— Вы присядьте,— говорит Кушкаш.— Я, к вашему сведению, склонен считать этот проект с отлетом бессмысленным расточительством. Лететь... Куда? Не все ли равно, где жить? Важно — как жить! Я вовремя позаботился об этом и устроился, как вы могли убедиться, очень неплохо. Я теперь, возможно, самый богатый человек на земле... Должен вам сказать, что я был одним из первых, кто понял, что нужно вкладывать деньги в космические вооружения...

— За вашу предусмотрительность! — говорит Ларсен, чуть усмехнувшись.

Кушкаш растроган.

— Благодарю вас... благодарю. Но это справедливая похвала. Я знал, я давно понял, что это неизбежно. И я готовился. Если помешать нельзя, значит, надо использовать. Это мой принцип. И вот результат — мир погиб, но ничего страшного, вновь начинается бизнес. Он переживает всех, будьте уверены. Он будет и там!.. — Кушкаш поднимает вверх палец.

— Где?

— Там, — многозначительно повторяет Куш-каш и добавляет шепотом: — На том свете... Я убежден.

Ларсен, стараясь не смотреть на хозяина квартиры, берется за ремни акваланга.

Над водой движется едва заметный туман. Сквозь серую муть неба проникает багрово-желтый, необычно резкий свет. Пустая лодка покачивается на воде.

На глубине, под водой, сумеречно и тихо, слышен лишь звук стравливаемого воздуха, тянутся вверх гроздьи пузырьков. Ларсен всплывает в просторное помещение лаборатории, под ним приборы, полусасыпанные песком. Он останавливается возле сейсмографа, осторожно берет в руки ленту, которая тянется из прибора. Полуистлевшая лента тут же рассыпается от его прикосновения, превращаясь в мутное облачко...

...Ларсен плывет по затопленной улице. Аккуратные коттеджи почти не повреждены. У одного из них Ларсен разворачивается и над поваленной изгородью, над остатками кустов подплывает к дверям. Под ним, на дне, уже тронутая коррозией бензокосилка для газонов. Он дергает дверь, и она беззвучно вываливается ему навстречу, подняв облако мути.

На дощатом полу дома — осколки стекол, песок, под потолком плавают стулья. Открыв следующую дверь, Ларсен попадает в следующую комнату, а затем добирается до кабинета. Открывает нижние дверцы книжного шкафа, роется в ящиках, потом отплывает, держа в руках коробку. Останавливается возле письменного стола. В окно видны черные тени деревьев и песчаная дорожка, теряющаяся между ними.

В холле музея все сидят за столом на своих местах. Пустует только место виолончелиста. Шелестят под столом педали. В неровном свете больших, низко висящих ламп мерцает стекло бокалов. Вдоль стены несколько больших чемоданов и сумок — все говорит о близком отъезде.

Тешер украдкой поглядывает на часы, он нервничает, очень боится опоздать. Эта церемония кажется ему совершенно лишней. Его супруга курит с отсутствующим видом. Хюммель-сын с подчеркнутой медлительностью разливает шампанское.

Все смотрят на Хюммеля-отца. Выдержав положенную паузу, он встает. Его лицо словно стянуто мертвой маской, но губы и глаза выдают волнение, граничащее с отчаянием. Он долго перебирает листки, затем откладывает их в сторону. Смотрит на сына, но тот отводит глаза, сидит недвижно, глядя прямо перед собой.

Ларсен с тревогой смотрит на старшего Хюммеля. Чувствуется, что сейчас прозвучит нечто большее, чем обычная ритуальная речь, как всегда, тщательно записанная и немного витиеватая. Но, словно застыдившись своей минутной слабости, отец вдруг резко выпрямляется и произносит с предельной сдержанностью, почти безразличием:

— Итак, уважаемые коллеги, мы дожили до того исторического дня, когда каждый из нас получил полное право записать в своем дневнике: «Двадцать четвертое, среда. Сегодня закончилась история человечества»... Что ж, пора подвести итоги, и, думаю, нужно сделать это спокойно, без вульгарной аффектации... Есть, согласитесь, неизъяснимая, сладкая горечь в сознании того, что ты — последний... Я чувствую какое-то потрясающее облегчение... Я чувствую какое-то высшее единство с вами, единство, которого нам так недоставало всю жизнь. И теперь, сегодня, я могу наконец говорить с вами, как мертвый с мертвыми, то есть откровенно... Итак, несколько слов в защиту человечества как биологического вида... — Он глубоко вздохнул, словно набирая побольше воздуха в свои слабые легкие. — Это был трагический вид! Возможно, и впрямь изначально обреченный. Но именно в силу своей трагичности, он создал такие образцы красоты, достиг таких вершин эмоций, до которых никто больше не мог подняться! Роковая и прекрасная наша участь заключалась в том, что мы стремились прыгнуть выше самих себя, быть лучше, чем положено нам природой. Мы находили в себе силы страдать, хотя это противоречило законам выживания, испытывать чувство собственного достоинства, хотя его всегда топтали, создавать шедевры искусства, понимая их бесполезность и недолговечность. Мы находили в себе силы любить... Господи, как это было трудно! Ибо неумолимое время предавало тлению и тела, и мысли, и чувства. Но человек продолжал любить, и любовь создала искусство, которое запечатлело нашу неземную тоску по идеалу, наше бесконечное отчаяние и наш вселенский крик ужаса — вопль одиноких мыслящих существ в холодной и безразличной к нам пу-

стены космоса... Здесь, в этих стенах, прозвучало много слов ненависти к человеку, презрения к нему и насмешек. Но я сегодня не брошу в него камень. Нет! Я скажу так: я любил человечество и люблю его сегодня, когда его нет, еще больше, именно за его трагическую судьбу. И я хочу сказать вам, коллеги...

Голос его неожиданно дрогнул. Чопорная торжественность исчезла, словно осыпалась вместе с пудрой, покрывавшей его гладко выбритые щеки, и обнажилось вдруг безмерно усталое морщинистое лицо.

— И я хочу сказать вам,— повторил он совсем тихо,— я люблю вас. Для каждого — свой скачок сознания. Возможно, это мой... Сейчас я уйду в свою комнату и для меня все кончится... В конце концов, мы взрослые люди, и смерть не так уж страшна, когда погибло все...

Молодой Хюммель неожиданно поднял голову, намереваясь что-то сказать.

— Только не надо! Прошу тебя,— тихо сказал отец, опуская руку на его плечо. Помолчал, потом добавил негромко:— Надеюсь, вы поймете меня и не осудите...

Он поднял свой бокал, медленно выпил его до дна, неторопливо поставил на стол. Торжественно и спокойно вошел в свою комнату и закрыл дверь. В тишине отчетливо щелкнул замок.

Тишина и неподвижность. Скрипят педали под столом, колеблется неровный свет ламп.

Выстрел звучит резко, но негромко, заглушенный толстой бронированной дверью.

— Я боюсь показаться бестактным,— торопливо заметил Тешер,— но уже четверть второго! Пора идти...

— Да-да, конечно...— Сын встает, подходит к своему чемодану.

Все поочередно прощаются с Ларсеном, совершая церемонию рукопожатия, сопровождая ее сдержанным кивком головы.

Педали под столом замедляют движение и останавливаются. Свет начинает меркнуть.

— Прощайте... Счастливого пути...— звучит уже в полной темноте.

Сквозь стекло иллюминатора видна топка. Раскачиваются языки пламени. Ларсен лежит на скамье, прикрывшись какой-то старой одеждой, вероятно, из запасов виолончелиста. Смотрит на вздрагивающее за стеклом пламя. Доносится негромкая музыка. Виолончелист сидит на своей скамье среди груды тряпок,

склонившись над виолончелью. Его небритое лицо нервно сосредоточенно, рот полуоткрыт. Кажется, что он не играет, а произносит свой тихий музыкальный монолог.

Ларсен слушает музыку, думая о чем-то своем, затем устало прикрывает глаза...

...Цветущий сад, пронизанный зеленым светом листья. Легкий летний ветер колышет концы закладок, страницы раскрытой книги, лежащей на ступеньке веранды. Пятна солнечного света скользят по траве.

— Папа, шмель!— доносится из-за кустов голос Эрика.

— Это замечательно, что шмель,— говорит Ларсен, не отрываясь от книги.

— Он не кусается?

— Сколько раз я тебе говорил, шмель не кусается, он добрый.

Эрик смеется:

— А я помню. Просто мне нравится, когда ты его хвалишь.

Ветер пронесется над кустами, снова тишина. Ровный шелест листьев.

— Смотри, темнеет,— говорит Анна за спиной Ларсена.

— Дождь будет,— отвечает он.— Эрик, унеси книги, промокнут.

Порыв ветра ударяет в стекла.

Ларсен идет из комнаты в комнату, закрывает окна, звякают шпингалеты. В одной из комнат, возле окна стоит Эрик, смотрит на потемневший, шелестящий сад. Первые капли ударяют в листья. Эрик зябко поводит плечами.

— Ты что здесь стоишь?— говорит Ларсен и подходит к нему.

— Я слушаю,— отвечает Эрик тихо.

Они стоят у окна. Летний дождь барабанит по густой листве. Вдалеке видна полоска светлого неба, солнечные лучи, идущие полосами из легких облаков.

— Почему наша планета так называется — Земля?— вдруг спрашивает Эрик.— Кто придумал?

— Не знаю,— пожимает плечами Ларсен.— Всегда так называли...

Вздрагивает пламя в топке. Ларсен лежит, открыв глаза. Он понимает, что это был лишь короткий сон, но ему не хочется расставаться с ним. Он снова закрывает глаза.

На экране видеомонитора, установленно- го в большом зале музея,—лицо мужчины. Он немолод, ему около пятидесяти. Его внеш- ность свидетельствует о полном жизненном благополучии. Однако речь его взволнованна, почти истерична. Вероятно, вопросы Анны зат- ронули в нем нечто давно наболевшее, поч- ти мучительное.

— Да, я создаю оружие,— скороговоркой произносит он.— Работаю на военно-промыш- ленный комплекс, как любят говорить левые. Да! Но почему? Вы думаете, я ничего не ви- жу? Не знаю, чем может обернуться накопле- ние оружия? Прекрасно знаю, уверяю вас, гораздо лучше, чем тысячи других людей... Мы катимся в пропасть чудовищными темпа- ми. Это, по-моему, уже даже детям понятно. Мир движется к своему концу. И я считаю, что гибель человечества неизбежна... Задумай- тесь, почему тысячи людей во всем мире заня- ты производством оружия чудовищной сил- ы? Почему? Ведь они понимают, что созда- ют своими руками, понимают! Но при этом продолжают делать свое страшное дело. Кон- ченно, они иногда возмущаются, выдумывают оправдания, иногда очень убедительные. Но пороховая бочка все растет и растет. Как в дурном сне. Такое ощущение, что все сошли с ума! Ан, нет! Вот тут и обнажается глав- ное.— Мужчина придвинулся к экрану.— Про- грамма! Должно свершиться то, что предска- зано. Мир был запрограммирован так от пер- вого дня творения. Было начало мира, теперь грядет конец. Да! Армагеддон! Апокалипсис, со всеми своими печатями. И это не предот- вратить.

— Но, позвольте,— звучит голос Анны за кадром.— Разве Вторую мировую войну нель- зя было предотвратить? Не будь Мюнхена, все могло сложиться иначе. Антигитлеровская коалиция могла начать действовать уже в те годы. Не было бы ни Освенцима, ни Майдане- ка. Я хочу сказать, что все определяют наши поступки. Разве не так? Ваша позиция оправ- дывает преступное бездействие...

— Глупости! — перебивает ее мужчина.— Какие могут быть поступки, если мы все за- программированы! Смешно! Неужели вам не приходило в голову, что существует странное несоответствие: человек способен осознать свое несовершенство, способен поучать дру- гих, но не способен изменить себя ни на йоту!.. Все дело в программе,— таинственно сообщает он.— Колоссальный хвост информа- ции, накопленный геной памятью — вот что определяет поступки. Потому и астрология

всегда пользовалась таким успехом. Да что астрология, любые гадалки и прорицатели... Ведь предсказывали, и это доказано, поразит- ельно точно! Какие еще после этого нужны аргументы? Все очевидно. Программа от рож- дения и до смерти, в точно предсказанный час и день... Над нами пошутили! Понимаете? Шутка!

Ему вдруг становится смешно. Он начинает истерически хохотать, повторяя:

— Да-да!.. Представьте себе! Шутка! А мы все это приняли всерьез!

Экран гаснет.

Утро. Ларсен достает из кухонного шкафчи- ка таблетки. Как всегда аккуратно расклады- вает их на столе, прежде чем принять. Тон- кая струйка воды еле сочится из крана.

Входит виолончелист. Он уже в защитном обмундировании, за спиной рюкзак, в руке футляр с виолончелью.

Ларсен удивленно смотрит на него.

— Надо немедленно идти. Собирайтесь,— решительно говорит виолончелист.— Давайте, я вам помогу.

— Я остаюсь. Вы же знаете.

— Не валяйте дурака.

— Ив, я никуда не пойду. Не надо меня уговаривать.

— Ларсен!

Молчание.

— Что ж, мне очень жаль...— Виолончелист секунду помедлил.— Прощайте.

— Прощайте... Возвращайтесь, если наду- маете...

Виолончелист молча уходит.

В серой полутьме вздымаются черные гро- мады волн над пустынным скалистым берегом. Стремительно несется клочковатый туман.

Большой транспортный самолет с эмбле- мой «Красного креста» лежит почти на боку. Корпус переломился, вероятно, еще в возду- хе, хвостовое оперение отсутствует.

Ларсен копошится в обломках пилотского пульта. Ищет что-то под креслами, затем в разбитых приборах кабины радиста, там, где обычно находится «черный ящик». Все разбито, покорежено, унесено, на полу — ос- колки стекла.

Ларсен спрыгивает на землю, садится. Вгля- дывается в серую муть за кромкой прибоа. Вокруг пустота, никакого движения. Вдали угадываются безжизненные развалины военно-

морской базы, ключья колючей проволоки, остовы полузатопленных кораблей.

Ларсен приближается к развалинам музея. Обгибает обугленный выступ стены и неожиданно останавливается. Впереди стоит бронированный армейский грузовик — приземистый, темный, вместо окон — узкие смотровые щели. С резким металлическим звуком откидываются дверцы кабины; два человека в одинаковых комбинезонах и противогазах, с автоматами за спиной, направляются к Ларсену. Он инстинктивно вжимается в стену.

— Это не он,— говорит один из них на ходу.

— Помолчи! — резко обрывает другой, вероятно, старший, и ловким, привычным движением перебрасывает автомат со спины на грудь. — Эй, иди сюда! Живо! Слышишь, что я тебе говорю?

— Вы мне? — Ларсен, стараясь сохранить присутствие духа, медленно подходит.

— Сними резинку! — Военный показывает руку на противогаз.

Ларсен секунду колеблется, затем выполняет приказ. Холодный ветер резко бьет по лицу, дыбит волосы.

— Черт! — хрипит один из военных. — Это он! Ты Ларсен?

— Заткнись,— снова обрывает его другой и тут же оборачивается к Ларсену. — Имя жены?

— Чьей?

— Твоей!

— Анна...

— Имя сына?

— Эрик... Вы от Ульфа? Да?

— Черт тебя возьми! — хрипит военный. — В машину! Быстро!

Ларсен, на ходу натягивая противогаз, бежит вместе с ними к бронемашине. Взревев дизелем, она резко берет с места.

— Где тебя носит? — хрипит старший. — Тебе Ульф что сказал? Быть в музее. Понимаешь? Ты должен был сидеть на месте и ждать, а не болтаться по острову...

— Но я же не знал... А где Ульф, он с вами? Мы, собственно, куда едем?

— Значит, так,— обрывает его старший. — Я буду задавать вопросы, а ты будешь отвечать. Отвечать и ничего не спрашивать! У нас очень мало времени.

— Но я...

— Ты понял? — кричит военный.

— Нет! — взрывается вдруг Ларсен. — Ни черта я не понял! Остановите машину! Я ни-

куда не поеду с вами, слышите?! Я должен знать, кто вы, где Ульф и куда мы едем!

Военные молчат, смотрят внимательно на Ларсена, словно изучая его. Ларсен тоже молчит, переводя взгляд с одного на другого. Чувствуется, что он готов защищаться.

— Вот что, парень,— говорит наконец сидящий за рулем миролюбиво и наклоняется к Ларсену: — Я веду машину, значит, меня зовут шофер. Запомни... Он отвечает за твою жизнь, можешь называть его хугер... Есть еще один парень, который пригонит самолет к электронному центру. Его будешь называть пилот... Все! Больше тебе знать ничего не надо. Ты понял меня?

Ларсен угрюмо молчит.

— Послушай,— продолжает шофер,— я работаю с Ульфом уже десять лет. У него никто не знает больше, чем должен. Это принцип! Ульф всегда так работает. Поэтому у него всегда все получается. Всегда! Понимаешь? А вот у доктора все всё знали и обо всем рассуждали. Поэтому он и сгорел.

— Как сгорел? Что с доктором?! — вырывается у Ларсена.

— Он арестован.

Ларсен сжимается. Тот, кого называли хугером, понимает состояние Ларсена по-своему: — Только не надо обижаться, Ларсен! Ты не представляешь, что творится в центральном бункере. Они хватают всех, кто хоть что-нибудь может узнать...

Ларсен молчит.

— Время! — бросает хугер шоферу.

В смотровых щелях бронемашины мелькают развалины городских окраин, и вскоре она вырывается на простор, несется по черному, обугленному шоссе.

Хугер молча роется в карманах. Скорость стремительно растет, машину бросает из стороны в сторону. Хугеру неудобно, тесно, он чертыхается вполголоса. Наконец достает записную книжку, ищет нужную страницу, показывает Ларсену.

— Ты работал с таким шифром? Смотри внимательно.

— Да,— говорит тот, взглядевшись. — Это шифр электронного центра.

— Правильно. Ты был там когда-нибудь?

— Один раз.

— Хорошо,— говорит хугер. — Сможешь работать на центральном пульте?

— Где? В электронном центре? — удивленно спрашивает Ларсен.

— Да, в центре.

Ларсен помедлил с ответом.

— Нужно знать код включения...
— Здесь записаны три, один из них должен сработать.
— Тогда смогу... А что нужно?..
— Вопросы задаю я,— снова прервал его хугер.
— Летят! — кричит шофер.— Черт, могут заметить!

— В развалины! — приказывает хугер.
Машина, не сбавляя скорости, сворачивает в развалины, несется, задевая бортами обугленные стены. Потом резко останавливается. Над сожженной равниной, приближаясь, медленно плывут тяжелые армейские вертолеты.

Хугер смотрит на часы.
— Все точно. Через пятнадцать минут они будут на месте.

Как только последний вертолет скрывается в тумане, шофер снова гонит машину к шоссе.
— Теперь самое главное.— Хугер наклоняется к Ларсену: — Ты должен найти регистрограммы, а может, и еще что-то, не знаю что — я в этом ничего не понимаю... Но там должна быть зафиксирована авария на ракетной базе. Понимаешь? Регистрограммы за двадцать четвертое число, с шести утра и дальше, до момента взрыва.

Ларсен растерянно разводит руками:

— Это очень сложно...

— Тебе не надо их расшифровывать. Надо только найти, где они лежат. Включить блок информации и узнать номер бокса, ячейку хранения. Мы должны забрать их... Ты понял меня?

— Значит, это была авария? Вы уверены?

— Уверен. На сто процентов. Но нужны факты. Ульфу нужны доказательства, которые можно взять и показать любому. Тогда он сможет сломать им всю игру... Вся их игра строится на том, что аварии не было.

— Каким временем я располагаю? — быстро спрашивает Ларсен.

— Времени мало.

— Это сколько?

— Не больше часа. Минут сорок... — Хугер оборачивается к шоферу:

— Остановишь возле переезда. Ни метра дальше!

Визжат колеса на виражах, когда машина огибает какие-то препятствия на дороге или участки выкрошившегося асфальта. Вертолеты уже не видно.

— Если была авария, — сосредоточенно говорит вдруг Ларсен, — значит... Значит, войны могло не быть?

— Ты не о том думаешь, — бросает хугер, не оборачиваясь.

— Ладно, скажи ему, — буркнул шофер.

— Не было, — говорит хугер. — Пока не было. Пока! А теперь помолчи, — добавляет он. — Уже близко...

Все трое лежат в развалинах на небольшом холме. Вдали, сквозь ключья тумана, проглядывает комплекс приземистых бетонных зданий — электронный центр. Вся территория вокруг огорожена рядами колючей проволоки. Видны металлические вышки с шарообразными сооружениями, антенны слежения. Раскинув просторные лопасти, с зажженными фарами стоят вертолеты. В полосах света, вязнущего в тумане, мелькают фигуры в армейском противорадиационном обмундировании.

Хугер прижимает к стеклам маски бинокль, следит, не отрываясь, за происходящим.

— Вот она! — протягивает бинокль шоферу.

Видно, как из трюма одного из вертолетов на тросах опускают тяжелый металлический цилиндр. Не меньше десятка солдат суетится вокруг, бережно укладывая его на тележку.

— Килотонна, — определяет шофер.

— Это бомба? — спрашивает Ларсен. — Или боеголовка?

— Мина, — отвечает хугер. — У нас около часа. Пока вертолеты в воздухе, взрыва не будет.

— Если они пойдут в центральный, — замечает шофер. — А если на подземный аэродром?

— Не пыли, — обрывает его хугер. — Ульфу сказал, что в центральный.

— Если рванет, больно не будет, — меланхолично заключает шофер.

Неспешно проворачиваются винты вертолетов — дружно, слаженно, как на параде. Через секунду долетает звук ревущих двигателей.

— Включили... — Хугер смотрит на часы. Голос его срывается от волнения.

В бинокль видно, как высыпают из здания солдаты, бегут к вертолету, прыгают внутрь. Винты сливаются в сверкающие туманные плоскости, рев нарастает. Вздываются клубы пыли. Захлопывается люк вертолета, принявшего последних солдат. Вертолеты дрожат. И вот наконец, один за другим, взмывают над землей. Темные тени скользят над опасной равниной.

— К машине! — выкрикивает хугер и как пружина вскакивает,

Он несется вниз по склону холма, к замершей у покоренного шлагбаума бронемашине. Ларсен и шофер бегут за ним.

— Гоним! — ревет хугер.

Машина несется по шоссе прямо к ограде, к закрытым металлическим воротам, перегорожившим подъездное шоссе. Скорость растет.

— Крепче держись! — кричит хугер Ларсену.

Всем весом своей брони, помноженным на бешеную скорость, грузовик обрушивается на створку ворот. Со страшным грохотом он проламывает ворота и, едва не перевернувшись, влетает на территорию центра.

Тотчас же отовсюду начинают выть сирены тревоги.

Шофер виртуозно останавливает машину буквально в двух шагах от входа.

— Пять минут, — говорит он.

Они спрыгивают на бетон, врываются в здание.

Одно помещение, другое, третье... Все заставлено аппаратурой. Столы завалены бумагами, картами крупного масштаба... Комната отдыха — диван, кресла, рассыпаны по полу шахматные фигурки. Дальше — просторный зал.

— Вот! — кричит Ларсен, подбегая к громадному пульта. И вдруг замирает. Оборачивается. — А если они отключили питание?

— Сирена... Все под током!

— Могут быть автономные цепи... — Ларсен присматривается к пульта, потом отрывистыми движениями перебрасывает несколько рычажков. Рычажки шелкают, на пульте загораются россыпи разноцветных индикаторов. — Работает, — Ларсен облегченно вздохнул, обернулся: — Если бы они отключили питание, весь наш план...

— Время! — ревет хугер.

Ларсен снова кидается к пульта, лихорадочно нажимает кнопки. Экран дисплея отвечает на каждое его движение всплесками цифр.

Оба спутника стоят поодаль. Шофер особенно нервничает, то и дело оглядывается на Ларсена, зачем-то хлопает себя по карманам. Не выдержав, предлагает хугеру:

— Пошли отсюда, только мешаем...

Они выходят в соседнее помещение. Смотрят сквозь раскрытую дверь на мигающие лампочки центрального пульта, на склонившуюся фигуру Ларсена.

— Скажи ему, пусть не копается, — шепотом говорит шофер.

— Заткнись. Он знает свое дело...

Шофер оглядывается.

— Как думаешь, куда ее поставили?

Хугер молча кивает головой назад, в сторону коридора, через который они пришли. Шофер идет к лифту, прижимается лбом к решетчатой двери. Тросы, натянутые как струны тянутся к спущенной вниз кабине.

— Спустили в самый низ.

Хугер кивает:

— А как же! Там пять этажей. Хранилище. Сирены продолжают выть.

Хугер возвращается к Ларсену, заметив, что тот в отчаянье.

— Я ничего не понимаю, — стонет Ларсен. — Ничего!

— Спокойно, Ларсен. У тебя достаточно времени... Ты можешь не торопиться. — Хугер говорит почти ласково и хлопает Ларсена по плечу: — Все в порядке... Работай, время есть...

Он нарочито медленно отходит от пульта и, натываясь на ошарашенный взгляд шофера, показывающего на часы, угрожающе поднимает кулак. Шофер успокаивается, но ненадолго — снова то и дело смотрит на часы, мечется от окна к дверям. Хугера это раздражает.

— Можешь позвонить пока в центральный бункер, если тебе нечем заняться.

— Ты думаешь, это кабельный? — Шофер подходит к аппарату видеотелефона с большим экраном.

— Конечно... прямая связь, тут же соединят, — смеется хугер.

— А что? — улыбается шофер. — Неплохая идея... У меня есть о чем побеседовать с военными...

Шофер, нервно посмеиваясь, подходит к телефону, приподнимает трубку, но сразу, буд-то испугавшись, роняет ее на рычаги. Возвращается к неподвижно стоящему хугеру. Смотрит на часы.

— Пятнадцать минут...

— Не пыли, — отвечает хугер, не оборачиваясь. — Через десять минут можешь уйти... Машину оставишь.

— Кретин! — огрызается шофер и демонстративно усаживается в кресло, возле видеотелефона, устранивается надолго, вытянув ноги.

— Хугер! — кричит вдруг Ларсен. — Записывай! Сто тридцать седьмой бокс, секция — пять, ячейки — ноль сорок три и ноль девять ноль четыре...

— К машине! — орет хугер уже на бегу.

Бок о бок с шофером они бегут по узкой лестнице, вьющейся вокруг шахты лифта. Тяжелое дыхание и топот затихают где-то внизу.

Ларсен сидит у пульта совершенно опустошенный. Поединок с машиной отнял у него все силы. Снизу, из хранилища, доносятся удары металла о металл, какой-то скрежет.

Наконец, словно очнувшись, Ларсен встает, выключает пульт. Идет в соседнее помещение, останавливается возле видеотелефона, раздумывая о чем-то. Замирает, услышав топот, тяжелое дыхание.

— Есть! — кричит хугер, появляясь из-за решетчатой шахты лифта. — В машину! Бегом!

Они выбегают из здания электронного центра. Вскрекают в покореженную машину. Хугер и шофер на ходу натягивают противогазы. Машина с ревом разворачивается и, набирая скорость, несется по шоссе.

Впереди, метрах в трехстах, виден небольшой спортивный самолет. Он стоит прямо на шоссе. Винт вращается на полных оборотах. Пилот, уже заметив машину, разворачивает самолет, делая несколько кругов на одном месте.

— Черт! — хрипит шофер беззлобно. — Нашел время развлекаться.

Хугер хлопает его по плечу, кричит, смеясь:

— У меня работают только мастера!

С визгом машина тормозит перед самолетом.

Мотор продолжает работать. Шофер оборачивается к Ларсену:

— Поедешь по шоссе! — кричит он. — От развилки бери влево! — Он хватается мешок с регистрограммами, выпрыгивает из машины. — Только не давай четвертую! — кричит он, уже подбегая к самолету.

— Теперь последнее, — говорит Ларсену хугер. — Ульф просил передать тебе: добрайся к Южной косе... Он будет там через неделю. Он найдет тебя. Если что, иди через косу. Ты понял меня?

— Да.

— Это все. Бери машину и гони всюю. У тебя осталось минут тридцать, не больше. Хугер выпрыгивает из кабины и бежит к самолету, на ходу показывая пилоту пальцы кольцом: порядок!

Ларсен пересеживается за руль, но вдруг выскакивает из машины и бежит вслед за хугером:

— Стойте! Подождите!

Хугер резко оборачивается:

— Что еще?

— Отлет! Нужно остановить отлет! Если войны не было, это же безумие... Они погибнут...

— Не вздумай соваться в центральный бункер! — кричит хугер. — Я запрещаю тебе! Черт с ними, пусть летят хоть в преисподнюю. Все! У тебя остались считанные минуты, Ларсен! Все!

Хугер не оглядываясь бежит к самолету.

— Но там же дети... Там масса людей... Они же не знают!

— Не дури! — Хугер прыгает в кабину. — Ты ничего не сможешь сделать! Это бесполезно! Слышишь? Бесполезно!

Дверца кабины захлопывается. Ларсен стоит на шоссе, ветер от винта полощет складки его комбинезона. Самолет трогается с места. Вначале медленно, затем все быстрее бежит по шоссе и наконец взлетает. Чуть покачивая крыльями, быстро набирает высоту и проваливается в низкие дымные тучи.

Ларсен поворачивается, неспешно идет к машине. Смотрит на часы. Ставит одну ногу на ступеньку. Тишина. Очень странная после суматохи и сумасшедшей гонки. Ларсен смотрит в небо, оглядывает спекшуюся равнину. Потом быстро садится за руль. Резко разворачивает машину и едет обратно к электронному центру.

По-прежнему завывает сирена. Ларсен стоит у стола с видеотелефоном, набирает номер. Вспыхивает экран, на нем появляется усталое лицо оператора.

— Центральная, — отзывается он.

— Соедините меня с советником Корнфильдом, — говорит Ларсен.

— Подождите минуту.

Оператор отворачивается от экрана, обращаясь к кому-то. Чувствуется, что в операторской суета. Щелкают тумблеры, доносятся голоса: «Аварийная бригада выслана?» — «Нет, все техники в старт-блоке». — «Вы связались?» — «Никто не отвечает». — «Нарушена связь?» — «Н-нет... Похоже, не обращают внимания на вызов». — «Попробуйте еще раз».

В рамку экрана плывет лицо оператора.

— Советник в старт-блоке. Переключаю вас. Экран гаснет. Затем вспыхивает снова. Появляется молодое лицо военного оператора.

— Мне нужен советник Корнфильд, — говорит Ларсен. — Вызывает электронный центр.

Оператор изумленно смотрит на экран.

— Сейчас... — Он торопливо встает, бежит куда-то.

Ларсен стоит у стола, смотрит на часы. По-прежнему завывают сирены.

На экране видеотелефона появляется лицо Корнфильда.

Ларсен сдергивает противогаз.

— Ты? — выдыхает Корнфильд. — Как ты там оказался? Что происходит?!

— Это неважно. Слушай меня внимательно, — торопливо говорит Ларсен. — Нужно немедленно отложить отлет! Отменить его! Дело в том... Я не могу сейчас говорить, объяснять, нет времени. Поверь мне, я не сумасшедший... Короче, это была не война. Катастрофа произошла из-за аварии на ракетной базе. Погиб только наш остров... Нужно срочно связаться с материком, выяснить, почему нас не спасают. Тут что-то не так. Надо срочно сообщить им!..

— Вы позволите, я возьму... — говорит кто-то рядом с Корнфильдом.

— Подождите, — резко бросает он в сторону, поворачивается к экрану. Молча смотрит на Ларсена.

— Ты понял, что я сказал?! Понял или нет?! — кричит Ларсен, срываясь.

Корнфильд оглядывается, затем вдруг резко приближается к экрану.

— Что ты кричишь?! — шепотом говорит он. — Ты думаешь, мы здесь сидим и ничего не знаем? Не будь наивным. И вообще молчи.

— То есть как? — опешил Ларсен.

— А так... Остров полностью изолирован. Никто не должен знать про аварию, запомни! Ее не было. Возможно, был превентивный удар противника. — Похоже, что Корнфильд использовал чью-то формулировку.

— Но это же ложь! Какой удар?

— Это не ложь, это — политика. — Корнфильд снова перешел на шепот. — Катастрофа используется как предлог для начала... Нас никто не будет спасать, им теперь не до нас. Все уже завертелось и начнется с минуты на минуту! Может быть, секунды остались!

— Этого нельзя допустить! — стонет Ларсен.

— Не валяй дурака. Немедленно добирайся сюда, я постараюсь включить тебя в список.

— Нет!

— Напрасно! Это редкий шанс, один из тысячи, вырваться отсюда. И чем дальше, тем лучше.

«Прошу вас», — говорит кто-то рядом с Корнфильдом. Советник что-то подписывает, снова смотрит на Ларсена.

— Корнфильд! Надо что-то сделать! Ты что, не понимаешь? Ведь это конец!

— Ларсен! Войны не может не быть. Это неизбежно. Не сегодня, так завтра. Уже ничего не изменишь!

— Нет! Ты ошибаешься, — кричит Ларсен. — Слушай меня внимательно. Все регистрограммы об аварии на ракетной базе находятся уже на материке. Их нет тут! Я все забрал! Все!

— Что?!

— И завтра... Может, сегодня это будет во всех газетах!

Ларсен видит, как вокруг экрана столпились операторы.

— Идиот! — кричит Корнфильд, панически озираясь. — Куда ты лезешь?! Это не твоя игра! Не тебе соваться в это дело!

— Нет! Это мое дело! Моё! — задыхаясь от гнева, кричит Ларсен. — Это моя планета, черт вас всех побори! И я не дам ее уничтожить! Слышите? Не дам!

Ларсен кулаком бьет по рычажку на селекторе. Экран гаснет. Не оглядываясь, он бежит к машине.

Машина мчится по шоссе. Ревет надрывно двигатель. Ларсен, не отрываясь от баранки, смотрит на часы. Вдали видны развалины. Ларсен хочет дотянуть до них, надеясь там найти какое-нибудь укрытие.

Развалины несколько в стороне от шоссе, и Ларсен резко уходит с бетона. Машина, завывая двигателем, скрежеща амортизаторами, слетает по склону дороги, несется, раскачиваясь, словно на волнах. Ларсена кидает в кабине, как песчинку.

Впереди вырастает прокопченная стена, рядом с ней — полуразрушенный купол, скорее похожий на вход в подвал.

Ларсен открывает дверцу, вылезает на подножку, до последней секунды продолжая держать баранку. Не снижая скорости, с сумкой в левой руке, выпрыгивает из машины, бежит к открытой двери подвала, вкатывается внутрь по крутой лесенке.

Замирает на полу. Ждет. Тишина. Скрипит на ветру распахнутая дверь подвала. Ларсен приподнимает голову, ползет наверх, тянется рукой к двери, чтобы закрыть ее. И в этот момент горизонт озаряется широким ослепительным светом. Не дотянувшись до двери, Ларсен кубарем скатывается обратно, падает плашмя, прикрывая затылок руками.

В сумке заверещал счетчик радиации, его сухое потрескивание слилось в гневное рычание. Потом накатывается рев взрыва. Волна

пыли захлестывает все. Ларсен ползет в полутьме, толкает следующую дверь, заползает в глубь подвала. Закрывает дверь,

Темнеет. Ларсен, едва живой от усталости, бредет к полуразрушенной часовне со снесенной крышей. Возле пролома в стене виднеется вход в подвал-убежище. Над ним возвышаются вытяжные коробки.

В густом сумраке Ларсен спускается по ступенькам к бронированной двери. Она открыта.

— Пастор! — кричит Ларсен. Никто не отвечает. — Тереза!

Тишина. Ларсен входит в тамбур, щелкает выключателем. Свет не загорается.

— Тереза!

Подождав немного, он идет обратно. Спотыкается обо что-то в темноте, падает. С трудом встает. Слышно его тяжелое, частое дыхание. Он поднимается по лестнице вверх, входит в часовню.

Внезапно становится светлее. Вдали поднимается малиновое зарево. Оно очень далеко, где-то в районе центрального бункера, поэтому грохочущий гул долетает не сразу. Сноп огня уходит в небо и тает в нем, затем появляется второй, третий, четвертый...

Зарево пропадает, становится очень тихо. Мелкий серенький дождик шелестит в тумане над обожженной землей.

Ларсен устало идет по коридору своего бункера. Аварийный свет то мигая, то пропадая совсем, высвечивает его длинную тень на стене.

Он добирается до холла и останавливается на пороге. За столом сидят дети. Их лица сосредоточенно-безучастны. Они одинаковым движением поворачивают головы и смотрят на Ларсена. Девочка оглядывается, встает, застенчиво улыбается.

— Я подумала... Как же вы один, — наконец говорит она.

Ларсен тяжело опускается на стул. Молчит, губы его чуть вздрагивают.

— Что с вами? — Девочка подходит к нему.

— Все хорошо, — торопливо шепчет Ларсен и улыбается. — Все хорошо... Я решил, что вы улетели. Я был у вас...

— Мы ушли оттуда... Я нашла хорошее место. Там сухо и крыс нет...

Ларсен задумчиво кивает.

— У меня замечательные новости, — говорит он медленно, словно преодолевая дремоту. —

Войны не было. Мир не погиб. Я все расскажу тебе... Потом... Мне надо немного поспать... Совсем немного.

Он тяжело встает, идет в комнату Анны, на секунду замирает на пороге, оборачивается.

— Как будто сто лет прошло. Правда? — говорит он, грустно улыбаясь.

Книгохранилище разрушено. Шелестят обрывки страниц. Ларсен бродит среди обломков стен. Он тщательно выбирает дорогу, но все же вынужден ступать по книгам, засыпанным песком и пеплом. Изредка Ларсен нагибается, поднимает уцелевшую книгу, рассматривает ее, одни отбрасывает в сторону, другие прячет в мешок.

Находит несколько детских книжек — мелькают нарядные картинки: цветасто разодетые звери едут куда-то на смешном маленьком паровозике, сияет большое солнце.

Поднимает богато изданную брошюру: «Инструкция по личной готовности к ядерной войне». Пожелтевшие иллюстрации рекламируют подземный бункер-убежище. Розовощекий молодой человек широко улыбается, полуобнимая рекламную красотку. Перед ними прекрасно сервированный стол в лучших традициях западных иллюстрированных журналов. Рядом сидят куклоподобные дети, вращая педали электропитания. Края картинки обуглены, черный слой пепла напоминает траурную рамку...

Ларсен отбрасывает брошюру, идет дальше. Снова поднимает уцелевшую книгу, листает ее. Мелькают рисунки, демонстрирующие с научной пунктуальностью всевозможные способы самоубийства. Ларсен отбрасывает и эту книгу. В нерешительности оглядывает книжные завалы.

Внезапно из тумана доносится звук падающих камней. Ларсен оборачивается — в серой пелене угадывается фигура человека, идущего к башне. Огромной черной стеной она возвышается над развалинами, параболоид ее антенны едва различим. В тишине, донесенный порывом ветра, раздается отчетливый стук, словно заработала гигантская пишущая машинка.

— Эй, — негромко окликает человека Ларсен.

Тот поворачивается и исчезает в проломе стены.

Ларсен поднимается по металлической винтовой лестнице башни, входит в операторский зал. Большой компьютер, занимающий почти половину зала, полузасыпан обломками рух-

нувших перекрытий. Пол покрыт колышащимися на ветру грудями узких бумажных лент. Они тянутся из двух перфораторов, находящихся по краям пульта. Один из них продолжает работать, то затихая ненадолго, то снова возобновляя прерывистый стрекот. В зале никого нет. Ларсен подходит к пульта.

Неожиданно за спиной его раздается негромкий хриплый смехок. Ларсен резко оборачивается. Он не сразу замечает, что на бетонных обломках лежит человек в пальто.

— Хочешь задать ему вопрос? — говорит человек. — Что ж, попробуй... Сегодня он разговорчивый...

— Кто? — спрашивает Ларсен недоуменно.

— Он! — многозначительно повторяет незнакомец.

Ларсен подходит ближе. Человек в пальто лежит без противогаза, лицо чуть прикрывает грязная марлевая повязка. На ней сверкают нездоровым блеском воспаленные глаза. Ларсен стоит в нерешительности, присматривается, пытаясь вспомнить, где он видел этого человека. В лежащем трудно узнать преуспевающего радиоастронома, чей монолог, записанный на видео пленку, Ларсен слушал всего два дня назад.

— Все улетели вчера, — вздохнул радиоастроном. — Исход!

— Я знаю.

Ларсен садится рядом с ним. Оба молчат. Перфоратор стучит и снова затихает.

— Вот и все, — говорит радиоастроном. — Было начало, теперь конец... Программа...

Ларсен чуть вздрагивает, мгновенно вспомнив эту фразу и догадавшись, кто рядом с ним.

— Я уже это слышал.

— Где? — астроном нервно вскидывает голову.

— Неважно... Хочешь, перебирайся ко мне. Я скоро уйду отсюда. Попытаюсь добраться до материка.

— Зачем? Ты веришь, что мир не погиб? Смешно... Ты просто сумасшедший... Сейчас много сумасшедших.

Он замолчал. Сквозь сползшую марлю повязки вырывается хриплое дыхание, бессвязный шепот. Астроном, словно вдруг проснувшись, резко поднимается.

— Ты еще не ушел? — неприязненно спрашивает он. — Уходи! Ты мне мешаешь...

Продолжая бормотать что-то, он быстро ходит вперед-назад в коротком пространстве между углом пульта и стеной.

— Так, так... — долетают обрывки фраз. — Нет, я задам ему еще один вопрос! — Он хихикнул: — Еще один вопросик... Вопросец... Да... Мозг — свалка цитат, говорите? Посмотрим!

Он падает в стоящее перед пультом кресло, пальцы его торопливо бегут по клавиатуре, вделанной в пульт. Бумажная лента вздрагивает и начинает вытягиваться из перфоратора. Он жадно хватается ее, вчитывается.

— Я так и думал... — с отчаянием произносит он и откидывается на спинку кресла. Затем встает, подходит к пролому в стене, вглядываясь в серый полумрак внизу.

Там, словно тень в воде, медленно движется фигура Ларсена.

Ночь. Ларсен сидит в своей квартире за рабочим столом, вращает педали. Осторожно вычленив уцелевшие кусочки страниц из обгорелых переплетов, он кладет их на большой лист оргстекла и тщательно протирает кистью, погружая ее в чашку Петри, заполненную клейким желтоватым раствором. Влажные страницы становятся эластичными. Затем он пинцетом снимает их со стекла и приклеивает к отдельному листу бумаги.

— Можно? — Дверь открывается, и на пороге появляется девочка.

— Конечно, пожалуйста...

Она подходит к столу, садится напротив Ларсена, молчит.

— Странная мысль пришла мне сегодня, — Ларсен улыбнулся. — А что если из этих уцелевших страниц составить книгу и назвать ее... Ну, скажем, «Диалоги»... Как ты думаешь?

Девочка чуть пожимает плечами.

— Вот смотри, — Ларсен разложил стекла перед собой. — Это было написано в Индии, почти век назад: «Нет! Не в твоей власти превратить почку в цветок! Сорви почку и разверни ее — ты не в силах заставить ее распуститься. Твое прикосновение загрязнит ее, ты разорвешь лепестки на части и рассеешь их в пыли, но не будет красок, не будет аромата. Ах! Не в твоей власти превратить почку в цветок...»

— Дальше можно поставить вот это, — Ларсен берет стекло с приклеенной страницей. — Это замечательная книга... Одна из лучших... Ее написали в России, чуть больше века назад: «Нет ничего обиднее и несноснее, как погибнуть от случая, который мог быть и не быть, от несчастного скопления обстоятельств,

которые могли пройти мимо, как облака...— Ларсен оглядывает комнату, размышляя о чем-то.— Как облака...

— Вам не холодно? — вдруг спрашивает девочка.

— Нет, пожалуй.

— А мне что-то холодно,— говорит она, зябко проводя ладонями по плечам.

Ларсен внимательно смотрит на нее. Девочка опускает глаза.

— Мне все время кажется, что они не живые,— говорит она совсем тихо.— Сидят, не шелохнутся. Молчат... Спросишь — не отвечают... Я боюсь их...

— Ну что ты говоришь! — Ларсен гладит ее по руке.— Это пройдет. Вот увидишь... Это шок. Он может тянуться довольно долго. Надо ждать.

Ларсен снова принимается за работу. Девочка следит за его движениями, но чувствуется, что ей по-прежнему неспокойно.

— Почитайте мне еще что-нибудь,— просит она.

Ларсен берет стекло с приклеенной страницей.

— Нет, не это,— торопливо говорит девочка.

Ларсен удивленно смотрит на нее, пытаясь поймать ее взгляд, но она снова опускает голову.

— Вы помните ту книгу,— смущается девочка,— которую Анна читала... Вернее, вы ей читали оттуда... Она все время просила... — Зачем тебе это? — тихо спрашивает Ларсен.

— Я прошу вас,— говорит девочка, не поднимая головы.— Пожалуйста...

Ларсен подходит к шкафу, достает книгу, возвращается к столу, садится. Долго листает ее, размышляя о чем-то, затем поднимает глаза. Девочка беззвучно плачет.

— Ты... Заболела?

Девочка судорожно кивает. Затем опрометью выскакивает и закрывает дверь. Через мгновение из соседней комнаты доносятся приглушенные всхлипывания.

Ларсен выходит в полутьму холла, достает из шкафчика автоклава ампулу. Направляясь обратно, останавливается возле приоткрытой двери в комнату Тешеров.

Там, в полутьме, видны дети. Одетые, они сидят на кроватях, глядя куда-то перед собой, как манекены. Ларсен открывает дверь. Дети одновременно поворачивают головы, смотрят на него.

— Надо спать, поздно уже.— Ларсен старается говорить как можно мягче.

Дети молча смотрят на него. Ларсен стоит, не зная, что сказать им, затем уходит. Дети смотрят ему вслед.

В развалинах сумеречно. Крупные хлопья снега скользят в порывах серого ветра. Дети ходят среди развалин, собирают обугленные щепки, дощечки, складывают их на большой железный лист, лежащий возле ног Ларсена. Он сидит, устало привалившись к стене.

Неподалеку мальчик — постарше и повыше других детей — ходит среди обугленных вещей разрушенного дома, останавливается возле каждой, подолгу рассматривает ее. Потом он зачерпывает снег рукой, подносит к противогазу. Снег — влажный, ломкий. Он мнет его в руке, словно пытаясь почувствовать его запах. Другие дети удивленно смотрят на него, затем начинают повторять его движения — собирают рыхлые комья, подносят их к лицу.

Ларсен тяжело встает.

— Идемте,— громко говорит он.— Нам хватит. Идемте...

Он цепляет металлическом прутком лист железа, волочит его за собой. Выйдя из развалин, оглядывается, ждет. Дети стоят, смотрят на него, будто не понимая, чего он хочет от них. Старший мальчик отбрасывает снег, что-то говорит детям. Вереницей они выходят из развалин и идут следом за Ларсеном.

В большой комнате за длинным деревянным столом сидят дети. Ларсен разливает чай. Видно, что он совсем плох и ходит с трудом. Лица детей по-прежнему абсолютно безучастны — отхлебнут, поставят чашки, посидят, отхлебнут снова.

— В этот вечер,— говорит Ларсен мягко,— люди всегда старались порадовать друг друга. Сделать подарок, угостить чем-нибудь или просто посидеть в тепле и поговорить.— Он помолчал.— А вечером все выходили на улицу и ждали, когда появится первая звезда. Помните? Тот, кто видел ее, был счастлив, и все желания его сбывались... Мы непременно пойдем сегодня ждать первую звезду. Правда?

Дети молчат, размеренно пьют. Непонятно, слышат ли они его.

— Вот и снег пошел...— замечает Ларсен грустно.— В этот день всегда идет снег... Ну что? Принесем елку, а?

Он тяжело поднимается, идет к двери в соседнюю комнату.

Дети молча поворачивают головы ему вслед, но продолжают сидеть. Ларсен возвращается, неся большой лист картона, на котором зеленой краской нарисована елка. Он ставит картон в конце стола, прислоняя его к стене.

— Теперь надо ее нарядить. Как же мы будем ее наряжать?

Дети переводят взгляд с елки на Ларсена, словно пытаясь понять, чего от них требуют.

— Что ж это мы, совсем забыли про игрушки,— спохватывается Ларсен.— Сейчас поищем что-нибудь... Ну, давайте придумаем игрушки!

Ларсен достает из кармана две звездочки, вырезанные из крышек от консервных банок. Прикрепляет их к картону.

Дети встают, подходят ближе. Только старший мальчик продолжает сидеть, демонстративно отвернувшись.

Мальчик с родинкой на щеке вдруг отрывает от своей курточки последнюю уцелевшую пуговицу и протягивает ее Ларсену.

— Умница! — восклицает тот.— Замечательная пуговица! Посмотрите, какую красивую игрушку нам подарил!

Мальчик чуть-чуть, едва заметно улыбается.

Ларсен достает из кармана булавку и, зацепив пуговицу, прикалывает ее к картону.

Мальчик, оторвавший пуговицу, тщательно осматривает свою одежду, но больше ничего не может найти. Другие дети следуют его примеру, но не находят ничего подходящего. Тогда Ларсен достает большой блестящий шпиль, сделанный из скрученных консервных банок, надевает его на верхний край картона, прямо над верхушкой нарисованной елки.

— Смотрите,— говорит он,— у нас совсем настоящая елка! А теперь мы будем сидеть в тепле и разговаривать. Нам надо сегодня все решить, правда? Сегодня у нас очень важный день.

Он садится за стол. Дети смотрят на него и тоже садятся.

— С утра идет снег. Он чистый, не активный, я вечером снова замерил.— Ларсен внимательно и тревожно глядится в лица детей: понимают ли они его? — К тому же, фон сильно упал за последние дни. Ведь вы знаете, что такое радиоактивный фон... Все это может означать только одно — война не началась. Понимаете?.. Это доказательство. Прекрасное, замечательное доказательство того, что мир не погиб... Мы с вами, конечно, не знаем, какой он, этот мир, сегодня, что

происходит там. Но можно надеяться на лучшее, правда?.. Я думаю, нужно собраться сегодня вечером и утром снова идти. Осталось совсем немного. Всего один день пути. Ведь мы уже почти подошли к Южной косе... Но вам теперь придется идти самим. Вы понимаете, почему... Я думаю, вы справитесь... Я уверен.

Дети поворачивают головы к старшему мальчику.

— Мы никуда не пойдем,— говорит он.

Ларсен вздрагивает от неожиданности. Он впервые слышит ответ на свои слова. Впервые за последние дни.

— Здесь уже все кончилось и больше не повторится,— продолжает мальчик.— А там еще только начнется. Не завтра, так через месяц. Мы знали, что фон упал еще неделю назад. Мы замеряли... Но только это ничего не меняет.

— Что ты говоришь? Нет! Ты не прав. Ты просто повторил сейчас то, что говорили в центральном бункере! Они считали, что война начнется с минуты на минуту. Но видите, прошло две недели, а этого не случилось. Они просчитались, как и те, кто изолировал остров и хотел начать войну. Она не началась. Значит, все очень просто — раз не смогли победить те, кто хотел войны, значит, победили те, кто против войны, кто боролся за мир! И я думаю, это уже произошло или происходит сейчас, в эти дни. Я просто вижу, как тысячи... Да, тысячи! Миллионы людей во всем мире сейчас вышли на улицы! Они уже не отступят, они добьются того, чтобы любое оружие было запрещено навеки, во всех странах! Я уверен, я убежден, что началось всеобщее разоружение. Иначе быть не может! Поймите, есть какой-то предел веры в плохое... Больше уже нельзя. Пора поверить в хорошее. Ну как вам объяснить... Вот представьте... Ночь, темная, тревожная, но она ведь должна когда-нибудь кончиться. И неизбежно должно наступить утро! Понимаете? Сейчас, в эти дни, может быть, кончается ночь человечества, начинается новая, прекрасная история! Мир может быть другим! Я верю в это! Веками люди мечтали о таком мире, и должны же когда-то начать сбываться эти мечты! Шесть тысяч лет нашей истории — это очень мало. Впереди еще тысячелетия подлинного расцвета. Только единицы пока поднялись на те вершины духа, на которые должен, обязан подняться каждый! Запомните: каждый! Я верю в человека! Верю, что он

может быть прекрасным, гармоничным, добрым. Что мир может быть добрым и справедливым, без угнетения и надругательства над достоинством человека. Это будет замечательный мир, в котором никогда уже не будет войны, не будет жестокости и голода, ненависти и насилия. Это будет мир свободных, прекрасных людей, достойных того могущества, которое откроется разуму человека. Я верю в такой мир! Идите!.. И вы увидите его, обязательно увидите!

Ларсен умолк, перевел дыхание, затем с тревогой посмотрел на детей.

— Почему вы молчите? — с отчаянием прошептал он. — Вы что, не верите мне? Ответьте!

Дети посмотрели на старшего мальчика.

— Все взрослые врут, — зло сказал тот. — И ты врешь. Очень красиво врешь! Только зачем, а? — Он помолчал, торжествуя глядя на растерянных товарищей. — А вот зачем! У нас осталось очень мало продуктов. И если мы уйдем, ему как раз хватит. То-то он так старается...

Ларсен, задыхаясь, словно ему не хватает воздуха, пытается произнести что-то, но не может, только нелепо размахивает руками.

— Ты смеешь мне говорить такое? — наконец произносит он, поворачивается и идет к выходу.

Ларсен сидит в развалинах, прислонившись к стене. Идет снег, покрывая его голову, руки, одежду. Неподдалеку, за его спиной, темнеют фигурки детей. Они смотрят на Ларсена, но не подходят. Ларсен поднимает голову, смотрит вверх. Дети повторяют его движение, тоже поднимают головы.

Сквозь сгоревшие перекрытия видна часть неба. Там одиноко сияет далекая звезда.

Ночь. Ларсен, одетый, лежит на постели. Он тяжело дышит. Ему виден потолок бункера, трещины, сквозь которые сыплется песок.

Слышны осторожные шаги. Мальчик с родинкой на щеке подходит к постели, садится на край. В полутьме комнаты видны за его спиной лица других детей.

— Ты умрешь скоро? — спрашивает мальчик.

— Похоже на это...

— Я тогда подожду... Когда ты начнешь умирать...

— Зачем тебе? — вздрогнув, спрашивает Ларсен.

— Я хочу тебе задать вопрос.

— Спроси сейчас.

— Нет. — Мальчик смотрит испытующе на Ларсена. — Я знаю... Человек всю жизнь врёт, но перед смертью говорит правду... Я подожду...

— Послушай, я очень скоро умру, я чувствую. Лучше спрашивай сейчас...

Мальчик оглядывается на детей. Они кивают. Тогда он поворачивается к Ларсену:

— Ты правду сказал сегодня?

— Да, — выдыхает Ларсен.

— Я... хочу увидеть такой мир, о котором ты говорил, — доносится из полутьмы голос другого мальчика. — Ведь у нас, у меня... — Он замаялся. — Есть еще время?

— Есть, — говорит Ларсен. — Идите! Вы непременно увидите его. Я верю в это!

По обожженной земле, покрытой снегом и пеплом, идут дети, тесно сбившись в небольшую колонну. В снежной пелене, в порывах жестокого ветра мелькают их лица. Они решительны и серьезны. Они идут, утопая в снегу, обходят горы вздыбленной земли и обугленные руины. Они идут, и ничто их теперь не может остановить.

С высокого холма, на который поднялись дети, сразу открылась Южная коса: санитарные машины, вертолеты, флажки ООН и Красного Креста.

Дети стоят и смотрят вниз на бегущих к ним людей, на поспешно разворачивающиеся машины. Но впереди всех бежит высокий человек, на ходу сдернувший противогаз, мешающий ему. За ним, едва поспевая, еще один — грузный, немолодой.

— Спроси про Ларсена, — кричит он вслед высокому. — Может, они знают...

Ларсен очнулся в вертолете, когда земля начала удаляться и открылось яркое утреннее солнце, встающее из-за облаков. Он увидел постаревшее лицо Ульфа над собой. Ларсен чуть шевельнул губами.

Ульф тут же склонился над ним.

— Ты не знаешь, случайно, — с трудом произнес Ларсен. — Почему... так называется... наша планета... Земля?

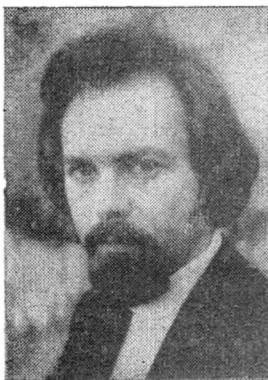
— Все хорошо, все хорошо, Ларсен, — улы-

баясь, сказал Ульф, не расслышав сказанное за гулом мотора.— В мире потрясающие перемены! Ты даже представить себе не можешь...

Ларсен чуть повернул голову. Сквозь иллюминатор видны солнечные лучи, идущие

полосами из легких белых облаков. За ними открывалась бесконечная голубизна утреннего неба.

— Земля,— прошептал Ларсен и улыбнулся: — Наша Земля...



КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ ЛОПУШАНСКИЙ (родился в 1947 году) окончил консерваторию, кандидат искусствоведения. В 1979 окончил Высшие режиссерские курсы Госкино СССР. Дебютировал короткометражным художественным фильмом «Соло» (сценарий написан в соавторстве с А. Шульгиной), получившим призы на ряде международных кинофестивалей.

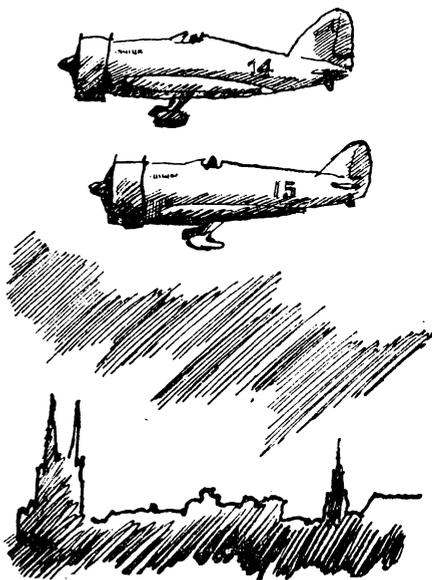


ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ РЫБАКОВ (родился в 1954 году) окончил факультет востоковедения Ленинградского университета, кандидат исторических наук. Автор ряда фантастических рассказов, опубликованных в периодической печати и сборниках научной фантастики.

Фильм в жанре фантастики по сценарию «На исходе ночи» ставит режиссер Константин Лопушанский на киностудии «Ленфильм».

**ВАЛЕНТИН
ЧЕРНЫХ
АНДРЕЙ
МАЛЮКОВ**

ДОГОВОР С СУДЬБОЙ



Мчался поезд. В окнах мелькали уже сжатые поля.

В вагоне было много военных в высоких званиях: ромбы и шпалы в петлицах — возвращались в Москву после осенних маневров в Белоруссии.

В купе сидели комбриг Дорофей Петрович Лаптев и подполковник Шандор Солонтай. Как старшие по званию они занимали нижние полки, на верхних размещались лейтенанты — танкисты Петр Лаптев и Иван Чумаков.

Солонтай выглянул в окно, посмотрел на часы.

— Через десять минут будем в Смоленске, — с легким акцентом сказал он. — Товарищи младшие командиры, приказываю обеспечить старший начсостав пивом, воблой, солеными огурцами, а также проявить личную инициативу в зависимости от наличия продуктов в станционных буфетах.

Петр Лаптев и Чумаков спрыгнули с верхних полок, натянули сапоги.

— Товарищ комбриг, — сказал Чумаков, — зачем воблу? Можно что-нибудь поделикатнее. Балычку, например.

— Ты, фендрик, — весело сказал Солонтай. — Вобла спасла Советскую власть. Ее уважать надо.

— Шандор, — вмешался Дорофей Петрович. — Ну что ты говоришь при младших командирах? Как можно?

— А ты что ж, забыл, как на одной вобле жили?

— При чем тут вобла? Не воблой воевали.

— Я понимаю, — не сдавался Шандор, — и марксистская теория, и наши доблестные кавалерийские войска... Но и воблу тоже нельзя сбрасывать со счетов. Без нее сил не было бы.

— Ой, — сказал комбриг, — говоришь ты всегда чуть-чуть лишку. Чувство меры должно быть. Нельзя смешивать божий дар с яичницей. Революцию и воблу...

— Нехорошо, товарищ комбриг, нехорошо, — сказал с хитрой улыбкой Солонтай. — Нехорошо и даже неприлично.

— Ты чего? — удивился Дорофей Петрович.

— Я не про яичницу. Я про дату. Это событие не только в вашей личной жизни, но и для всей Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

— Ты, что ли, проболтался, отпрыск? — повернулся комбриг к Петру Лаптеву.

— Неправильно формулируешь, — возразил, улыбаясь, тот.

В купе отмечали юбилей комбрига Лаптева. Говорил Солонтай:

— Дорогой Дорофей Петрович. Вы тридцать один год в партии, двадцать два года в армии. Вы совершали революцию, участво-

вали в двух войнах, награждены боевыми орденами и личным оружием. Вы участвуете в строительстве самой замечательной и непобедимой армии в мире как ответственный работник наркомата обороны. За вас, товарищ комбриг, за ваши пятьдесят!

Командиры выпили стоя.

— Спасибо,— сказал растроганный комбриг Лаптев.— Вроде бы пятьдесят— это много. Но Суворов в мои годы ходил через Альпы. И у меня рука еще твердая, и если потренируется, она будет держать шашку, как держала в империалистическую и гражданскую.

— Ну, я думаю, шашки скоро будут носить только на парадах,— сказал Солонтай.— Немцы предельно сокращают кавалерию. Главный упор на танки и авиацию.

— Кавалерия была и будет одним из главных родов войск,— непримиримо возразил комбриг Лаптев.— Да и кавалерия уже не та, что была в гражданскую. Ей приданы артиллерия, танки. Мы проанализировали состоявшиеся маневры. Я бы их назвал генеральной репетицией возможного отражения, если на нас попытаются напасть. И маневры доказали, что враг будет разбит и уничтожен. Я старый солдат, и у меня выступили слезы, когда я видел всю эту мощь. Сотни танков шли в атаку, прекрасных танков, которых у нас еще не было даже пять лет назад.

— А что скажут танкисты?— спросил Солонтай.

— Товарищ комбриг абсолютно прав,— подтвердил Чумаков.

Лаптев-младший промолчал.

— Техник-лейтенант, я бы хотел знать и вашу точку зрения,— упорствовал Солонтай.

— Последние модели танков хорошие,— ответил спокойно Лаптев-младший.— Но, как показали маневры, моторесурс их еще невысок. Экипажи плохо знают матчасть. Очень много танков выходило из строя. Болота танки преодолевали с трудом. Форсирование рек практически не удалось. Через Березину только четыре полноценных моста. А если их разбомбят?

— Разбомбят обязательно,— подтвердил Солонтай.— И какой же ваш вывод, техник-лейтенант?

— Если война начнется завтра, для нас она будет тяжелой.

— А он стратег,— сказал Солонтай.

— Он молодой дурак,— ответил комбриг.— И паникер! Поломалось несколько машин! То же мне беда. На то она и техника, чтобы

ломаться. Все! Как старший по званию я прекращаю эти разговоры.

На улицах Берлина проходили соревнования велосипедистов. Фриц Шнайдер шел в середине группы, не вырываясь вперед, но и не отставая. Наконец лидирующая группа выехала на финишную прямую. Перед самым финишем он резко рванул в сторону, обошел сразу троих, приблизился к лидеру. Затем обогнал и его и пришел к финишу первым. Толпа болельщиков, неистово махая флажками со свастикой, приветствовала его громкими криками.

— Молодец!— сказал тренер.— Очень хороший результат. Запомни: тренировки, здоровая физиология— и ты претендент в сборную Германии. И на следующие Олимпийские игры...

Договорить тренер не успел. К ним подошли несколько офицеров в летной парадной форме. Один из них хлопнул Фрица по плечу и громко сказал:

— Познакомьтесь, ребята, это мой брат Фридрих Шнайдер.

— Рад познакомиться,— сказал один из офицеров.— Молодец брат твой, молодец! Он пропагандирует главную идею в воспитании: немецкая молодежь должна быть выносливой, здоровой и крепкой. Я предлагаю взять нынешнего чемпиона с собой.

Все одобрительно загалдели, но Фриц сказал:

— Мне нужен душ и массаж, я не могу нарушать дисциплину.

— Ничего,— сказал Курт.— Мы тебя подвезем и подождем.

Фриц лежал на массажной кушетке. Неподалеку прохаживался Курт, ожидая брата.

Сильные пальцы массажистки разминали мышцы ног Фрица. Курт заинтересовано оглядывал ее плотную ладную фигуру.

— Когда ты уезжаешь?— спросил Фриц.

— Сегодня вечером,— ответил Курт.— Я думаю, это не надолго.

Массажистка закончила работу. Фриц поднялся с кушетки.

— Одевайся,— сказал ему Курт.— Я тебя жду.

Фриц скрылся за дверью.

Курт подошел к Маргрет, хлопнул ее по заду и сказал:

— Ты что делаешь сегодня вечером?

Девушка посмотрела на него внимательным долгим взглядом.

— Ничего. Но я слышала, что ты уезжаешь сегодня.

— Уезжаю,— сказал Курт,— но еще есть время.

— Нет, я в этом деле не люблю торопиться. Вернешься, найдешь меня.

— А как тебя зовут? — спросил Курт.

— Маргрет.

— А меня Курт... Слушай, а может, нам и не надо вечером, может, прямо здесь?

Он обнял Маргрет, привлек ее к себе и шагнул к кушетке.

И в ту же секунду массажистка легко оторвала его от пола, положила на кушетку и, засмеявшись, отошла в сторону.

— Вот это хватка! — воскликнул Курт. — Ты прекрасна. Я от тебя без ума. Маргрет, я тебе торжественно обещаю, что как только я вернусь, я тебя разыщу.

Стоял теплый осенний день. На одном из берлинских озер в лодках катались отдыхающие. Это были в основном офицеры со своими дамами, но иногда в лодках можно было разглядеть и добропорядочных берлинских бюргеров.

На нижней террасе летнего ресторана на берегу озера закатали прощальный обед летчики люфтваффе, среди которых были Фриц и Курт. Оркестр наигрывал новомодную, ставшую сразу популярной «розамунду».

Один из лейтенантов, сидевших неподалеку от Курта Шнайдера, спросил:

— А кто знает, какая там в Испании погода?

— Значит, все-таки Испания,— сказал Фриц брату.

— Ну и что? — ответил Курт. — Все будет в порядке. Мы там долго не задержимся. Мне как летчику эта работа полезна для тренажа.

— А ты радио слушаешь? — спросил Фриц. — Ты хоть понимаешь, во что ты влезает?

— Я все понимаю.

— А тебе ясно,— продолжал Фриц,— что это нехорошо — выступать на стороне мятежников против законного правительства республики.

— Но я ведь еду туда по решению законного правительства своей родины, по приказу фюрера,— наклонившись к брату, возразил Курт и, помолчав, добавил: — Ты, наверное, забыл, как наши родители сидели без работы. Теперь у нас есть свой дом, у отца есть ра-

бота, есть все. Благодаря фюреру в нашем государстве лейтенант вновь стал значить больше, чем камергер. Ну, а если говорить об Испании, то не стоит болтать на эту тему.

— Там ведь стреляют,— сказал Фриц.

Его слова услышал капитан, сидевший напротив, и захохотал:

— Из охотничьих дробовиков!

— Говорят, там есть русские самолеты,— сказал Фриц.

— Россия всегда экспортировала хороший лес. Русская фанера отлично горит,— парировал капитан.

Машинка с Куртом, Фрицем и еще двумя офицерами летчиками подкатила к вокзалу.

Возле состава с пассажирскими вагонами было шумно и весело. На соседней платформе стоял состав, груженный танками, орудиями, бронемашинами.

Братья обнялись. Моложавый полковник отдал приказ, и офицеры направились в вагоны: летчики, танкисты, моряки. Их было много. Фриц стоял в стороне и молча наблюдал за происходящим.

Маленький буксир медленно поднимался вверх по Шпрее. Река мерно текла мимо аккуратных, частью убранных, а частью еще желтевших полей. Скоро начались пригороды, и по берегам потянулись пакгаузы и склады.

К леерному ограждению палубы буксира был привязан велосипед. Фриц, механик и еще двое парней пристроились на юте. Фриц объяснял, механик внимательно слушал.

— Пойдем на велосипедах. Это не привлечет внимания — я ведь известный гонщик. — Заметив усмешку механика, упрямо добавил: — Вы можете смеяться, но это так.

— В воскресенье вечером вы будете на границе. В отеле «Шварцберг», — сказал механик. — Вас встретит проводник.

— Как он меня узнает?

— Ты же известный гонщик, — съязвил механик. — Ночью вас переведут. На той стороне будут ждать французские товарищи.

Борт буксира коснулся маленькой пристани.

Трое парней крутили педали велосипедов на одной из автострад центральной Германии. Вдоль шоссе тянулась железная дорога. По ней, победно гудя, промчался состав с вагонами, заполненными солдатами зермахта. На платформах стояли танки и пушки.

Парни посмотрели вслед составу и еще быстрее закрутили педали.

Была золотая подмосковная осень 1936 года. На даче комбрига Лаптева хозяин вместе с Шандором Солонтаем сгребали сухие листья. Потом листья подожгли и мужчины уселись у костра. Женщины накрывали к чаю тут же, в саду. Самый младший из Лаптевых, пятнадцатилетний Виктор, пытался раздуть самовар.

Анна Александровна — жена Лаптева — и их семнадцатилетняя дочь Ольга хлопотали у стола. Жена Солонтая Любовь Петровна перебирала на веранде пластинки. Наконец выбрала, и в прозрачном осеннем Подмосковье зазвучало знойное аргентинское танго.

— Мать,— спросила Ольга,— а дядя Солонтай настоящий венгр?

— А что, разве есть не настоящие венгры?

— И вправду дурацкий вопрос,— сказала Ольга.— А почему он живет не в Венгрии?

— Его там приговорили к смертной казни. Они же в Венгрии тоже советскую власть установили. В девятнадцатом году. Но Венгерскую революцию задушили. Он у папы служил командиром эскадрона, а потом стал летчиком. Ты же знаешь, кавалеристы самые храбрые бойцы, поэтому у нас все лучшие летчики из кавалеристов.

— А почему тогда папа не стал летчиком?

— Его не отпустили,— сказала мать.

— Так,— сказала Ольга.— Мы русские, Солонтай венгр, Лиляна — болгарка. В общем, пролетарии всех стран уже соединились. Петька на ней когда женится?

— Об этом еще рано говорить.

— В самый раз,— сказала Ольга.— Видишь, и сюда пригласил.

— Но они же товарищи,— возразила Анна Александровна.— Они вместе учились в академии. А тебе я советую поменьше им мешать.

— А им помешать невозможно. Как что, так уединяются.

..Лиляна и Петр Лаптев шли по берегу реки.

— Лиля,— сказал Петр.— У нас учения, я должен буду уехать через месяц на три.

— Учений по три месяца не бывает, не заливай мне баки.

— Что за выражения! Откуда ты их набралась?

— От механиков... Ты что, от меня сбежать хочешь? Так я тебя всюду отыщу. Запомни.

— Искать меня не надо. Но где я буду,

я не могу тебе сказать. Это и вправду военная тайна...

— Чай готов! — крикнула Анна Александровна.

Все начали рассаживаться за столом.

— Одну минуту,— сказала Ольга. Она стояла на ступеньках веранды и держала в руках фотоаппарат.— Нет, очень статично. Прошу всех поднять стаканы.

— Чокагься чаем? — удивился комбриг Лаптев.— Это не по-русски.

Он достал бутылку вина, разлил по рюмкам. Все чокнулись и на мгновение застыли.

Так они и запечатлелись, молодые, улыбающиеся. Через много лет этот снимок станет одним из самых дорогих в коллекции фотографий Ольги.

Лиляна подошла к зданию Коминтерна. Она была в форме командира Красной Армии, с двумя кубиками в петлицах.

В коридорах Коминтерна слышалась разноязыкая речь — польская, французская, немецкая... У дверей кабинетов, на стульях ждали своей очереди молодые мужчины. Лиляна подошла к одной из очередей. Плотный темноволосый парень поднялся, уступая ей место.

— Спасибо,— сказала Лиляна по-русски и села.

Парни говорили по-болгарски.

— Я знаю точно, есть такое распоряжение: брать только тех, кто имеет военную подготовку.

— Хорошо,— сказал другой.— Я не имею, но зато я умею водить автомобиль. Там же должен кто-нибудь водить автомобиль.

— Вот если бы ты умел водить танк...— Парень покосился на Лиляну и усмехнулся: — Раньше в Красной Армии были только летчицы, а теперь, гляди, есть и танкистки.

— Но на флот их не пустят. Женщина на корабле приносит несчастье. И вообще: женщина-офицер не для меня. Я бы на такой никогда не женился.

— А я бы за такого болтуна никогда замуж и не пошла бы,— по-болгарски ответила Лиляна.

Пораженные парни замолчали. И тут из кабинета, улыбаясь, вышел их товарищ и гордо сообщил:

— Еду! Пусть заходит следующий.

Поднялась Лиляна:

— Я надеюсь, вы пропустите даму? — И, не дожидаясь ответа, прошла в кабинет,

За столом сидел пожилой мужчина. Он несколько секунд молча рассматривал Лиляну, потом встал, взял ее за руку и повел к двери.

— Дома поговорим,— сказал он.— Мне сейчас некогда.

— Я к тебе пришла вполне официально, и ты должен меня выслушать. Я подала рапорт, и мне отказали.

— Ты командир Красной Армии и обязана подчиняться приказам командования. К Коминтерну ты не имеешь никакого отношения.

— Зато ты имеешь отношение. С тобой на-верняка посоветовались.

— Посоветовались,— признался Станев.

— Значит, таким способом ты оберегаешь свою дочь. Но ведь если начнется война, я как командир буду в первых рядах.

— Но война пока не началась.

— Началась. Я все равно туда поеду.

— Никуда ты не поедешь,— сказал Станев.— И ничего ты не сделаешь.

— Сделаю,— сказала Лиляна.— Сейчас я пойду к товарищу Димитрову и пожалуюсь на тебя. А потом пойду к товарищу Ворошилову. Он мне разрешил поступить в академию, разрешит поехать и в Испанию.

Петр Лаптев вошел во внутренний двор здания. Навстречу ему из дверей вышли пятеро рослых парней в одинаковых серых костюмах, коричневых ботинках, клетчатых галстуках, зеленых широкополых шляпах, с одинаковыми рыжими фибровыми чемоданами. Одного из них Петр узнал.

— Чумаков! — позвал он.— Здорово!

— Привет, Лаптев!

— Значит, туда?

— Куда это — туда? — насторожился бдительный Чумаков.— Мы в отпуск.

— Ну, тогда счастливого отдыха,— сказал Лаптев и распахнул дверь.

...На стеллаже висели точно такие же серые костюмы, возле стенки стояли такие же фибровые чемоданы. Распоряжалась всем этим молодая женщина. Перед ней стоял парень в кальсонах и рубаше. Женщина бросила ему шелковые трусы и майку.

— Нижнее чистое,— сказал парень.— Вчера в бане был.

— Ты что, в военоторговских кальсонах в Европу собираешься? — спросил Лаптев.

— Тоже верно,— согласился парень. Он собрал в охапку костюм, чемодан, надел на голову шляпу и пошел переодеваться в другую комнату,

— Ну, а ты что? — спросила женщина Лаптева.

— А я в это одеваться не буду,— сказал Петр.

— Другого все равно нет.

— Тогда я хотел бы поговорить со старшим.

— Пойдем,— сказала женщина...

...Лаптев вместе с майором интендантской службы пил чай с сушками.

— Значит, в Европе сейчас носят брюки на три сантиметра уже? — переспросил интендант.

— Да,— сказал Петр.

— И галстук в тон к носкам?

— Так точно.

— А откуда ты знаешь? Ты что, в Европе бывал? ...

— В Европе еще не бывал,— ответил Петр,— но смотрю фильмы, журналы.

— Из кино, стало быть, знаешь? — обрадовался майор.— Так кино показывает не то что есть, а то, что должно быть или будет в ближайшем будущем. Так что надевай одежонку и топай.

— Не надену,— твердо стоял на своем Петр.— Нам, между прочим, через пять стран пробираться, а в таких костюмах нас будут узнавать, как будто мы в форме.

— Знаешь что,— сказал майор,— у меня склад, а не «Торгсин». Доложу по начальству, но предупреждаю — за такую строптивость не поощрят. Можешь и совсем не поехать. Какое решение принимаешь?

— Не надену! — сказал Петр.

Лаптев сидел в приемной и через неплотно прикрытую дверь слышал разговор. Кто-то зачитывал его анкету:

— «Лаптев, Петр Дорофеевич, тысяча девятьсот четырнадцатого года рождения, русский, из рабочих, член ВКП(б), образование высшее, учился в автотранспортном институте, был переведен в бронетанковую академию, которую окончил с отличием, воинское звание: техник-лейтенант... Не был, не привлекался, не имеет, владеет польским, болгарским, немецким... По-моему, сомнительно. В двадцать два года — три языка, а гимназий ведь никаких не кончал. Уже устроил один скандал на складе вещевого довольствия — не понравилась одежда... Советую присмотреться очень внимательно.

— Простите,— возразил другой голос.— Но он сын комбрига Лаптева, человека уважаемого в Красной Армии.

— Заслуги отца на сына не распространяются... Давайте приглашать.

Послышались шаги, и дверь распахнулась.

За столом сидела комиссия. Лаптев щелкнул каблуками, отрапортовал:

— Техник-лейтенант Лаптев, прибыл по вашему приказанию.

— Откуда вы знаете польский язык, а также немецкий и болгарский? — спросил мужчина в штатском.

— Я думаю, в данной ситуации важнее, насколько я знаю языки, а не от кого.

— И все-таки,— настаивал мужчина.

— Я жил в общежитии академии, в которой учился мой отец. Вместе с моим отцом учились немецкие, польские, болгарские товарищи. Я дружил с их детьми. Говорят, у меня есть способности к языкам.

— Ответ исчерпывающий, — сказал военный.— Прошу учесть, что нас особенно интересует знание польского языка товарищем Лаптевым, поскольку он едет как польский турист по северному маршруту, через скандинавские страны.

И тут вступила в разговор женщина.

— Если пана не затруднит, расскажите нам, кто вы? — сказала она по-польски.— Откуда родом? Кто ваши родители? Какова ваша профессия?

— Я,— начал Лаптев по-польски,— Юзеф Радзиминский, родился в местечке Здубамово, там же закончил гимназию, работаю инженером-механиком на сахарном заводе. Мои родители...

Проснувшись утром, Ежи Ярецкий с удивлением обнаружил лежащую рядом женщину. Ярецкий молча оделся, достал бумажник, он был пуст.

— Иди, иди,— открыла глаза женщина.— Ты вчера расплатился.

— Я не передал? — осторожно спросил Ежи.

— Нет. В самый раз.

Ярецкий вышел в коридор. Из дверей выходили мужчины и, отворачиваясь друг от друга, торопились выйти на улицу.

Ежи шел по кривой улочке портового города. Остановился около водопроводной колонки, из ладони напился. Достал карманные часы и заспешил. Мимо шел трамвай, он бросился было к остановке, но хлопнул себя по карману и пошел пешком.

В маленькой лавчонке он снял с себя паль-

то, шляпу, часы с цепочкой, положил на прилавок. Хозяин отсчитал несколько кредиток и, добавив мелочь, протянул Ежи.

— Это все? — удивился Ярецкий.

— Этого даже много.— Хозяин забрал мелочь обратно.

Ежи отодвинул кредитки. Надел пальто, шляпу, взял часы и поманил пальцем хозяина. Тот опасливо приблизился. Ярецкий ухватил его за нос, подтянул к себе и сказал:

— Придет время, все реквизируем!

— Сволочь! — закричал хозяин.— Я тебя запомню.

— Я тебя гоже,— пообещал Ярецкий.

Ежи шел мимо уже открывшихся лавочек, кафе. Местные буржуа пили кофе, читали газеты. Потом его внимание привлекла витрина с ювелирными украшениями. Под одной из брошек стояла табличка: «5000». Зашел в магазин. Хозяин занимался покупательницей. Ярецкий еще раз посмотрел на брошь, пробуя, постучал пальцем по витринному стеклу, взглянул на массивную хрустальную пепельницу, куда клиентка стряхивала пепел с длинной папироски. Потом посмотрел на дверь, на ступени...

— Пан покупает? — подошел к нему хозяин.

Ярецкий посмотрел в окно. Хозяин усмехнулся.

— Молодой человек, вы еще очень неопытны в этих играх, у меня такие штучки не продают. Или вы уходите или я зову полицию...

Ярецкий молча вышел из магазина.

Вскоре он оказался возле дома, из которого вышел утром.

Ежи прошел по коридору, нашел нужную дверь, открыл. Женщина еще спала. Он потрогал ее за плечо, она открыла глаза.

— Слушай,— сказал Ярецкий.— Одолжи пять тысяч.

— Идиот,— сказала женщина.

— Я тебе сейчас все объясню.— Ярецкий сел на кровать.

— Только побыстрее, очень спать хочется.

— Понимаешь,— начал Ярецкий,— мне эти деньги дали, чтобы доехать до Франции. А вообще я еду воевать в Испанию, защищать Республику. Там идет война, Республика в опасности.

— Ты что, красный?

— В общем, да! — сказал Ярецкий, глядя в зеркало.— Хотя сейчас я скорее зеленый. Я запишу твой адрес, приеду — верну.

— Мотай отсюда,— сказала женщина.

— А это нехорошо.

Он осмотрелся, открыл коробочку на трельяже, заглянул в сумочку — везде было пусто. И тут женщина закричала. Она кричала, не переставая. Ярецкий посмотрел на нее и сел на стул. Женщина на несколько секунд замолчала, а потом закричала еще сильнее. Захлопали двери, в комнату вбежали полуодетые женщины. Ярецкий продолжал молча сидеть. Наконец в комнату вошла хозяйка заведения, женщина средних лет, с тщательно уложенной прической. Как только она вошла, владелица комнаты кричать перестала.

— В чем дело, Чеслава? — спросила женщина.

— Он грабитель.

— Неправда, — сказал Ярецкий. — Я хотел взять у нее в долг.

— Это одно и то же, — отрезала хозяйка заведения. — Вызывайте полицию!

— Не надо, — сказал Ежи. Он подошел к двери, закрыл ее на ключ и положил ключ в карман. — Отсюда никто не уйдет, пока я все не скажу. Прошу садиться.

— Они постоят, — сказала хозяйка. — Говори!

— Рабочие Варшавы, — начал Ежи, — собрали пять тысяч золотых и послали меня как представителя польского народа в Испанию, где, как вы все хорошо знаете, идет война в защиту Республики. Туда сейчас собираются лучшие представители всех стран и народов. Я, мадам, эти пять тысяч золотых оставил вчера в вашем заведении. Я честный человек и понимаю, что мужчина должен платить, и я не требую этих денег обратно. Но у меня положение безвыходное. Так получилось, что, кроме вас, у меня нет больше знакомых в Гданьске. Сегодня в Испании идет вооруженная схватка с фашизмом, люди гибнут за правое дело, а поляки всегда были там, где льется кровь за правое дело. Дорогие соотечественницы, польки, помогите поляку, потому что если фашизм не задушить на испанской земле, то он придет сюда. Если хотите знать, на всех немецких картах наш свободный Гданьск они уже назвали Данцигом, как будто он уже германский порт. Если я вернусь, я отдам пять тысяч золотых, могу дать и расписку. Если я погибну, то погибну, защищая и вас тоже.

И Ярецкий положил ключ на трельяж.

Женщины молчали.

— А стрелять-то ты умеешь? — спросила хозяйка.

— Капрал запаса тридцать второго уланского полка Ежи Ярецкий. — Он щелкнул каблуками.

— Ладно, — сказала хозяйка. — Девочки, пошли завтракать. А ты идешь с нами.

Ярецкий открыл дверь и галантно пропустил женщин вперед.

...Пароход отваливал от стенки. На причале хозяйка в окружении своих девушек махала Ежи Ярецкому платочком. А Ежи Ярецкий стоял у борта и, приложив два пальца к шляпе, по-армейски отдавал им честь.

Франтишек Незвал большими глотками допил кружку пива, облизнул усы и вышел на улицу.

Солнце над Братиславой слепило глаза. Франтишек приставил к глазам козырьком ладонь и, разглядев направляющегося к нему из глубины улицы худого паренька лет семнадцати, тихо выругался и зашел в противоположную сторону.

— Дядюшка Незвал! — вслед ему закричал паренек.

Франтишек прибавил шагу, но парнишка обогнал его.

— Дядюшка Незвал! Я все равно от вас не отстану! Пошлите меня в Испанию!

— Молод еще!

— Молод? А в партию меня приняли?

— А в партию приняли, чтобы ты рос сознательным борцом. Сознательным! Понял? — Франтишек хотел было обойти юношу, но тот не уступал. — Где же твоя сознательность? Комитет решил — нет! Значит, должен подчиниться. Пусти, Мирек! Не мешай, у меня дел много.

Но Мирослав Доусек не сдавался.

— Если вы меня не пошлете, сам убегу!

— Да нечего тебе там делать! Ты мастер по стульям, а там нужно уметь стрелять.

— А я умею!

— Не болтай!

— Ах, я болтаю? Ну ладно, пошли!

— Куда еще?

— Недалеко. За углом.

Мирек взял Франтишека за руку и потащил за собой.

Они подошли к тире на небольшой площади, где в этот обеденный час никого не было.

— Условие такое — нужно выбить сто очков пятью выстрелами. Если выиграю я, то еду в Испанию, если вы, то сделаю вам новое кресло. Идет?

Франтишек усмехнулся и пошел дальше, но Мирек загородил ему дорогу.

— Ну давайте попробуем, в худшем случае получите кресло! Красного дерева, обитое атласом! Бесплатно.

Незвал заколебался.

— Или дубовое, обитое кожей! На бронзовой клепке!

— Ну что ж, мастер ты добрый, а кресло мне пригодится,— проворчал Незвал и взял в руки пневматическую винтовку.

Зайцы давали по двадцать пять очков, призом являлся большой леденец. Бегущий по проволоке кабан — пятьдесят очков, приз — марципановый пирог. Сто очков давала обезьяна, которая мгновенно перелетала из одной кулисы в другую. За обезьяну полагалась бутылка сливовицы. Франтишек Незвал для пристрелки выбрал зайца и сразу же выбил 25 очков. Потом он выстрелил в кабана и промахнулся. Оставалось три заряда. Франтишек решил не рисковать и трижды выстрелил по зайцам — дважды попал, а раз промахнулся.

Мирек вскинул винтовку и выстрелил в обезьяну.

— Сто очков!

— Случайность,— проворчал Франтишек.

— Пожалуйста! — сказал Мирек и еще раз поразил обезьяну. Потом перезарядил ружье, попал и в кабана, и в обоих зайцев. — Триста! Забрав призы, они пошли дальше.

— Это вам! — сказал Мирек и протянул Незвалу две бутылки сливовицы. Выпейте за то, чтобы я так же метко стрелял в Испании.

— Ну, это еще, знаешь...

— Ничего не знаю! — прервал его Мирек.

— Ладно! — сказал Незвал. — Я попробую тебе помочь, но только ты мне скажи, где научился стрелять? Я четыре года на войне провел и то так не умею.

— В этом тире я два года работал, а вечерами тренировался!

— Как же тебя хозяин туда пускает? — опешил Незвал.

— А хозяин новый! Тот, старый, прогорел. — Мирек засмеялся.

На грузопассажирский пароход «Принцесса Елена» в порту Констанца шла посадка. Это была старая, почерневшая от времени, со следами ржавчины на бортах посудина, перевозящая скот и людей по Черному и Средиземному морям во Францию. У трапа скопилось большая очередь — в основном, мужчины с натруженными руками, в грубой одежде,

кто направлялись за границу на заработки. Пограничники, таможенники, сотрудники сигуранцы подгоняли людей, заставляли их открывать мешки, баулы, показывать, что у них за имущество. Среди толпы пассажиров выделялась группа в полтора десятка человек, одетых несколько лучше. Старший группы протиснулся к пограничному шлагбауму:

— Я администратор футбольного клуба «Троян» из Плоешти. Мы направляемся во Францию. Вот наши документы. Мы хотели бы поскорей разместиться на пароходе, чтобы ребята смогли отдохнуть.

— Режим один для всех,— ответил пограничник, но все-таки взял паспорта.

А администратор продолжал тараторить:

— Все — члены национал-царонистской партии. Отборные ребята!

Пограничник посмотрел на футболистов. Они стояли за спиной своего администратора, и, честно говоря, многие из них не очень походили на спортсменов. Совсем юные, худые, низкорослые, и только два-три рослых и крепких.

Один из сотрудников сигуранцы, щупленький, невысокого роста, в штатском, вдруг протиснулся к группе футболистов, остановился возле Флориана Гродинару, стоявшему рядом с невысокой, светловолосой девушкой.

— Мы ведь с вами знакомы! — сказал щуплый.

Гродинару взял его под руку и отвел в сторону.

— Какого черта вы здесь вертитесь! Хотите меня засветить? Немедленно убирайтесь или я сообщу шефу. Я отвечаю за эту команду. Вы, может быть, хотите, чтобы меня выкинули в море?

— Простите,— сказал щуплый. — Мне никто не сообщил. — Он постоял, потом стал пробираться сквозь толпу к телефону-автомату на пирсе.

Пограничник тем временем закончил проверку документов и махнул рукой. Администратор заторопил своих футболистов, и они пошли к трапу.

Перед самым трапом Флориан Гродинару нагнулся к девушке, поцеловал ее и сказал ей тихо:

— Дана, передай нашим, сигуранца все-таки села нам на хвост.

Он еще раз поцеловал девушку и заспешил за своими товарищами на палубу парохода.

Петр Лаптев, Чумаков и Солонтай сидели за столиком одного из парижских кафе. Столики стояли прямо на улице. Сидели молча, пили кофе и минеральную воду. Чумаков рассматривал прохожих и вдруг спросил:

— А если нас не найдут?

— Пойдем в наше посольство,— сказал Лаптев.

— Нельзя,— сказал Солонтай.— Нельзя в посольство. Ты поляк, я венгр, Чумаков у нас немец... Ну-ка, скажи, что ты знаешь по-немецки.

— Их бин дойч,— сказал Чумаков.— Анна унд Марта баден...

На большее его не хватило.

И тут из-за соседнего столика поднялись двое мужчин, подошли.

— Здравствуйте, господа,— сказал один из них, но, уловив недоумение на лицах, поправился: — Товарищи... Моя фамилия Богоявленский, Валериан Петрович. Я приставлен к вам в качестве переводчика. А это французский товарищ Поль, он будет вами заниматься. Прощу в машину, поедем на сборный пункт.

И все пятеро направились к стоящему недалеко «Рено».

На взлетном поле стояли четыре двухмоторных самолета. В один из них шла погрузка добровольцев. Летчик стоял у дверцы и считал по головам. Увидев Фрица Шнайдера с велосипедом на плече, он отодвинул его в сторону:

— Перегруз. Без велосипеда.

Шнайдер был парнем сообразительным. Он оглядел очередь, заметил толстяка с большим чемоданом, а чуть в стороне — весы. Шнайдер командовал ребятам, и они подтащили весы к самолету. Фриц вместе с велосипедом встал на весы. Стрелка показала семьдесят кг. Шнайдер предложил толстяку сменить его. Толстяк отрицательно покачал головой. Тогда трое немцев направились к нему и взяли под руки. Толстяк встал на весы, стрелка закачалась около отметки сто двадцать. Летчик-француз расхохотался и махнул рукой. Три друга и велосипед быстро оказались в самолете.

Самолет улетел. Оставшиеся добровольцы лежали на траве аэродрома. Ежи Ярецкий спал. Доусек вырезал из дерева фигурку женщины. Лаптев, Солонтай и Чумаков смотрели по сторонам,

— Бардак,— сказал Солонтай.

— Не хватает пилотов,— пояснил Богоявленский.

— Судя по вашему возрасту,— сказал многозначительно Чумаков,— вы воевали?

— Естественно,— ответил Богоявленский.— Четыре года в Германскую и четыре года в Гражданскую.

— А на чьей стороне?— спросил Чумаков.

— В Германскую для русского солдата была только одна сторона, а в Гражданскую против вас, я же давал присягу!

— Нелогично получается. Столько лет «против» и вдруг «за»?— сказал Чумаков.

— Во-первых, не «вдруг», у меня было много времени на раздумья, во-вторых, вы ведь марксисты, диалектики, знаете, наверное, что все течет, все изменяется. И, наконец, надо уточнить формулировки: не «за», а «против», но «против» фашизма. Я был в Германии и видел, что такое фашизм. Сейчас надо всем объединяться.

— Честно говоря,— сказал Чумаков,— что-то не хочется мне с вами объединяться.

— Что вы никак не можете успокоиться?— сказал Богоявленский.— В цивилизованных странах даже при самых тяжелых преступлениях существует срок давности. А вы все ненавидите. Где же русское великодушие? К испанцам вы сердобольны, а к единоверцам...

— У нас разные веры,— сказал Чумаков.

— Отойдем,— попросил Лаптев Чумакова, и они отошли.— Перестань задираться. В конце концов это не тактично. Он нам помогает.

— Помогает! Белая контра! Он в нас стрелял, а теперь, когда сила на нашей стороне, помочь решил? Не буду воевать с ним вместе,— решительно заявил Чумаков.

Богоявленский, который все слышал, вскопчил.

— В каком вы звании?— резко спросил он Чумакова.

— Капитан,— растерялся Чумаков.

— А я подполковник, и, возможно, вы будете воевать под моим командованием.

— А вот тебе!— сказал Чумаков и, выбросив руку, хлопнул по сгибу локтя ладонью.

Лаптев повернулся к Солонтаю:

— Объясни ты ему.

— Классовая борьба,— развел руками Солонтай.

Тут заработали винты крайнего самолета, и добровольцы заспешили на посадку.

Самолет еще катился по полю аэродрома в Барселоне, а к нему уже бежала пестрая толпа в добрую сотню человек. Толпа пела «Кукарачу». Впереди бежал человек с черно-красным платком на шее, с двумя тяжелыми пистолетами на поясе, с пулеметной лентой через плечо. Еще за спиной болталась винтовка, и об ноги билась наваха. Остановились винты, и пассажиры услышали выкрики:

- Вива интернационал!
- Вива Руссия!
- Вива Эспањя!
- Абахо эль фасизмо!

Прилетевших вытаскивали на руках из самолета, совали им апельсины, виноград. Ярецкому вручили бурдюк с вином.

И вдруг Солонтай услышал гул мотора. К аэродрому приближался самолет, он не заходил на посадку.

— В укрытие! — крикнул Солонтай по-русски.

Его не поняли. Тогда он повторил это по-немецки, по-венгерски... Он огляделся. Никаких укрытий не было. Грохнул первый взрыв. И толпа начала разбегаться. Раздались крики раненых.

Самолет начал второй заход.

Чумаков увидел, что у пулемета возится человек в комбинезоне, но не стреляет — перекосило ленту. Чумаков подскочил, поправил ленту, стал стрелять сам.

— Помогай, твою мать!.. — крикнул Чумаков испанцу, но тот его не понимал.

К Чумакову на помощь бросился Лаптев, встал за второго номера. Солонтай увидел бездействующий скорострельный «Эрликон» и тоже открыл огонь по самолету. Самолет вильнул в сторону и, сбросив бомбы на окраине аэродрома, стал быстро удаляться.

Люди медленно поднимались с земли. К Лаптеву и Чумакову подбежала девушка.

— Вы русские? — спросила она. — Я сразу поняла, когда вы кричали про маму. Я теперь ваша переводчица, меня зовут Росита.

— Юзеф! — представился Лаптев.

— Ганс! — сказал Чумаков и добавил: — Гутен морген.

— Уже вечер, — сказал ему Лаптев.

— Капрал Ежи Ярецкий! — щелкнул каблуками поляк и поцеловал ей руку.

— Кто здесь старший офицер? — спросил Чумаков.

— Здесь старших офицеров много! — улыбнулась Росита. — Командир у коммунистов, командир у синдикалистов, командир у анархистов, командир у социалистов...

— Хватит! — остановил ее Чумаков. — Командир должен быть один. Беру командование на себя. Авиация, растаскивай свои этажерки, а то лишимся всех самолетов разом. Ты, Петя, наметь секторы обстрела и установи огневые точки.

Под руководством Солонтая бойцы растаскивали самолеты. В разных концах аэродрома устанавливали пулеметы. Только группа анархистов во главе со своим вожаком в черно-красном платке на шее собиралась обедать прямо на поле. Чумаков приказал Росите:

— Передайте им, что приказ начальника — закон для подчиненного.

Росита пошла к анархистам. Ее выслушали, и вожак анархистов встал и направился вместе с ней к Чумакову. Заговорил темпераментно, активно жестикулируя. Росита перевела:

— Анархисты приветствуют земляка Бакунина.

— Сейчас не до приветствий, — сказал Чумаков. — Может начаться новый налет.

Вожак отмахнулся и продолжал свою страстную речь.

— Анархистов удивляет, что русский командир выступает против главного, основополагающего принципа товарища Ленина о вооруженном народе и вводит принципы буржуазной армии с ее недемократическими принципами подчинения всех одному. Мы, анархисты, главная сила Республики. И мы не потерпим, чтобы нами командовали. Товарищ Ленин был против этого.

— Товарищ Ленин не мог сказать такой глупости.

Росита перевела, и пораженный анархист замолчал. И тут на помощь Чумакову пришел Лаптев:

— Когда над нашей молодой республикой нависла смертельная опасность, была создана регулярная Красная Армия. И Владимир Ильич всячески содействовал укреплению дисциплины в ее рядах.

И тут послышался гул моторов.

— Дискуссию продолжим после боя, — сказал Лаптев и бросился к пулеметам,

В большой гостиной номера люкс старинного отеля «Ориенте» сидело два десятка русоголовых парней.

Росита переводила выступление испанского военного в форме республиканской армии с тремя звездочками на лацкане мундира:

— Товарищ Серхио Родригес на этом заканчивает свое выступление. Он надеется, что русские товарищи теперь понимают, в какой сложной обстановке, политической и военной, находится в настоящий момент Республика. Он надеется, что с помощью русских товарищей эта обстановка будет улучшаться с каждым днем.

Серхио Родригес встал:

— Вива Руссия! Вива Советико!

Двадцать парней разом вскочили и вытянули руки по швам.

Когда Родригес и Росита вышли, ребята зашумели, стали было пробираться к выходу, но голос с мягким кавказским акцентом сказал:

— Прошу оставаться на своих местах... Прошу садиться.

И когда все уселись на свои места, остался стоять только один человек. Смуглый, поджарый, он мягкой походкой подошел к столу.

— Меня зовут Ксанти. Записывать не надо. Прошу запомнить. И вообще никаких записей русскими буквами. Здесь нет русских. Вы Хозе, вы Ганс, вы Юзеф...— и он назвал все двадцать псевдонимов.— Я не ошибся?

Все двадцать ошеломленно молчали.

— А теперь достаньте личное оружие.

И Ксанти достал свой пистолет. Он вынул обойму, выщелкнул один патрон и сказал:

— Все делают то же самое... А теперь положите этот патрон сюда.— Ксанти спрятал патрон в нагрудный карман комбинезона.— Нигде, ни при каких обстоятельствах, никогда вы не должны попасть в плен. Этот последний патрон — для себя...— Ксанти помолчал.— Всем понятно?

Слушатели молчали.

— Напоминаю еще раз, хотя вы все знаете инструкции, вы — военные специалисты. Ваше дело: помочь республиканской армии стать боеспособной для ведения современной войны. Нигде, никогда, ни при каких обстоятельствах не вмешиваться в политические внутри- или межпартийные споры. Если у вас возникнет потребность поделиться сомнениями в правильности принимаемых решений, вы можете обратиться ко мне в любое время.— Ксанти широко улыбнулся.— До свидания, камарадос! Все свободны, кроме камарадо Юзефа и камарадо Ганса.

Все вышли, в комнате остались Ксанти, Лаптев и Чумаков.

— Как вы объясните свои контакты с господином подполковником Богоявленским? — спросил Ксанти.

— Богоявленский оказывал нам помощь и содействие в Париже и во время полета сюда,— сказал Лаптев.

— Во-первых, неизвестно, с какими целями он прибыл сюда — сражаться с фашистами или с нами. А то, что он оказывал содействие, это естественно. Надо же произвести хорошее первое впечатление. Да будет вам известно — очень многие белогвардейцы из Парижа сейчас сражаются на стороне Франко. Нужно быть бдительным, камарадо Юзеф и камарадо Ганс. Бдительность и еще раз бдительность!

— А я с самого начала догадался, что он контра,— торжествующе сказал Чумаков.— Надо его брать и в трибунал.

— У вас есть факты? — заинтересованно спросил Ксанти.

— Когда будут факты, будет поздно,— жестко сказал Чумаков.

— Судьба может складываться по-разному,— сказал Лаптев.— Человек мог заблуждаться. Но я понимаю одно. Сегодня Испании нужна помощь военных специалистов. Артиллеристы в русской армии, а подполковник Богоявленский — артиллерист, всегда были специалистами высокого класса. Понимая всю необходимость бдительности, я бы не хотел подменить ее необоснованной пока лозозрительностью.

Перед зданием, где размещались штаб и службы учебного резервного полка интербригадовцев, было шумно. Люди получали обмундирование, оружие, направления к местам службы. Добровольцы из пятнадцати четырех стран мира, не знакомые с воинской службой, осваивали азы строевой подготовки. Над булыжной площадью перед старинным зданием штаба раздавалось:

— Айнс, цвай...

— Ван, ту...

— Уно...

В стороне, в тени каменной ограды стояли Серхио Родригес, Петр Лаптев и Росита. Лаптев был уже в форме республиканской армии.

К ним подошел разгоряченный Ежи Ярецкий.

— Скажи им,— обратился он по-польски к Лаптеву,— что я улан, кавалерист, а они меня в пехоту!

— Он говорит, что хочет в кавалерию,— перевел Лаптев на русский Росите.— Он опытный польский кавалерист.

Девушка перевела по-испански Родригесу.
— Нам важно подготовить как можно больше пехоты,— ответил Родригес.— У него какое звание?

— Капрал,— сказал Ежи.

— Будете командовать ротой польских добровольцев. Людей много — специалистов не хватает.

— Я даже взводом никогда не командовал,— признался Ежи.

— Ничего! — успокоил его Серхио.— У нас будете командовать и полком! Но пасаран! Он весело засмеялся и, отдав честь поднятым кулаком, быстро ушел.

— Ну и дела! — Ярецкий посмотрел на Петра и Роситу.— Надо бы отметить мое повышение. Что делает сегодня синьорита? Могу я пригласить вас в театр?

Девушка ответила, и Лаптев перевел:

— Она согласна.

Интербригадовцы были на стрельбище. Каждый получил по три патрона, и загремели выстрелы.

Ксанти с Родригесом прошли вдоль мишенной. Большинство мишеней были девственно чисты. Только на одной все три пули были уложены в центр. Подошли к Доусеку. Родригес посмотрел в списки.

— Доусек. Чех,— пояснил он Ксанти.

— Словак,— поправил Доусек.

— Служил в армии? — спросил Ксанти

— Не служил.

— Или гений, или случайность,— сказал Ксанти.

— Не случайность,— возразил Доусек.— Я работал у хозяина в тире. Я очень хорошо стреляю.

— И скромн к тому же,— прокомментировал Ксанти.— Пошли со мной.

...Ксанти выдал Доусеку, Флориану Гродинару и кубинцу Войю снайперские винтовки и по пачке патронов.

— Идите, пристреляйте винтовки. С этого момента вы зачисляетесь в отряд, которым команду я.

— Я не хочу к вам в отряд,— сказал Доусек.— Я зачислен в роту, где есть мои товарищи, чехи и словаки. Я хочу быть со своими.

— А здесь все не чужие. И в армии нет слов «не хочу». Запомните это.

— Я запомню,— пообещал Доусек.— Но все равно я не хочу в ваш отряд.

— Кто у чехов занимается политработой? — спросил Ксанти у подошедшего Родригеса.

— Држишка,— с трудом произнес сложную фамилию Родригес.

— Так пусть он ему объяснит, что такое армия, приказ, беспрекословное повиновение командиру.

Вечером Фриц Шнайдер, в майке и трусах, неся на велосипеде по улицам и бульварам Барселоны — тренировался. Электрические фонари просвечивали сквозь остролистые пальмы. Фриц пронесся мимо настержь открытых дверей таверн, парикмахерских, мимо столиков у дверей кафе на Приморском бульваре, потом выехал на шоссе. Но его скоро остановил патруль. Шнайдер показал удостоверение интербригадовца. Его пропустили, но только он набрал скорость, его остановил другой патруль. Процедура с пропуском повторилась. Мимо третьего патруля Шнайдер промчался, не останавливаясь. Раздались выстрелы. Фриц прыгнул с велосипеда в кювет...

...Обратно Шнайдер возвращался пешком. Он шел, а на велосипеде ехал патрульный. Потом он обогнал Шнайдера, вернулся, что-то угрожающе крикнул, и Шнайдер побежал. Патрульный ехал за ним.

На окраине Барселоны было создано что-то вроде танкодрома — площадка с надолбами, воронками, с противотанковыми рвами. Чумаков проводил учения своего батальона. Танки шли, обходя рвы, били из пушек по мишеням. Моторы то и дело глохли, снаряды не разбивали мишеней даже с близкого расстояния.

Лаптев с группой механиков стоял невдалеке. Рядом остановился итальянский трофейный «Ансальдо». Из башни танка высунулся Чумаков и флажком отдал команду прекратить атаку. Он спрыгнул на землю и, тяжело дыша, растянулся в тени танка. Подошел Лаптев.

— Дозаправка кислородом,— сказал Чумаков.— Дышать нечем. Но ничего, еще месяц, и они будут у меня воевать не хуже наших.

— Месяца тебе никто не даст,— сказал Лаптев.— Насколько я слышал, скоро мы выступаем.

— Ну что же,— сказал Чумаков.— Подготовка слабая, но ничего, прорвемся, если надо. Да,— вспомнил он.— Спасибо тебе за немца, за Фрица. Хороший механик-водитель из него получается. Только велосипед все время возит на танке. Я хотел было ему запре-

тить, но ведь он же в Германии первый гонщик, к Олимпийским играм готовится. Поэтому разрешил. Ты представляешь, парень из моего батальона будет олимпийским чемпионом!

— До этого дожить надо,— сказал Лаптев.

И в это время послышался гул, который постепенно нарастал. В небе медленно плыли бомбардировщики Ю-52. От одного из фашистских бомбовозов отделились бомбы и посыпались вниз. Вздогнула земля. Рухнула старая и казавшаяся вечной монастырская башня. Глухо загудели черные колокола, удравшись о землю и раскалываясь на части.

...Госпиталь был расположен в монастыре. На галерее стояли десятки больничных кроватей, на которых лежали раненые мужчины, женщины, дети. У розовых ног деревянной раскрашенной мадонны висел плакат: «Смерть фашистам!». Возле одной из кроватей сидели Лаптев и Родригес. На кровати лежал раненый Чумаков и плакал.

— Успокойся,— просил Лаптев.— Вылечишься. Раны-то не такие уж серьезные. Обратишь внимание.

— Да, вернешься,— сквозь слезы отвечал Чумаков.— Пока вылечишься, все кончится. Вы их сто раз разобьете. И повоюешь не пришлось. Готовился, готовился... Хоть бы один бой, я бы им показал, как воюют настоящие танкисты!

— Мы тебя придем провожать,— сказал Лаптев.— А сейчас извини, надо идти.

Он поцеловал Чумакова, и они с Родригесом пошли к выходу.

— Вот что, Юзеф,— сказал Родригес.— Принимай батальон.

— Да что вы! — остановился Лаптев.— Я же инженер, я не командный состав.

— А здесь у нас командного нету,— сказал Родригес.— Ты учишься, принимай батальон. Другие все равно будут хуже тебя.

Республиканская пехота скапливалась для атаки. Богоявленский командовал артиллерийской бригадой. Это были современные советские 76-миллиметровые пушки и гаубицы конца прошлого века.

Богоявленский ткнул пальцем в карту, объяснил Лаптеву:

— Я веду артподготовку ровно десять минут по квадратам семнадцать, девятнадцать, двадцать один. После этого сразу атака, а я переношу огонь в глубину еще на пять минут. На большее у меня нет снарядов.

— Сверим часы.

Лаптев взглянул на свои часы — крупногабаритные, в металлической решетке, Богоявленский — на свои швейцарские, последнего выпуска.

Республиканская артиллерия произвела первый залп. И почти сразу же ответила артиллерия мятежников.

И тут к нему подбежал Шнайдер:

— Ранило Яна.

Лаптев бросился к своему танку. Командира башни уже перевязывали.

— Бери из резерва,— приказал Лаптев Шнайдеру.— Поляка, немца или испанца, иначе не пойдем друг друга.

До начала атаки оставалось меньше двух минут, когда снова появился Шнайдер. Он бежал с рослым молодым парнем, который придерживал кобур с тяжелым кольцом.

— Американец,— доложил Шнайдер.

— Я же ни слова по-английски, черт тебя побери! — выругался Лаптев.

— Я говорю по-русски,— сказал американец и представился: — Джон Беловер.

— В танке сидел?

— Два боя.

— Выхода все равно нет. По машинам! — скомандовал Лаптев.

Танкисты захлопывали люки. Взвилась ракета, и танки пошли в атаку. За ними поднялась пехота.

Но первые взрывы в рядах пехоты замедлили движение, а когда начался плотный пулеметный и ружейный огонь, пехота залегла.

Командиры и комиссары, потрясая пистолетами, личным примером попытались поднять пехотинцев, но тоже скоро залегли.

Восемь танков продолжали движение. Беловер стрелял из орудия быстро и точно. Теперь, когда залегла пехота, артиллерия мятежников перенесла огонь на танки. Запылал один, потом второй. Отстреливаясь, бронированные машины стали пятиться назад.

В танк Лаптева ударил снаряд. Заглох двигатель.

— Живы? — спросил Лаптев.

— Немного,— ответил Беловер.

— Фриц! — позвал Лаптев.

— Нормально,— ответил Шнайдер и попытался запустить мотор. Мотор работал на высоких оборотах, но танк не двигался.— Фрикцион.

— Выпрыгиваем,— сказал Лаптев. Он вытолкнул в люк пулемет. Танкисты выпрыгнули из танка и залегли рядом.

— Командир,— сказал Шнайдер,— я в мастерские. Подвезу зубчатку, и за двадцать минут все будет готово.— И Шнайдер стал снимать велосипед, который был привязан к танку.

— Ты что, свихнулся? — спросил Лаптев.

— Нет,— ответил Шнайдер.— На вело я проскочу за минуту, минуту десять, а ползти час. Вначале они стрелять не будут, будут смотреть, будут думать, как и вы, что я идиот, а я буду крутить педали. Я хороший гонщик, меня знает вся Германия.

— А теперь ты хочешь, чтобы тебя узнала вся Испания?

Но Шнайдер уже вскочил в седло и заработал педалями. Он оказался прав. На несколько секунд наступило оцепенение. Прекратилась даже редкая винтовочная пальба. Зато через несколько секунд ударило сразу несколько пулеметов и десятки винтовок. Но Шнайдер успел проскочить и прыгнуть в окоп.

— Высокий класс,— Беловер поднял палец.

— А ты откуда знаешь русский? — поинтересовался Лаптев.

— Мой дед был русский. Отец мальчиком приехал в Америку. Мы молокане. Нам помогал уехать в Америку сам Лев Толстой,— гордо сказал Беловер.

— Староверы, значит.

— Какая вера — не имеет значения,— сказал Беловер.— Главное, чтобы была вера. Я верую!

Но тут они увидели, что к танку ползет с десяток солдат мятежников. Лаптев открыл пулеметный огонь, и мятежники отступили.

— И во что ж ты веруешь? — спросил Лаптев, дав последнюю очередь.

— В бога и в демократию. Америка — страна демократии,— ответил Беловер.

— Какая же демократия,— возразил Лаптев,— если вы негров преследуете.

— А в России старообрядцев преследовали,— возразил в свою очередь Беловер.— В каждой стране есть плохие люди. Вот вы закрываете церкви, людям негде молиться. Церкви разрушаются, я видел фотографии. А этим вы разрушаете свою историю, памятники истории. Пройдет время, и будете строить заново под старину, как сейчас делают в Америке.

— Ну, строить вряд ли будем,— не согласился Лаптев.— Но кое-чего, наверное, восстановим. Нашему государству только что исполнилось двадцать лет. А чего по молодости не бывает! В кое-каких вопросах мы и наколбасили.

— Что такое наколбасили? — спросил Беловер.

— В общем, не всегда обдумывали проблему со всех сторон.

— Ты первый русский, который признает ошибки. Все русские, с которыми я разговаривал, никогда не признают ошибки. Они всегда во всем правы. Русские очень упрямые.

— А ты, значит, уже не русский? — спросил Лаптев.

— Я американец,— сказал гордо Беловер.— Но я помню, что мы из России.

— Что-то плохо помнишь. Даже фамилию сменил. А фамилия — тоже история.

— Мы Беловы. Но Беловер в Америке лучше запоминается.

Сзади раздался шорох. Лаптев мгновенно перекинул пулемет в ту сторону. Но это полз Шнайдер с брезентовым свертком.

— Немного отдыхаю и начинаю ремонт,— сказал он, с трудом дыша.

— Темнеет уже,— сказал Лаптев.— Надо спешить. Ночью они с нами расправятся очень легко.

Ярецкий и Росита лежали в постели. Ярецкий молчал.

— Ты о чем думаешь? — спросила Росита.

— Как жить будем дальше,— сказал Ярецкий.— То ли мне в Испании оставаться, то ли тебя в Польшу везти. Что я буду тут делать, в Испании? Хотя текстильные фабрики здесь тоже есть...

— А я в Польше могу преподавать испанский,— сказала Росита.— В Польше изучают испанский?

— Не знаю,— признался Ярецкий.— Я изучал французский. Один год. Потом пришлось уйти. Надо было работать.

Теперь молчала Росита.

— А ты о чем думаешь? — спросил Ярецкий.

— Считать ли твои слова официальным предложением руки и сердца или только объяснением в любви?

Голый Ярецкий выбрался из кровати и опустился на одно колено.

— Да,— сказал он торжественно.— Официальным предложением.

Росита засмеялась, уж больно комичен был голый коленопреклоненный Ярецкий.

— Не смейся,— сказал Ежи.— Ты знаешь, у меня столько баб было, ужас! И, казалось, всех любил. А вот с тобой что-то совсем иное. Не хожу теперь, а витаю где-то. Все как

праздник. И война — не война. И все, что было раньше, вроде не было. Начинаем жить заново. Я это понял. У нас все будет хорошо.

— Любимый,— сказала Росита.— Любимый...— повторила она.

На аэродром садилась самолеты. Из кабин вылезали вымотанные боем летчики.

Солонтай подрулил. Некоторое время он еще сидел в кабине, потом с трудом вылез на крыло, спрыгнул и стал осматривать самолет.

— Тридцать два,— сказал подбежавший механик.— Тридцать два попадания.

Солонтай и трое командиров эскадрилий уселись в тени глинобитного сарая.

— Сколько не вернулось? — спросил Солонтай.

— Двое.

— А что с Ильей? — спросил Солонтай.— Что это за фокусы?

— Это не фокусы,— ответил один из командиров эскадрилий.— Он потерял сознание при выходе из пике. Ребята истощены, на пределе. Еще один вылет, и я тоже не выдержу.

— Ты это уже говорил неделю назад,— возразил ему другой командир.

— Ничто не может продолжаться вечно.

— Что ты предлагаешь? — спросил Солонтай.

— Нужен отдых. Два-три дня. Поспать, просто поспать.

— Я поставлю этот вопрос,— сказал Солонтай.— Но нас заменить нечем.

Послышался гул самолетов, и летчики бросились к капонирам. Завертели винты, и снова один за другим самолеты ушли в небо.

Механики с земли наблюдали за боем. Воздушная карусель раскручивалась, слышались очереди пулеметов. Один из вражеских самолетов загорелся. Летчик пытался выровнять самолет, но машина вошла в штопор и врезалась в землю. Послышался взрыв. Механики на земле заплодировали. Еще один самолет задымил и стал уходить за линию фронта. Его не преследовали.

Бой продолжался. Солонтай поймал в прицел профиль «мессершмитта». «Мессершмитт» отвалил в сторону. Солонтай пошел наперез. Тогда противник сделал горку и попытался пристроиться сзади. Солонтай на вираже ушел. На некоторое время они разошлись в небе, а потом понеслись навстречу друг другу. Но летчик «мессершмитта» не выдержал и пошел вверх. И тут Солонтай нажал на

гашетки пулеметов. Самолет задымил, потерял управление. Летчик открыл кабину, перевалялся через борт и вскоре раскрыл парашют. Его относил прямо на аэродром. Солонтай сверху увидел, как бежали механики с карабинами. Остальные «мессершмитты» уходили. Солонтай качнул крыльями, приказывая не преследовать, и самолеты пошли на посадку.

На аэродроме к Солонтаю подвели захваченного летчика. Это был Курт Шнайдер.

— Итальянец? — спросил Солонтай.

— Немец,— ответил летчик.

Механик протянул документы летчика. Солонтай бегло посмотрел их и положил в планшетку.

— Позавчера,— сказал он,— вы захватили нашего летчика. Он жив?

— Жив,— ответил немец.— Ранен.

— В каком вы звании? — спросил Солонтай.

— Капитан.

— Скажите, если мы попробуем договориться об обмене, вас обменяют на нашего пилота?

— Да,— ответил немец.— Я хороший летчик. Меня ценят.

— Что такое хороший летчик в вашем понимании? — спросил Солонтай.

— Я сбил трех ваших.

— По трое у нас сбил каждый,— сказал Солонтай.

— Да,— согласился немец,— русские — хорошие летчики. Нам говорили, что сюда отобрали только асов.

— Пусть будет так,— согласился Солонтай.

— Но вы уже проиграли,— сказал немец.— Скоро все закончится.

— Посмотрим, я думаю, что это будет еще не скоро.

— Скоро,— сказал немец.— У вас нет ни самолетов, ни летчиков. Мы уже заметили, что в воздухе одни и те же самолеты. Восемь-десять вылетов в день. Мы вас всех знаем. Только непонятно, как вы выдерживаете. Говорят, вы применяете какие-то очень сильные возбудители, которые даете вашим пилотам перед боем.

— Да, применяем,— сказал Солонтай.

— А что это за лекарство? — спросил немец.— Если это секрет, то, конечно, не надо, но мне было бы интересно знать.

— Это лекарство — ненависть.

— Но этого мало, чтобы выдержать по десять вылетов в день. И вы истощены тоже. Вы говорите со мной и засыпаете.

— Уведите,— сказал Солонтай механикам.— Надо его сегодня направить в штаб, и пусть оттуда свяжутся с ними. Попробуем организовать обмен.— Солонтай закрыл глаза.

Фриц Шнайдер приехал на аэродром за запасными частями для пулеметов. Был он на мотоцикле с коляской. Он погрузил в коляску запасные части и вдруг увидел, что двое испанцев ведут к машине его старшего брата Курта. Курт Шнайдер замедлил шаги, оглянулся, но не сказал ни слова и пошел дальше со своими конвоирами. Один из конвоиров сел с ним на заднее сиденье старого «форда», другой за руль. Машина тронулась.

Ошеломленный Фриц Шнайдер спросил проходящего мимо механика.

— Кого это повезли?

— Немца,— ответил механик.— Летчика. В штаб. Там разберутся. Вообще-то чего с ними разбираться, их надо стрелять на месте...

Фриц сел на мотоцикл и очень скоро обогнал «форд». Прибавил скорость и помчался вперед, но вскоре съехал на обочину и стал копаться в моторе. «Форд» проехал мимо. Фриц снова сел на мотоцикл. Теперь он держался сзади автомобиля.

Неожиданно над дорогой показался самолет. «Форд» вильнул, прибавил было скорость, но раздалась пулеметные очереди, и машина остановилась. Выскочили шофер и конвоир, потащили Курта Шнайдера в поле. Фриц тоже бросился в кювет, оставив мотоцикл. Он видел, как самолет сделал еще один заход и очень умело поджег «форд». Конвоир и шофер, сидя на земле, стреляли по самолету из карабина. Тогда летчик пошел на бреющем почти над самой землей.

Упал конвоир, шофер поднялся и хотел отбежать, но и его скосила очередь. «Мессершмитт» взмыл вверх и скрылся. Фриц видел, как встал Курт, отряхнулся, снял с убитого конвоира сумку с документами, взял его карабин и стал уходить.

— Стой! — крикнул Фриц по-немецки.

Курт удивленно остановился. Поднял карабин. Фриц достал пистолет.

— Опустит оружие! — сказал Фриц.

— Не подходи! — Курт прицелился.

Фриц продолжал идти. Тогда Курт нажал на спусковой крючок. Раздался лишь сухой щел-

чок — в магазине карабина не было ни одного патрона.

— Подними руки! — приказал Фриц.

Курт молча сел. Фриц сел неподалеку, держа пистолет. И тут застонал конвоир.

— Лежать, лицом вниз! — приказал Фриц брату.— Не выполнишь приказа, я буду стрелять!

И Курт Шнайдер лег на землю. Фриц достал пакет с бинтами и начал перевязывать конвоира. Тот застонал.

— Он сейчас очнется,— сказал Курт.— А тебе свидетели, по-моему, ни к чему... — Он снова сел.— А мне говорили, что ты ушел в плавание, в Южную Америку. Вот где, значит, твоя Америка. Интересная встреча.

Фриц молчал.

— Я пойду,— сказал Курт.— Сейчас начнется движение по дороге... Так я пойду... — И он поднялся.

— Сидеть! — сказал Фриц.

— Ну стреляй! — сказал Курт.— Меня все равно везут на расстрел. Стреляй! Но только помни: ты этого никогда не забудешь. На тебе будет кровь брата. Кровь брата на тебе будет.

Фриц молча рассматривал Курта.

— Я тебя отпущу,— вдруг сказал Фриц.— Но поклянись, что ты не будешь воевать против нас, что ты сразу вернешься домой.

— Такой клятвы я дать не могу,— сказал Курт.— Я офицер. Я обязан подчиняться приказам.

— А вам, значит, дают приказы вот так охотиться?

— За нами тоже охотятся,— сказал Курт.— Перестань! Скоро все кончится. И ты, и я вернемся домой.

— Мне домой пути нет,— сказал Фриц.— Меня там уже не ждут, а если ждут, то в другом месте.

— Я никому не скажу,— сказал Курт,— что видел тебя здесь. Слово офицера.

— Поклянись, что ты уедешь сразу же, что ты не будешь воевать против нас,— повторил Фриц.— Если ты этого не сделаешь, я убью тебя сам, сейчас, лично.

— Ладно,— сказал Курт.— Клянусь. Уеду. Но тебе тогда лучше не возвращаться домой. Курт встал, взял сумку с документами и пошел в сторону гор.

— Оставь сумку,— сказал Фриц.

— Зачем? — спросил Курт.— Здесь мои документы. По ним узнают, что ты мой брат. Кроме всего прочего, у нас ведь одна фамилия и мы немцы. Это будет подозрительно,

если я так, вдруг, исчезну. А так ты меня просто не видел. Ты мог и опоздать, я мог уйти. Привет!

Фриц ему ничего не ответил. Он устроил раненого конвоира в коляске мотоцикла и рванул с места.

Петр Лаптев и Ксанти шли по набережной Барселоны.

— У тебя в экипаже есть немец, Фриц Шнайдер,— сказал Ксанти.

— Да!— подтвердил Лаптев.— Очень хороший механик-водитель. Да ты и сам знаешь. Хорошо воюет.

— Знаю,— сказал Ксанти.— Но вот какая ситуация. Сюда везли пленного немецкого летчика. По дороге машину обстреляли с самолета, водителя убили, конвоира ранили. Конвоира привез твой Фриц Шнайдер в госпиталь. Но летчик исчез.

— Ты разговаривал с Фрицем?— спросил Лаптев Ксанти.

— Он говорит, что подъехал позже, летчика не видел. Но я узнавал, он интересовался еще на аэродроме этим немцем. К сожалению, исчезли и документы летчика, и никто не удосужился записать фамилию, но, кажется, его фамилия тоже то ли Шнайдер, то ли Шрайдер.

— Если даже и Шнайдер,— сказал Лаптев.— У немцев этих Шнайдеров, как у нас Сидоровых.

— Значит, так,— сказал Ксанти.— Передашь наш разговор своему Фрицу и скажешь, что есть люди, которые видели, как он помог бежать летчику, а мы последим, как он на это прореагирует. Если попытается уйти, я его арестую.

— Но он может и перепугаться. С перепугу чего не сделаешь!— сказал Лаптев.

— Он не из пугливых,— сказал Ксанти.— Тебе только с ним надо поговорить, а все остальное мое дело. Можешь идти.

Лаптев и Фриц Шнайдер сидели за столиком у входа в таверну. На столе стояли маслины, сыр и простое вино. Хозяин с хозяйкой отдыхали на табуретах у двери. Подавала дочка.

— Вот такая история,— сказал Лаптев.— Я тебе все рассказал.

— Таких людей, которые видели, что я помог бежать этому летчику, нет,— сказал Фриц.

Помолчали, потом Лаптев сказал:

— Фриц! Я ценю тебя и верю тебе. Я абсолютно убежден, что ты не помогал бежать этому летчику. Только скажи мне об этом прямо, и закроем этот вопрос.

Фриц молчал.

— Скажи, и дело с концом,— повторил Лаптев.

— Это был мой родной брат,— вдруг сказал Фриц.— Я ему не помогал бежать. Я с него взял клятву, что как только он вернется, он тут же уедет в Германию. Он не будет воевать против нас.

— Но он наш враг,— помолчав, сказал Лаптев.— Идет война. У нас в России тоже так было, когда брат шел на брата, сын на отца.

— Ничего в этом хорошего нет,— сказал Фриц.— Братья должны любить друг друга, а сыновья почитать отцов.

— Почему ты не признался Ксанти?

— Он меня бы расстрелял.

— Но я вынужден буду сказать об этом сам.

— Что от этого изменится?— сказал Фриц.— В республиканской армии будет на одного механика-водителя меньше. А брат дал слово, слово офицера, что он не будет воевать против нас. Если бы я его не отпустил, его бы расстреляли. Я не хотел, чтобы расстреляли моего брата.

— Его бы не расстреляли,— сказал Лаптев.— Его должны были обменять на нашего летчика.

— Его бы расстреляли,— сказал Фриц.— Он сказал мне сам, что его везли на расстрел.

— Это неправда. Он знал, что его везут в штаб для обмена. Он тебя обманул.

— Тогда он поступил нехорошо,— сказал Фриц.— И я ему скажу об этом при встрече.

— Фриц,— сказал Лаптев,— но с этой минуты я не могу тебе верить.

— Командир, с этой минуты вы мне можете верить даже больше... Если вы расскажете об этом Ксанти, я не признаюсь, я сказал об этом только вам, потому что я вас уважаю.

Экипажи мыли танки. Было жарко, и вода моментально высыхала на накаливающей солнцем броне.

Лаптев подошел к Фрицу Шнайдеру:

— Фриц, перейдешь в экипаж Сантоса. Пойми меня правильно, я не могу с тобой быть в одном экипаже.

— Вы правильно поступили, командир,— сказал Фриц, оставив ведро с водой.

— Послушай,— расвирепел Лаптев,— мне это надоело. Что это вы, немцы, все раскладываете по полочкам: хорошо — плохо, надо — не надо, правильно — неправильно!

— Командир,— сказал Фриц,— у каждой нации есть достоинства и недостатки. Немцы уважают порядок.

Со стоящего у причала парохода, мощно рыча моторами, сходили танки Т-26.

Один из танков остановился возле Лаптева. Открылся люк, и на башню вылез механик в комбинезоне и темном берете. Механик снял берет, и густые льняные волосы рассыпались по плечам. На Лаптева, улыбаясь, смотрела Лиляна. Она прыгнула и попала в объятия Петра. Он поцеловал ее. Вокруг зааплодировали темпераментные механики-испанцы.

— Лиля! — Лаптев, не веря себе, гладил ее голову.— Как там у нас?

— Москва на месте,— Лиляна улыбнулась.— Идет снег...

— Как мой?

— Здоровы. Тебе прислали гостинцы. Я сейчас.— И Лиляна бросилась к пароходу.

..Вскоре здесь же, у танков, расстелив брезент, танкисты лаптевского батальона пробовали дары родной земли. В глиняном блюде была квашеная капуста и огурцы. Каждому досталось по щепотке капусты, по ломтику огурца и по кусочку черного хлеба.

Один из танкистов вздохнул:

— А ведь каждый день могли это есть, а не ценили.

Испанцы тоже попробовали. Но на них капуста и огурцы впечатления не произвели. А когда им предложили огуречного рассола, они вежливо отказались.

К Лаптеву подошел испанский офицер.

— Командующий танковыми силами Республики дал разрешение на три дня отпуска вам и вашей супруге синьоре Лиляне. На эти дни за вами закреплена машина и шофер.— Офицер кивнул в сторону «мерседеса», на котором приехал.

— Что будем делать? — спросил растерянно Лаптев Лилян.— Честное слово, я никому не говорил, что ты моя жена.

— По-русски это, кажется, называется: без меня меня женили,— рассмеялась Лиляна.— Не знаю, как насчет отпуска, но я с удовольствием сбросила бы комбинезон, переделалась и поехала в город поужинать.

— Я тебя приглашаю,— обрадовался Лаптев.

Лаптев в штатском костюме и Лиляна в легком платье подъехали к отелю «Ориенте». Их уже ждали. Лаптеву вручили ключ с огромной бронзовой бляхой. Сам хозяин гостиницы проводил их до лифта, лифтер поднял на седьмой этаж. Слуга в коридоре довел их до номера, открыл дверь.

— Дай ему на чай,— тихо сказала Лиляна.

— Неудобно,— так же тихо ответил Лаптев.— Я же красный командир.

— Ты здесь не красный командир, а гость,— так же тихо сказала Лиляна.— Дай на чай.

— А если он обидится? — тихо спросил Лаптев.

— Он не обидится.

Лаптев достал бумажник. Подумав, неуверенно протянул крупную кредитку. Слуга изумленно посмотрел на него, потом начал горячо благодарить.

— Ладно, топай, парень.— И Лаптев слегка подтолкнул его к двери.

Не успели Лиляна и Петр разместиться в номере, как раздался стук в дверь и тут же официант вкатил столик, на котором стояла бутылка шампанского, коньяк, фрукты.

Официант открыл шампанское, наполнил бокалы и молча встал у стены.

— Ты свободен,— сказал ему Лаптев.— Спасибо.

— Ты освоил испанский? — спросила Лиляна, когда официант вышел.

— И английский, немного румынский. Здесь же Вавилон... Ну, расскажи про дом.

— Я расскажу, у нас теперь будет много времени.

— Боюсь, что ты ошибаешься, мы продержимся недолго — месяц, а может быть, и меньше. Все идет к концу.

— Как же так? — поразилась Лиляна.— Нам говорили, что трудности временные.

— Трудности были постоянные,— устало сказал Лаптев.— Даже на самом великом энтузиазме невозможно победить без хорошо обученной армии. Испания не воевала почти сто лет, большинство кадровых офицеров на стороне Франко, в правительстве Республики нет единства — десятки партий, и все со своими программами. У нас катастрофически не хватает танков и самолетов. Гитлер и Муссолини здесь устроили испытательный полигон. Республиканская армия воюет не с мя-

тежниками, а сразу с тремя фашистскими государствами. Ты скоро все это увидишь сама...

Лиляна обняла Лаптева, но тут в дверь постучали, и в номер, как всегда почти бесшумно, вкатился Ксанти.

— Привет, Лиляна,— сказал он.

— Привет,— удивленно ответила она.— Но мы с вами...

— Незнакомы! — подхватил Ксанти.— Вы со мной нет, а я с вами — да. Потом он вам все объяснит. Я его заберу на две минуты.

И Ксанти вывел Лаптева на балкон.

— Значит, так,— сказал он,— твой моральный облик оказался не на высоте. Не перебивай. В советскую гостиницу ты бы не привел женщину, которая не зарегистрирована с тобой на законных основаниях. Не привел бы потому, что не пустили бы. А здесь порядки в личных отношениях еще буржуазные.

— Послушай, мы в этом с ней разберемся сами,— сказал Лаптев.

— Очень хорошо. Хотя меня и беспокоит ваш моральный облик, но меня больше беспокоит ваша безопасность. С меня голову снимут, если Республика лишится двух таких специалистов. А может, и лишится. Два дня назад майор-испанец привел сюда женщину, а утром их нашли,— и Ксанти выразительно провел ладонью по горлу.— Пятая колонна не дремлет, поэтому дверь держать закрытой. Рядом балкон соседей!

— Жарко,— попытался возразить Ксанти Лаптев.

— Жар костей не ломит,— парировал Ксанти, возвращаясь в номер.— Привет, ребята!— И он выкатился в коридор.

...Лаптев сидел в гостиной.

Лиляна вышла из ванной в длинном голубом халате и прошла в спальню. Когда туда заглянул Лаптев, Лиляна стелила постель. Она достала из сумочки браунинг и положила его под подушку. Лаптев расстегнул кобуру, достал наган и тоже положил его под подушку...

...На рассвете их разбудил стук в дверь.

Лаптев выхватил наган, взвел курок и пошел к двери.

— Извините, пожалуйста,— услышал он голос Роситы.— Фронт прорван, вас срочно вызывают. Я вас подожду внизу.

Лиляна и Лаптев стали торопливо одеваться.

В отеле, в большом многокомнатном номере шло совещание, на котором присутствова-

ли Родригес, Лаптев, Ксанти и Росита. Говорил Родригес, Росита переводила:

— Как вы знаете, ситуация на нашем участке фронта чрезвычайно сложная.— Родригес подошел к карте.— Мы зажаты с трех сторон, и если не предпринять контрнаступление, кольцо может сомкнуться.

— По данным разведки,— вставил Ксанти,— наступление франкистов готовится в воскресенье, то есть у нас осталось четыре дня.

— У мятежников,— продолжил Родригес,— преимущество в танках, артиллерии и почти полное господство в воздухе. От их бомбардировочной авиации мы несем огромные потери, кроме того, каждый день гибнут сотни рабочих, женщин и детей. Чтобы предпринять контрнаступление, нам необходимо вывести из строя как можно больше бомбардировщиков противника, а их на аэродроме скопилось более шестидесяти. Попытка атаковать истребителями с воздуха не удалась.

— Не удалось нам атаковать аэродром и с помощью специальных диверсионных групп, которые были уничтожены при подходе к аэродрому,— вставил Ксанти.

— Поэтому,— продолжил Родригес,— командование пришло к выводу, что есть смысл попытаться атаковать аэродром маневренным бронетанковым отрядом. В рейд пойдут два танка, три бронемшины и эскадрон кавалерии. При поддержке артиллерии мы прорываем фронт здесь,— он показал на карте,— и на полной скорости несемся по этой дороге к станции, где, кстати, на сегодня складированы основные запасы боеприпасов для наступления. Чтобы подойти к станции, нам потребуется тридцать две, тридцать четыре минуты. На бой с гарнизоном, закладку взрывчатки — еще около тридцати минут. За это время противник подтягивает силы с фронта и резервы отсюда и начинает нас окружать. Мы делаем попытку прорваться назад и влево. К этому времени наступает ночь. Они вряд ли будут нас преследовать, ночных боев они не любят, да и деться нам некуда, можно добить и утром. Мы же идем не к линии фронта, а в сторону, к аэродрому, возле которого мы должны быть к трем часам ночи. А в тридцать начнем атаку. Идут только добровольцы из интербригады. Его танкисты,— Родригес кивнул в сторону Лаптева.— Кавалерию возглавит поляк Ярецкий, стрелков — словак Доусек. Большую часть отряда составят испанцы. На бронемшины мы посадим взвод матадоров. Вы знаете, они умирают, но не при-

гибают голов в атаке. Испанцы умирают так же гордо, как и живут.

— А вот этого нам не надо,— сказал Лаптев.— Главная наша задача: уничтожить аэродром и выжить. А уничтожат аэродром и выживут не самые гордые, а самые опытные.

— Вы выберете из матадоров самых опытных,— настаивал Родригес.— Матадор — это испанец из испанцев. Вы представляете, когда после уничтожения аэродрома в газетах появятся фотографии матадоров! Это еще больше воодушевит наших солдат.

— В данный момент меня больше интересуют подрывники,— охладил пыл Родригеса Лаптев.

— Нет проблем,— сказал Родригес.— Подрывников мы наберем из астурийских горняков. Каждый шахтер имел дело со взрывчаткой. Я сегодня же выступаю перед солдатами. Я им объясню, как важен этот рейд, и уверен, выйдут сотни добровольцев.

— Выступать не надо,— сказал Ксанти.— И объяснять тоже. Никому. О рейде знаем лишь мы четверо.

— О цели рейда должны знать командиры групп, а именно: командир матадоров, Ярецкий и Доусек,— сказал Лаптев.

— Нет,— сказал Ксанти.

— Да,— возразил Лаптев.— Я как командир сводного бронеполка в первую очередь несу ответственность за результаты рейда, и я на этом настаиваю.

— Будешь настаивать, я сниму с тебя ответственность и переложу на другого,— ответил спокойно Ксанти.

— Насколько я знаю,— сказал Лаптев,— никто тебе не давал права возлагать ответственность или снимать ее.

— Ты прав,— согласился Ксанти,— ответственность не возлагают, ее берут сами. Я ее и взял.

Росита перевела Родригесу диалог Ксанти и Лаптева. Родригес подумал и сказал:

— Я согласен с Ксанти. Пятая колонна активизировалась. Нам не хватает бдительности.

Республиканская артиллерия открыла огонь. После нескольких залпов на дорогу вынесся танк Лаптева. За ним несли эскадрон польских улан, за уланами следовали бронемашины, замыкал колонну второй танк.

Вскоре наткнулись на баррикаду, перегорожившую дорогу. Торчали стволы пушек. Но атака была настолько стремительной, что ар-

тиллеристы мятежников бросились в стороны.

Танк Лаптева протаранил баррикаду, разбросав бочки, мешки с песком. Не успевших отбежать уланы рубили саблями. Замыкающий танк, развернув башню назад, сделал несколько выстрелов, скорее символических, чем прицельных.

Отряд мчался по дороге. Штабную легковую машину танк Лаптева с ходу бросил в кювет, по ней полоснули из пулеметов с бронемашин. Лаптев взглянул на часы. С момента начала атаки прошло всего десять минут.

На полях работали крестьяне. Они с удивлением наблюдали за этим странным сборным отрядом.

Впереди показался небольшой городок с железнодорожной станцией.

Танк Лаптева перепрыгнул через рельсы. Выскочили солдаты охраны, но с бронемобиля пулеметчик дал короткую очередь, и все было кончено.

Отряд пронесся через городок и вылетел к станции. Но, по-видимому, о прорыве уже успели сообщить — от пакаузов ударили пулеметы.

Шнайдер двинул танк вплотную к стенке пакауза. По танку били из пулеметов, но он продолжал движение, и пулеметчики бросились бежать. Из бронемашин выскакивали матадоры, в ход пошли штыки.

Доусек с несколькими солдатами поднялись на водокачку, там установили пулемет. Доусек заметил, что франкисты выкатили противотанковое орудие. Он прильнул к окуляру оптического прицела своей снайперской винтовки, и первым упал офицер. Наводчик с удивлением оглянулся и на миг выдвинулся из-за орудийного щитка. Этого мига было достаточно Доусеку, чтобы нажать на спусковой крючок.

И вдруг наступила тишина. Все было кончено. Ксанти с солдатами-горняками начали минировать склады, вагоны с боеприпасами.

К Лаптеву подбежал связной:

— По северной дороге приближается колонна с танками...

...Две колонны шли навстречу друг другу. У той и другой впереди были танки. Экипаж республиканского танка открыл огонь, и легкий итальянский танк «Ансальдо» задымил, закупорив шоссе.

Ярецкий скомандовал, и уланы, вытянувшись в линию, поскакали вперед.

— Назад! — крикнул Лаптев.— Назад! — И выстрелил.

Еще несколько секунд по инерции атака продолжалась, но после второй предупреждающей ракеты конница Ярецкого развернулась и поскакала обратно. Попятились, отстреливаясь, и танки.

Между тем франкисты залегли и открыли огонь.

За глинобитной стеной Лаптев, Родригес и Ксанти наблюдали за боем в бинокли.

Подскакал Ярецкий.

— Почему вы отошли? — с едва сдерживаемой яростью спросил он. — Мы же могли прорваться...

Пригибаясь, подбежали командир матадоров и Доусек.

— Начинаем отступление, — сказал Лаптев.

— Я прошу мне объяснить, почему мы отступаем, — потребовал и командир матадоров

— Объясни им сам, — Лаптев повернулся к Ксанти.

— Выполняйте приказ, — отрезал тот.

— Отойдем, — попросил командир матадоров Лаптева, и они зашли за танк. — Он или предатель, или сумасшедший. Я предлагаю его расстрелять. — И матадор расстегнул кобуру пистолета.

— Он не предатель, — сказал Лаптев. — Но напряжение, усталость...

Ксанти вложил бинокль в футляр, посмотрел на часы, и в этот момент матадоры скрутили ему руки, заткнули рот платком и не очень деликатно забросили в кузов бронемашины. Лаптев вроде бы ничего этого не заметил.

Командиры групп собрались возле Лаптева.

— К аэродрому мы должны выйти в три ночи, — сказал он. — В три тридцать начнем атаку. А сейчас имитируем отступление.

— Чего уж тут имитировать, надо просто отступать, — сказал Доусек. — Иначе они нас окружат.

— Очень хорошо, — сказал Лаптев. — Значит, будем взаправду отступать, другого выхода у нас нет. Развяжите, — кивнул он в сторону Ксанти.

— Я тебе это припомню, — пообещал Ксанти, как только его освободили от веревок.

Отряд приближался к аэродрому. Вспыхнул прожектор, высветив из тьмы первый танк. По прожектору ударили из пулемета с бронемашин, и он погас.

И началась атака. Танки расстреливали самолеты из пушек. Матадоры забрасывали их

гранатами. Гремели взрывы, аэродром был охвачен пламенем.

К Лаптеву подскакал Ярецкий.

— Часть охраны отошла и готовится к контрнаступлению. Что будем делать?

— Ничего, — ответил Лаптев. — Мы свое дело сделали. Будем отходить...

...Отряд разместился в ущелье. Перевязывали раненых, направляли танки и бронемашинны горючим, прихваченным на аэродроме.

Лаптев собрал командиров групп.

— Через полчаса начнется наступление. Мы ждем подхода наших войск здесь и присоединяемся к ним... А пока всем отдыхать. Мы заслужили этот отдых.

Глухо доносилась орудийная канонада. Потом все стихло. Бойцы чистили оружие.

На дороге послышался треск мотоцикла. Родригес взглянул на Лаптева, тот кивнул. Матадоры приготовились.

Мотоциклист приближался. На дорогу выскочили три матадора. Мотоциклист на секунду растерялся, потом прибавил газу. Он несся прямо на матадоров. Один из них вдруг сделал шаг в сторону и мгновенно сдернул мотоциклиста с седла.

Родригес допросил мотоциклиста, вернулся к Лаптеву.

— Насколько я понял, — сказал Лаптев, — наступление не удалось.

— Да, — подтвердил Родригес. — Нас уже ищут. Все дороги перекрыты.

— Мы свое задание выполнили, — сказал Ксанти. — Взрываем машины, танки и уходим в горы. Через линию фронта будем просачиваться мелкими группами.

— Нет, — сказал Лаптев. — Танки я не взорву.

— То, что нам удалось дважды, в третий раз не пройдет, — сказал Ксанти. — Сейчас за нами начнется настоящая охота. Ты командир, тебе решать. Но помни, от твоего решения будет зависеть, останутся ли эти люди в живых.

— В прошлом году, — помолчав, сказал Лаптев, — из деревни приехал мой дед. Я его отвез в полк и показал танки. И знаешь, что он мне сказал?

— Знаю, — сказал Ксанти. — Если бы этими машинами да землю пахать.

— Откуда знаешь? — удивился Лаптев.

— А я все знаю, — ответил Ксанти. — Я знаю не хуже тебя, как мы живем, как недодаем, но строим танки. Их у нас не так много, но мы оторвали от себя и дали испанцам. И все-таки их придется взорвать...

Отряд уходил в горы. На лошадях везли раненых и пулеметы. Позади гремели взрывы. Это взрывался боезапас в танках.

Впереди тянулось шоссе. Через каждые сто—сто пятьдесят метров торчали фигуры часовых. Медленно проехал патрульный броневик.

— Обложили со всех сторон и по всем правилам...— сказал Лаптев.— Будем прорываться. Сейчас. Ночи мы можем и не дожидаться, нас достигнут раньше. По сигналу все вперед. И молча!

Часовой на шоссе увидел, как скатывались с гор люди с винтовками наперевес, с обнаженными саблями. Они приближались молча, и это было особенно страшно. Часовой отбежал, но тут же опомнился, выстрелил. Со всех сторон высыпали десятки солдат.

— Идите,— сказал Ксанти.— Я со своими ребятами прикрою.

Он и еще двое парней с ручными пулеметами выбрали позиции. Но один из пулеметчиков был убит, не сделав ни одного выстрела. Второго ранили. Остался один Ксанти. Он дал первую очередь по преследующим отряд франкистам. Но и его ранили в ногу. Ксанти посмотрел на штанину, которая все больше темнела, пропитываясь кровью, достал бинт, но перевязывать рану не стал, а лишь поудобнее пристроил пулемет.

Последними бежали Шнайдер, мулат Мигель и Гродинару. Шнайдер увидел Ксанти, бросился к нему.

Шнайдер взвалил Ксанти на плечи, мулат подхватил пулемет и дал очередь с рук. Флориан Гродинару стрелял из пистолета.

Шнайдер молча бежал, пока не достиг выступа скалы. Забежал за выступ и упал, задыхаясь. Рядом легли мулат и Гродинару.

Остатки отряда скапливались у подножия гор. Впереди, перед людьми Лаптева образовался разрыв в линии окопов франкистов.

— Есть шанс, дождавшись темноты, проскочить,— сказал Родригес.

Сзади слышались пулеметные очереди.

— Нет этого шанса,— ответил Лаптев и показал Родригесу в сторону окопов.

Франкисты тоже слышали пулеметные очереди у себя в тылу: из окопов стали выбираться солдаты.

— Только вперед,— сказал Лаптев.— Надо успеть проскочить, пока они поймут, что к чему.

— Но там открытое пространство. Перестреляют! — возразил Родригес.

— У нас нет другого выхода. Проскочим — будем жить. Вперед!

И люди бросились вперед. Их было около тридцати. Они миновали линию окопов мятежников, когда одновременно раздалась артиллерийские разрывы и ударили пулеметы. Бежали, падали под пулями — один, второй, третий... Отряд таял на глазах.

Республиканцы тоже заметили из своих окопов прорывающихся товарищей. Богоявленский из своего КП скомандовал артиллеристам, и они открыли огонь по франкистским позициям. Это подействовало. Плотность огня со стороны мятежников поубавилась. Однако не надолго.

Лаптев даже не услышал разрыва снаряда — оглушенный, он упал, отброшенный взрывной волной.

— Ежи! — крикнул Родригес.

Ярецкий и Росита повернули назад, подхватили Лаптева. До позиций республиканцев оставалось всего несколько десятков метров. Преодолеть их смогли только пять человек из всего отряда: Ярецкий и Родригес втащили в окоп Лаптева, за ними в окоп спрыгнули Росита и Беловер.

И сразу же наступила тишина. Больше никто не стрелял.

В горах сгустились сумерки.

— Пошли,— сказал Шнайдер.

— Фриц,— вдруг спросил Ксанти,— ну скажи честно, ты отпустил того немца или нет?

— Пошли,— повторил Шнайдер.— Сتم-нело.

Он взвалил Ксанти на спину. Мулат Мигель с пулеметом шел впереди, Гродинару — сзади.

— Ты все-таки скажи,— спросил Ксанти,— отпустил или не отпустил, я тебе прошу все. Но я должен это знать.

— Будьешь приставать,— буркнул Фриц,— возьму и брошу.

— Я ж не могу идти.

— Тогда помалкивай.

— Но я от тебя не отстану,— пообещал Ксанти.

— Сначала надо отсюда выбраться.

Скоро они вышли в тыл франкистам и залегли в кустарнике. Неподалеку в окопах то и дело маячили темные тени солдат ночного охранения.

— Пойдем дальше, вдоль линии фронта,— предложил Шнайдер,— может быть, они не везде такие бдительные.

— Подожди.— Под удивленными взглядами товарищей кубинец достал из брезентового чехла разобранный саксофон, собрал его.— Сейчас они со страху лягут на дно окопа, и сразу бежим.— И Мигель приложил инструмент к губам.

Раздался жуткий протяжный звук, очень похожий на вой летящего крупнокалиберного снаряда. Франкисты мгновенно нырнули в окопы.

Шнайдер подхватил на руки Ксанти. За ними мчались Мигель и Флориан Гродинару...

В каюте парохода, отходящего из Барселоны, сидели Лаптев, еще трое раненых и Лиляна.

— Ты береги себя,— сказал Лаптев.— Я тебя очень прошу, береги себя.

— Я думаю, со следующим рейсом уедем и мы,— сказала Лиляна.— Осталось несколько дней.

— Чтобы погибнуть, достаточно нескольких секунд.

В каюту вошел Ксанти и бодро сказал: — Физкульт-привет, ребята! Лаптев, можешь выйти на минуту?

— Попробую,— сказал Лаптев, с трудом поднимаясь.

Они вышли в коридор. Лаптев сжал голову ладонями.

— Все время шум...

— Нормальная контузия,— сказал Ксанти.— Со временем должно пройти... Я вот что хотел сказать... Положение у нас там сейчас сложное. Могут быть всякие выяснения. Ведь история со Шнайдером еще не сыграна до конца. Он был в твоём экипаже, а ты его все время защищаешь.

— И ты его защищаешь,— сказал Лаптев.— Ведь он тебе спас жизнь.

— Сейчас защищаю,— сказал Ксанти.— Но механизм запущен раньше. У меня к тебе просьба: не высовывайся на первых порах. Пережди. Обстановка очень сложная.

— Не понимаю.

Мимо них пронесли на носилках раненого.

— А больше я тебе сказать не могу,— ответил Ксанти.— Если честно, сам не все понимаю. Но запомни: не высовывайся, пережди. Обстановка действительно очень сложная.

В небе Барселоны гудели моторы. Город заметался. Люди бежали по улицам, ища убежище.

Росита бежала, как и все, поглядывая на небо. И вдруг споткнулась и упала. Где-то на окраине раздался первый взрыв авиабомбы. Неожиданно споткнулись и упали еще двое польских уланов, бежавших следом, потом женщина, несшая на руках ребенка. Ребенок заплакал. Несколько человек пробежали мимо, кто-то подхватил ребенка.

Ярецкий издали увидел, как упала Росита, и бросился к ней. Наклонился — платье Роситы на груди набухло от крови. Пуля щелкнула у его ног, отбив осколок от булыжника мостовой. Ярецкий подхватил Роситу на руки и бросился к гостинице.

...Роситу внесли в холл отеля «Ориенте» уже без сознания. Ярецкий пытался перевязать ее сам. Он разорвал платье, стал стягивать грудь бинтом, ему пытались помочь, но он отмахивался и все спрашивал:

— Откуда стреляли? Откуда стреляли?

Потом Ярецкого все-таки отвели в сторону, Роситой занялся врач.

— Она будет жить? — спросил Ярецкий.

— Нет,— ответил доктор.— Она умерла сразу.

Врач закрыл глаза Роситы и набросил на ее лицо простыню.

Ярецкий молча опустил на стул. Появились санитары с носилками, и Роситу унесли. Ярецкий продолжал сидеть не двигаясь.

— Стреляли из дома напротив,— доложили ему, и он поднял голову.— Но на доме флаг. Дом под дипломатической неприкосновенностью.

— Какого государства флаг?

Докладывавший пожал плечами.

— Узнать и доложить,— сказал почти шепотом Ярецкий, но выполнять его приказание бросились бегом.

Ксанти положил руку на плечо Ярецкому:

— Мы не сможем доказать, что стреляли из дома напротив.

— Вы, может быть, и не сможете, а я докажу.

Ярецкий достал пистолет, щелкнул предохранителем, поднялся и вышел из отеля.

Он медленно прошелся по тротуару, поглядывая дом напротив. Потом он вышел на середину улицы и начал выкрикивать по-испански:

— Ублюдки, сволочи, мясники! Вы убили девушку! Девушку убить легко. Вы попробуйте справиться с солдатом. Со мной! Попро-

буйте вот так же подстрелить польского улана. Вы же обгадитесь со страху. Вы же трусы!

Группа интербригадцев настороженно ждала на тротуаре.

А в отеле Ксанти допрашивал портье гостиницы.

— Так какого же это государства флаг?

— Не могут найти,— отвечал портье.— Нет ни в одном проспекте. Этот флаг только вчера появился.

— Эй, ублюдки! Что же вы молчите? — продолжал выкрикивать Ярецкий.

— Позовите его! — крикнул в окно Ксанти.— Его подстрелят.

И словно в подтверждение этих слов, с верхнего этажа дома ударил пулемет. Ярецкий отпрыгнул за угол. Пулеметная очередь высекала осколки камня и штукатурки.

Интербригадцы кинулись к дому напротив.

Связка гранат полетела в ворота, они распахнулись, и десятки людей бросились вперед с пистолетами, ручными пулеметами, обнаженными саблями.

Комнаты этого дома были превращены в казармы. Атаки здесь не ждали, поэтому оружие стояло в пирамидах.

Первые два этажа были захвачены без единого выстрела, но на третьем этаже из одной комнаты открыли стрельбу из пулемета. В комнату бросили гранату.

Потом обезоруженных мятежников вывели во двор, выстроили.

— Кто стрелял в девушку? — спросил Ярецкий.

Строй молчал.

— Я найду этого человека,— пообещал Ярецкому Ксанти.

Ярецкий еще раз оглядел строй и, сеутулив плечи, медленно пошел к гостинице.

В штабном номере отеля «Ориенте» Родригес проводил совещание. Докладывал Ксанти.

— При штурме дома взято сто семь человек. Убитых четверо. Потери с нашей стороны — двое убитых, семеро раненых. Я не снимаю с себя вины. Целый день напротив штаба бригады развевался флаг несуществующего государства и этот дом пользовался дипломатической неприкосновенностью. На территории расположения нашей бригады находятся еще шесть особняков, которые пользуются дипломатической неприкосновенностью. Это реальные государства, с которыми республика связана дипломатическими отношения-

ми, но в этих особняках, по данным разведки, скопилось до пятисот мятежников, готовых по первому сигналу ударить нам в спину.

— Я консультировался в правительстве,— сказал Родригес.— Правительство не может пойти на дипломатические инциденты...— Он вдруг стукнул кулаком по столу.— Можете не говорить. Я знаю все ваши аргументы и я с ними согласен. Да, правительство, которое боится скандалов, победить не может. Да, республика в опасности. Но в правительстве почти нет коммунистов. И мы ничего не в состоянии решить.— Родригес закрыл лицо руками.

Участники совещания больше не спорили. Молча вставали и один за другим выходили из номера.

В порту Барселоны шла посадка детей на советский пароход. На большой скорости на пирс вылетела машина. Лиляна сама сидела за рулем «форда». Рядом с ней был Шнайдер, сзади сидел Ярецкий с двумя девочками — сестрами Роситы. Часовой попытался бы преградить путь, но отскочил, потому что Лиляна, не сбросив скорости, въехала на территорию порта.

Матросы уже убрали перекидной трап.

— Ребята, обождите! — крикнула Лиляна по-русски.

Матросы остановились. Ярецкий с сестрами Роситы протиснулся к трапу. Сестры заплакали.

— Я приеду,— обещал Ярецкий.— Я обязательно приеду за вами.

На улицах Барселоны было пусто. Летели на ветру обрывки бумаги, мусор.

К штабу бригады подкатил «форд». Лиляна, Шнайдер и Ярецкий поднялись по лестнице.

Ксанти неторопливо бросал в горящий камин документы. В углу спал Доусек, обняв свою снайперскую винтовку.¹ Родригес говорил по телефону.

— Я прошу для оставшихся интербригадцев выделить транспорт. Но... К тому же еще осталось несколько советских военных советников. Я понял... Я запомню. Но запомни и ты: если мы когда-нибудь встретимся, я тебя расстреляю лично.— И Родригес бросил телефонную трубку.

— Насколько я понял,— сказал Ксанти,— транспорта не будет.

— Да. Он сказал: как добирались в Испанию, так пусть и выбираются отсюда.

— В правительстве переворот,— пояснил Ксанти Лиляне и Ярецкому.

— А по поводу советников из СССР он сказал, что он не знает, кто они такие, а если такие будут обнаружены, они будут расстреляны на месте.

— А ты, значит, в ответ пообещал его расстрелять,— сказал Ксанти.— Нашел время и место выяснять отношения... Все понятно. Будем выбираться сами.

И тут в штабной номер вошел Солонтай.
— Фронт открыт,— сообщил он.— Через час франкисты будут в городе.

— Через час не успеют.— Ксанти посмотрел на часы.— Сейчас они пообедают, потом приведут в порядок обмундирование, почистят ботинки. Победители должны выглядеть торжественно. У нас как минимум часа полтора. У тебя машина есть?

— Нет,— ответил Солонтай.— Я на мотоцикле, но у меня есть самолет. Спортивный, двухместный. Я могу захватить одного, а если похудее, то двоих.

— Прелестно. Значит, берешь Лиляну и...— Ксанти оглядел присутствующих, самый маленький и легкий был он сам, потом Шнайдер.— Шнайдеру к своим соотечественникам попадать никак нельзя. Вот вам паспорта и деньги, тут франки и доллары...

— А вы? — спросил Солонтай.

— Мы нормально. Сейчас устроим прощальный фейерверк. На станции скопилось много вагонов со снарядами, мы их взорвем и на двух машинах организованно покатаем к французской границе.

Лиляна обняла и поцеловала Ярецкого, Родригеса, Ксанти. Доусек спал.

Солонтай занял место пилота в кабине самолета. Фриц Шнайдер раскручивал винт. Наконец мотор заработал. Шнайдер сел во вторую кабину. На его коленях устроилась Лиляна с объемистой сумкой в руках.

Самолет пробежал по дорожке, оторвался от земли и стал набирать высоту.

Ксанти, Ярецкий, Родригес и четверо шахтеров спешно минировали вагоны с боеприпасами. На одной из платформ стоял новенький Т-26. Танк заминировали особенно тщательно.

Доусек устроился на крыше одного из домов. Увидел на дороге легковую машину с четырьмя офицерами франкистской армии. Машина повернула к станции. В сетке прицела снайпера появилась голова шофера, но, помедлив, Доусек перевел прицел на левое переднее колесо и нажал на спуск.

Машина вильнула в сторону, ударилась боком об асфальтовую тумбу и врезалась в ограждение часовни. Офицеры, выскочив из машины, открыли беспорядочную стрельбу по часовне.

Ксанти тем временем поджег бикфордов шнур, и все бросились к двум машинам. Доусек спустился с крыши, тоже уселся в автомобиль.

Машины мчались по пустому шоссе, а позади гремели взрывы, и над станцией вставало черное облако.

Солонтай заложил вираж над морем. Впереди показался обширный пляж. Весна только что наступила, и пляж был пуст. Самолет пошел на снижение. Солонтай заглушил мотор. Лиляна, Шнайдер и Солонтай прыгнули на землю.

Лиляна, захватив сумку, тут же направилась к пляжной кабинке. Оттуда она вышла в легком ярком костюме.

— Ребята,— сказала она,— комбинезоны долой! Деньги есть, я пойду покупать вам костюмы.

Солонтай и Шнайдер сбросили комбинезоны. У Шайдера оказались вполне приличные плавки. Солонтай был в длинноватых трусах, и Лиляна рассмеялась. Комбинезоны закопали глубоко в песок.

— Встречаемся через два часа. Загорайте. Только подальше от самолета.— И Лиляна ушла.

Остатки республиканской армии переходили французскую границу. Здесь были и Ксанти, и Ярецкий, Доусек, Родригес, подрывники-шахтеры. Бархатисто звучал саксофон. Это Мигель на взгорке играл «Кукарачу». Задорная мелодия, постоянная спутница бойцов-республиканцев, звучала на этот раз торжественно и печально.

Росла гряда сдаваемого оружия. Некоторые плакали, бросая винтовки. Мелькнул в толпе уже разоруженных Богоявленский. Он заметил Ярецкого и Ксанти, помахал им. Но уже пошла погрузка в грузовики.

К кубинцу подбежал французский пограничник и протянул руку к саксофону. Мигель

отрицательно покачал головой, разобрал инструмент и далеко забросил его за спину, на территорию Испании. Потом мулат отстегнул ремень с кобурой, отдал пограничнику и пошел к грузовику.

На Белорусском вокзале в Москве встречали испанских детей. Играл военный оркестр.

Из окон подкативших вагонов смотрели детские лица — восторженные, смеющиеся, настороженные. Дети выпрыгивали из вагонов, их обнимали, совали конфеты, что-то пытались объяснить.

Метался вдоль вагонов сопровождавший детей переводчик. К нему пробилась пожилая пара.

— А нельзя ли взять двоих? Мы бы хотели их усыновить.

— Нельзя, нельзя! — отмахнулся переводчик.

И переводчик снова понесся вдоль вагонов, за ним бежала женщина. Переводчик ей говорил:

— Следи и считай! Считай, чтобы все было на месте, а то растащат...

По перрону сквозь толпу пробивались Петр в военной форме, Ольга и Виктор. Ольга дернула Петра за рукав гимнастерки, показала на двух маленьких девочек.

— Не эти?

— Нет. Старшей четырнадцать, младшей двенадцать.

И тут одна из сестер, Люсия, сама увидела Лаптева.

— Петр! — крикнула она и потянула за руку младшую, Кармен.

Обнялись.

— Пошли, — сказал Петр.

— Нам нельзя, — сказала Люсия.

— Можно, можно. Потом мы вас привезем.

— Но мы должны сказать...

— Я все скажу сам, — сказал Петр.

И он повел девочек по перрону.

Переводчик закричал, пытался пробиться сквозь толпу, но это ему не удалось.

«Эмка» катила по Москве.

— Небольшая экскурсия по нашей столице, — сказал Петр. — Это улица Горького... Скоро будет Кремль. Вот он, видите?.. Красная площадь.

Девочки смотрели по сторонам.

Машина шла по Замоскворечью.

И вдруг Ольга увидела, что Петр лежит, откинувшись на спинку сиденья.

— Что с тобой? — шепотом спросила она.

Петр не отвечал.

— Что с тобой?

— Я плохо слышу, — сказал он. — И очень болит голова.

— Поворачивайте, — сказала Ольга шоферу. — Поедем в госпиталь.

Была весна 1939 года. Пасмурная, неприглядная. Ветер срывал холодные капли дождя с голых ветвей деревьев и швырял в окна комбриговской дачи.

Петр Лаптев топил печку. Он был один. Поленья шипели и чадили, не желая разгораться.

Послышался звук мотора. К даче подъехала «эмка», из нее вышел комбриг Дорофей Петрович Лаптев.

Он вошел в комнату, снял портупею с шашкой, бросил на койку.

— Как голова? — спросил он сына.

Петр пожал плечами:

— Печка хреновая. Переложить надо.

Дорофей Петрович распахнул пошире поддувало, вытащил до отказа вьюшку, потом свернул из газеты длинный жгут, поджег его и засунул в глубину топки, поближе к трубе. В печи загудело. Чад прекратился.

— Говори уж, — сказал Петр. — Ты без дела не приехал бы.

— Зачем ты подал рапорт, не посоветовавшись со мной? — помедлив, спросил комбриг.

— А что ты мне мог посоветовать? Ты же там не был.

— На основании твоего выступления в наркомате и этого рапорта о тебе сложилось мнение как о паникере... Моего сына считают паникером...

— Кто считает? Ты тоже? Все, что я говорил на совещании, и все, что написано в рапорте, — это реальные выводы из реальных фактов. Я воевал, и мне виднее. И не одному мне. Все, кто там был, могут подписаться под моим рапортом. Все.

— Те товарищи, которые принимают решение в наркомате, и я воевали значительно больше твоего. Ты мальчишка по сравнению с нами. Что ты видишь со своего шестка? Не понимаешь ты момента. Сейчас в людей нужно вселять уверенность в своих силах и оптимизм.

— У фашистов уверенности тоже хватает, — возразил Петр. — Но у них еще есть и современная техника.

— Наша техника не хуже, а даже лучше. Если взять, скажем, итальянские «Ансальдо»...

— Отец! — укоризненно сказал Петр. — Не надо! Ну что ты понимаешь в танках, ты же кавалерист! А я инженер! Я же с тобой не спорю о лошадях. Ты-то хоть мой рапорт читал?

Комбриг отрицательно покачал головой.

— Ты и на совещании не был! — продолжил Петр. — Ты же ничего не знаешь. Наши танки на бензиновом ходу горят как факелы. Нужны дизели. А броня! Она защищает от пуль, но противник же не идиот. У него отличная противотанковая артиллерия, легкие, маневренные пушки, которые прошивают танки насквозь. Я же видел, как горели наши танки. А в них танкисты.

— Опять ты не прав, — возразил комбриг. — Я точно знаю, что ведутся разработки...

— Да какие разработки! В серию пора запускать, менять надо технику повсеместно. Легкие танки на колесно-гусеничном ходу непригодны для ведения современного боя.

— Но ведь были не только недостатки, — сказал комбриг. — Были и достоинства.

— Были. Я изложил.

— Но о достоинствах ты написал с гулькин нос, а о недостатках... — И Дорофей Петрович широко развел руками.

— Когда бьют, надо анализировать недостатки, а не достоинства. А достоинства... Достоинства видны и так. О достоинствах написано много. — Петр показал на стопку газет. — Вот сколько написано про Испанию. Я внимательно прочел. Каждый день одна песня: республиканские войска побеждают, энтузиазм, героизм... В результате: жесточайшее поражение Республики. А если завтра начнется война против нас? Они же ее начнут!

— Ну, ты опять порешь горячку. Они знают нашу силу, не рискнут.

Петр махнул рукой.

Дорофей Петрович помолчал, глядя на сына, потом тяжело вздохнул, полез в карман, достал серый листок бумаги.

— Я приехал не спорить с тобой. Тебе пришла повестка. Завтра с утра ты должен быть у следователя. Я навел справки. Твои выступления и рапорт привлекли повышенный интерес. Вспомнили какого-то немца, который был в твоём экипаже и, кажется, уличен в пособничестве фашистам. Об этом есть сигнал, которому сначала не придали значения, но теперь, вот видишь, все выплыло. Что это за история?

— За немца я отвечу, — сказал Петр.

— Не понимаешь ты, — опять вздохнул Дорофей Петрович. — Время сейчас такое, могут свалить все в кучу: твой рапорт, немца...

— За время я не отвечаю, — сказал Петр.

— Мы все отвечаем за время.

— Да, Ксанти был прав, — пробормотал Петр. — Может быть, действительно не надо было высовываться.

— Кто такой? — спросил комбриг.

— Да так, — ответил Петр. — Один испанец... Ладно, поезжай, отец. Я приеду завтра утром.

И Лаптев-старший пошел к машине.

Возле ворот лагеря «Анжелес-Сюр-Мер» близ Перпиньяна стоял роскошный «кадиллак». Неподалеку прохаживался моложавый американец. Беловер прощался с товарищами. Он обнялся с Доусеком, Ярецким, Родригесом, Боговявленским, Мигелем. Подошел Ксанти.

— Ну что, Белов, — сказал он, — ты человек состоятельный. Я думаю, тебе надо приехать на землю предков, посмотреть, как и что...

— Я обязательно приеду.

И Беловер пошел к воротам, сел в машину, и «кадиллак» стремительно уехал.

Стояло жаркое лето. Солнце палило немилосердно, а спрятаться от жары было некуда. С трех сторон лагерь был обнесен колючей проволокой, а вдоль кромки моря прохаживался патруль, не подпуская людей к воде. Лишь небольшие домики охраны и административный барак отбрасывали кое-какую тень, но приближаться к ним заключенным строго запрещено. Люди спасались от жары в ямах, которые вырывали в песке, добываясь до влажного слоя.

— Есть разговор, — подошел Боговявленский к Ксанти.

— Ложись, — Ксанти подвинулся в своей ямке.

Боговявленский лег рядом, внимательно взглянул на Ксанти:

— Что будет со мной, если я вернусь на Родину?

Ксанти помолчал.

— Только честно, — добавил Боговявленский. — Это для меня очень важно.

— Сейчас возвращаются многие, — неопределенно сказал Ксанти.

— И ничего?

— Ничего. А что может быть? Ну, подполковником в Красную Армию тебя, конечно, не возьмут.

— Я могу шофером, дорожным рабочим, токарем. Могу преподавать математику, баллистику, французский язык.

— Ну вот видишь, какой ты ценный кадр. — Ксанти улыбнулся. — А работы у нас хватает. Это единственное, чего у нас вдоволь. Я ведь навел о тебе справки. Грехов особых на тебе нет. А какие и были — очистил в Испании.

— Окропиши мя иссопом и очистюся, омыеши мя и паче снега убелюся, — проговорил Богоявленский и добавил: — Спасибо тебе.

— На здоровье. Как думаешь, сколько им потребуется времени, чтобы все организовать?

— Беловер сообщит французам уже сегодня. Дня через три яхта будет здесь. Нам нужно будет только поближе к морю себе ямки вырыть. И ждать. Думаю, через неделю будем в Париже.

— Значит, все-таки морем?

— Больше шансов. Ночью патруль вдоль берега проходит с интервалом в десять-двенадцать минут. Вполне достаточно. Проплывем метров триста сами, а там будут ждать. Я уверен в успехе. Не из первого лагеря бегу.

Комната, которую снимал Валериан Петрович Богоявленский в Париже, была крайне тесна, но обладала одним достоинством — из комнаты можно было выбраться на крышу небольшой пристройки, и на этой крыше Валериан Петрович устроил себе нечто вроде террасы. В ясные ночи он там спал, о чем свидетельствовала железная кровать, там же он работал и обедал: к кровати был придвинут стол и два ящика вместо стульев. В нескольких ящиках росла герань, а в двух значительного размера кадках высились стройные, набравшие рост и силу березки. Эти два деревца составляли для Валериана Петровича сентиментальную суть его парижской жизни.

Сейчас на столе стояла бутылка с вином, лежал хлеб и сыр, а вокруг сидели Ксанти, Ярецкий, Доусек и Родригес.

— Слушай, — сказал Ксанти Доусеку, — не время тебе сейчас домой возвращаться. Там же немцы.

— Не могу, — сказал Доусек. — Сейчас там трудно. Я должен быть на родине.

— Сейчас везде трудно, — вздохнул Ксанти. — Жалко, сгнуть можешь. Вот Ярецкого я могу еще понять. Парень заводной. Любвеобильный. Паненка какая-нибудь ждет.

— Моя паненка осталась в Испании.

— Прости, — сказал Ксанти. — Давайте помянем Роситу.

Все молча поднялись.

— Я пойду, — сказал Ярецкий.

— Еще три часа в запасе. Поезд на Гавр в шестнадцать десять. Подожди, — сказал Богоявленский.

— Нет, друзья, — ответил Ярецкий. — Пройдусь по Парижу. Может, в последний раз. — Он пожал руки товарищей, вышел из комнаты, но тут же вернулся, взволнованно добавил: — Я вас найду, парни! Где бы вы ни были! — И ушел.

— Когда у тебя поезд? — спросил Доусека Ксанти.

— Через два часа, — ответил Мирек. Замолчали.

Вдруг с улицы кто-то позвал Богоявленского. Он выглянул в окно и увидел на тротуаре пожилого господина.

— Это ко мне, — сказал Богоявленский. — Я сейчас.

— Кто это? — насторожился Ксанти.

— Из Союза русских офицеров.

— Я пойду с тобой, — сказал Ксанти. — Меня эта публика интересует.

Они спустились вниз. Мужчина, увидев двоих, сказал:

— Валериан Петрович, у меня к вам конфиденциальный разговор.

— Это мой друг, — сказал Богоявленский. — У меня от него нет тайн.

— Ну что ж, — решил господин. — Должен вам сообщить, что вчера судом офицерской чести... Вы лишены воинского звания, орденов и дворянства. — Он помолчал, ожидая реакции Богоявленского. — Ваше решение вернуться в красную Россию мы рассматриваем как предательство. А вы отлично знаете, как поступают с предателями.

— А мне плевать на вас, — ответил Богоявленский. — За мной теперь держава, за мной Россия. А что за вами? Союз офицеров? Лет через десять он станет союзом стариков. А что дальше? И вообще, Виктор Михайлович, поехали с нами. Вы же из Калуги. Представьте только, вот вы в Париже, а через два дня в Калуге.

— Через два дня не получится, — серьезно сказал Ксанти. — Пока оформят паспорт, дня три пройдет, два дня — дорога, сутки на Москву. Интересно ведь после столько лет в Москве побывать. Многое изменилось.

Пожилой господин застыл на месте, потом вдруг отдал честь, четко повернулся и, печатая шаг, удалился.

— Послушай, а нельзя ли получить эту справку, — спросил Ксанти, — о лишении тебя дворянства? Она была бы лучше всякой

характеристики... Нет, пожалуй, не успеем — через два часа поезд. Пошли собираться.

Ярецкий возвращался в Польшу в каюте 4-го класса. Где-то за бортом плескалась вода. В коридоре раздались крики:

— Польша! Гданьск!

Ярецкий спрыгнул с верхней койки, взбежал по трапу на палубу. В ночи горел большой город, глухо доносились артиллерийские раскаты.

— А может быть, там уже немцы? — сказал кто-то.

...Ярецкий затерялся в разношерстной толпе беженцев, катившихся на восток. Вдруг он увидел, что в стороне окапываются солдаты. Их было немного — человек двадцать. Молодой поручик молча наблюдал за работой. Ярецкий подошел ближе:

— Пан поручик, капрал запаса Ежи Ярецкий готов встать в строй.

Офицер молча осмотрел его и устало сказал: — Иди, иди, капрал. У меня нет для тебя винтовки.

— С винтовками против танков тоже много не навоюешь...

Поручик ничего ему не ответил.

Уходя, Ярецкий оглянулся — солдаты устранились в окопах, положив винтовки на бруствер...

Толпа продолжала двигаться по дороге. В небе вдруг загудели моторы, и люди побежали кто куда — это была уже не первая бомбежка.

Ярецкий метнулся к каменной стене и чуть не споткнулся о тело лежащего ничком солдата. Солдат был мертв. Ярецкий взял его винтовку, снял ремень с патронами и шагнул в раскрытую дверь. Это был интендантский склад с кипами военного обмундирования. Ярецкий выбрал было солдатскую форму, но увидел и кипы офицерских мундиров. Выйдя во двор, бросил форму в пыль, потопал по ней ногами и надел. Вернулся снова на склад, нашел аккуратно составленные коробки с погонями поручиков, капитанов и даже полковников. Ярецкий отобрал из каждой коробки по паре погон, примерил капитанские.

— Не наглей, капрал, — сказал сам себе и остановился на погонах поручика.

Прицепив их, вышел из здания. Бомбежка кончилась, по-прежнему по дороге катился поток беженцев. Увидев здорового мужчину средних лет, Ярецкий подозвал его, и тот вытнулся и щелкнул каблуками.

— Служил? — спросил его Ярецкий.

— Так точно, пан поручик! Капрал запаса.

— Очень хорошо! Собирай людей, будем обмундировывать.

— Слушаю, пан поручик!

Вскоре во дворе склада собралось человек сорок — молодые, пожилые, некоторые с бородами, с длинными прическами. Торопливо натягивали на себя военную форму, примеряли конфедератки.

Ярецкий заметил капрала, у которого на ремне висела кобура с пистолетом.

— Откуда оружие? — спросил Ярецкий.

— Извините, пан поручик, — сказал капрал, — тут поручик, убитый, в канцелярии, ему это уже ни к чему. А мне пригодится.

— Капралу пистолет не положен, — сказал Ярецкий. — Сдать оружие.

Захватив кобуру с пистолетом, он прошел в канцелярию и увидел у стола убитого поручика. Ярецкий расстегнул карман мундира, достал документы. Прочитал: поручик Ян Ямпольский.

— Ян Ямпольский, — повторил он. — Четвертый полк тринадцатой пехотной дивизии. Ну что же, Ян Ямпольский так Ян Ямпольский... Извини, друг, тебе это действительно уже ни к чему, а они мне еще послужат.

Он открыл водопроводный кран и подставил офицерское удостоверение под струю воды. Поплыли чернила, отклеилась фотография...

Ярецкий вышел во двор склада, увидел уже построившихся людей.

— На-аправо! — скомандовал он.

Колонна с Ярецким во главе вышла за ворота...

...Впереди показались дымки походных кухонь.

К Ярецкому подбежал капрал.

— Пан поручик, какая-то военная часть. Теперь мы должны быть на довольствии. Людей надо кормить.

— Это ты правильно заметил, — сказал Ярецкий. — Правое плечо — вперед!

И строй повернул в расположение части. Ярецкий нашел полковника, который сидел, рассматривая карту.

— Поручик Ян Ямпольский, — представился Ярецкий. — Отстал от своей части. Провел частичную мобилизацию. Обмундировал людей. Сорок два человека. Прошу поставить на довольствие и выдать оружие.

Полковник прошелся вдоль строя. Остановился возле парня, волосы которого свисали до плеч.

— Что это за художники у тебя?

— Какие были, пан полковник, таких и брал.
— Остричь,— приказал полковник.— Накормить, выдать оружие...

Уже в сумерках крохотный локомотив поднял к вокзалу в Банске Быстрице три полупустых вагончика.

Доусек вышел, огляделся. Перрон был пуст, лишь вдалеке маячило трое солдат — военный патруль. Мирек крепче перехватил ручку чемодана и быстрым шагом направился в город.

— Эй, больной! — раздался крик ему вслед. Доусек оглянулся. Патруль не спеша подошел к нему.

— Почему больной? — спросил Доусек.

— Потому что сейчас такие молодые, как ты, если не в армии, то или больные или красивые. Покажи-ка свои бумаги.

Мирек протянул документы.

— Что это ты так долго делал во Франции?

— Работал по найму, — сказал Доусек. — Я столяр-краснодеревщик.

— А-а-а... Ну, парень, ты, конечно, осмотришь. Тут у нас наконец все пошло на лад. Мой тебе совет: иди в армию. Это сейчас единственное место для настоящего словака.

— Спасибо, — поблагодарил за совет Мирек.

...Мирек и дядюшка Незвал сидели в пивнице.

— Карела взяли почти сразу, многих посадили, — вполголоса рассказывал Франтишек Незвал. — Часть ушла в подполье, в общем, плохо...

— Плохо... — вздохнул Доусек. — Ну что же, я готов. Какое будет решение по поводу меня?

— Решение уже состоялось. Вчера на комитете решили, что ты должен пойти в армию. Армия для нас сейчас очень важна. У нас там есть люди, но их должно быть больше.

Мирек помолчал, потом спросил:

— Я могу съездить к своим родителям?

— А они знают, что ты был в Испании?

— Знают, — кивнул Мирек.

— Нет, нельзя, — сказал Незвал. — Ты не имеешь права рисковать. И не жди повестки, а иди добровольцем. Так тебе будет лучше.

— Только сообщите им, что я жив, — сказал Мирослав Доусек и улыбнулся. — Если нельзя домой, будем пить пиво. Эй, пан верхний, — позвал он официанта, — принесите нам,

пожалуйста, еще два пива и по порции жареной колбасы. Да побольше горчицы!..

...На плацу шли занятия по строевой подготовке. Среди солдат-новобранцев был и Мирослав Доусек.

— Как ты держишь винтовку? — крикнул унтер-офицер Доусеку. — Ты метлу держишь или оружие?

— Виноват, пан унтер-офицер, — крикнул Доусек, но тут же выронил винтовку, которая с громким лязгом упала на булыжник плаца. Доусек нагнулся, поднял винтовку и зажмурился, ожидая удара унтер-офицера...

...Вечером Доусек в полной боевой выкладке, весь мокрый от пота, бегал вокруг плаца. В центре плаца стоял унтер-офицер и кричал:

— Раз, раз, раз, два, три!.. Я сделаю из тебя солдата!.. Ты и стрелять у меня научишься!.. Раз, раз, раз, два, три!.. А то единственный, кто ни разу не попал в мишень, это — ты!.. Раз, раз, два, три!..

В порту Констанца было ветрено и холодно. Пассажиры, спустившись по трапу с парохода, спешили побыстрее миновать пограничный контроль и укрыться от дождя и ветра.

Флориан Гродинару, подняв воротник пальто и низко надвинув шляпу, ждал, когда подойдет его очередь у шлагбаума пограничного контроля. Кто-то тронул его сзади за плечо. Он оглянулся. За его спиной стоял невысокий человек в штатском и улыбался.

— Привет! — сказал он Флориану.

Флориан ничего не ответил.

— Что-то ты слишком долго играл в футбол во Франции. — Невысокий человек наклонился поближе к Флориану и доверительно шепнул: — Шеф ждет тебя.

Флориан оглянулся, резко бросился в сторону и побежал вдоль пирса. С разных концов наперерез ему бросились трое, а сзади бежал маленький человек в штатском.

— Стой! — кричал он. — Стой! — И выстрелил в воздух.

Флориан понял, что леваться некуда, и остановился. Маленький, запыхавшись, подбежал к нему и укоризненно сказал:

— Не представлялся и сразу бежать. Но это твоя последняя пробежка, теперь будешь сидеть. Видишь, как получается, в тридцать шестом я тебя провожал, а теперь встречаю. Мы с тобой просто близкие люди. И так будет до последних дней, пока не подохнешь.

На руках Флориана застегнули наручники.

Ярецкий, теперь поручик Ян Ямпольский, с остатками полка, который не насчитывал и полноценной роты, держал оборону в старинном помещицьем доме. Показались фашистские танки и пехота.

Поляки выжидали, подпуская противника для прицельной стрельбы. И вдруг танки приостановились и окутались ярко-желтым дымным облаком.

— Газы! — выкрикнул кто-то испуганно.

— Прекратить панику! — крикнул Ярецкий. — Обыкновенная дымовая завеса.

Дым ключьями окутал усадьбу. Где-то совсем рядом загудели моторы. Потом сверкнуло пламя и сноп огня ворвался в окно. Солдат, стоявший у пулемета, мгновенно вспыхнул огненным факелом.

— Это огнеметы! — крикнул Ярецкий. — Быстро в коридоры!

Но уже началась паника. Солдаты выскакивали из усадьбы и попадали под автоматный огонь. Рядом с Ярецким упал капрал. Ярецкий бросился к нему, но огненная струя накрыла их обоих. Ярецкий пытался сбросить мундир, но мешали ремни портупей. Он бросился к кровати, сдернул одеяло, накиннул на капрала и сам рухнул без сознания...

...Польский батальон остановился у реки перед мостом. На том берегу стояли советские пограничники в зеленых фуражках. Вначале по мосту пошли машины и подводы с ранеными. Потом прошел батальон с оружием. Лица солдат были сосредоточены и мрачны.

У КПП уже стояли санитарные автомобили. Ярецкого погрузили в машину. Он был весь в бинтах...

...Поезд шел по территории Советского Союза. Ярецкий лежал у окна. Показались золотые купола церквей, ярко сверкающие в лучах осеннего солнца.

— Москва? — спросил Ярецкий медсестру.

— Смоленск. Но Москва теперь близко.

Полковник Солонтай хмуро сидел в квартире генерал-майора Лаптева.

— Дорофей Петрович, неужели ничего нельзя сделать? Это же какая-то бессмыслица! Боевой командир... Почему? За что? Неужели вы ничего не можете сделать? Ведь вы ответственный работник наркомата обороны, запишитесь на прием к наркому.

— Я уже не работник наркомата... — сказал Лаптев-старший. — Завтра я уезжаю в западный особый принимать дивизию.

— Это из-за Петра? — спросил Солонтай.

— Возможно, — глухо сказал Лаптев-старший. — Я ничем ему не могу помочь...

— Но он же совершенно ни в чем не виноват, — глухо проговорил Шандор Солонтай. — И ведь вы это знаете не хуже меня. Так или нет?

— Ты бы об этом помалкивал...

— Почему я, боевой командир Красной Армии, должен помалкивать?! — вспыхнул Солонтай.

— Петька тоже так рассуждал, — сказал Лаптев-старший.

Вечером у главного инженера одной из ткацких фабрик Москвы собрались начальники цехов. Главный инженер, молодой мужчина, сказал:

— Ну, в общем все ясно, завтра меня не будет. А ты, Полина, останься на минуту, есть дело.

Все вышли. Начальник цеха, женщина средних лет, осталась.

— Вот что, — сказал главный инженер, — тут к нам прислали поляка. Будет работать в твоём цехе поммастера. Он приходил вчера. Ничего, соображает.

— А по-русски-то он разговаривает? — спросила начальник цеха.

— Понять его можно, но главное — в станках разбирается. И еще... у него несчастье. Будьте с ним поделикатнее.

— А что за несчастье?

— Придет, увидишь, — сказал главный инженер...

...В ткацком цехе ровно шумели станки.

— Вон, новенький поммастера пришел, — сказала одна из работниц другой.

— Говорят, поляк, — откликнулась та. — Поляки — красивые мужчины.

Обе женщины спешно поправили на себе косынки.

По проходу шел Ярецкий. Он приблизился к станку, молча достал из сумки инструменты. Женщины притихли, замерли. Ярецкий обернулся, его было совершенно не узнать, обожженное лицо, стянутая в шрамах кожа. Закопчив наладку, он, ни на кого не глядя, ушел...

...Ярецкий шел по летней Москве. Был он в шляпе, надвинутой на глаза. Отпущенная борода скрывала нижнюю часть лица, но шрамы были видны. Шедшая навстречу девушка торпливо отвела глаза. Ярецкий подошел к киоску «Мосгорсправки».

— Могу ли я узнать адрес моего друга? — спросил Ярецкий. — Лаптев Петр Дорифеевич, тысяча девятьсот четырнадцатого года рождения.

— Подойдите через двадцать минут, — сказала девушка.

— Еще тогда один адрес, можно? Станева Лиляна Рангеловна, тысяча девятьсот четырнадцатого года рождения, город София.

Тут киоскерша подняла глаза и увидела обожженное лицо Ярецкого.

— Вы можете подождать здесь, я сейчас узнаю.

Ярецкий присел на скамейку. Женщина звонила по телефону, потом постучала по стеклу. Ярецкий подошел. Она протянула ему листок с адресами, пояснила:

— Это совсем недалеко. Повернете направо, через два квартала будет этот дом. С вас рубль.

— Спасибо, — сказал Ярецкий...

...Уже темнело, когда Ярецкий прохаживался во дворе дома на улице Горького и вдруг увидел Лилянэ в форме с капитанскими йетлицами. Он шагнул ей навстречу. Лиляна мельком взглянула на него и прошла мимо. Ярецкий постоял немного и вышел на вечернюю улицу Горького, полутемную, с редкими тускло освещенными витринами магазинов.

В одном из переулков Замоскворечья, в маленьком дворике бегали черноволосые кавказские дети, играя в войну. Ксанти на самодельном мангале жарил шашлык.

Во двор вошли Чумаков, Лиляна, Шнайдер в Солонтай.

— Камарадос! — обрадованно крикнул Ксанти. — Как узнали? Вчера только приехал.

— Есть разговор, — мрачно сказал Чумаков.

— Обязательно поговорим, — ответил Ксанти. — Только вначале будем шашлык кушать, вино пить.

— Разговор есть, — повторил Чумаков.

— Ну что же, — сказал Ксанти. — Пошли.

Они поднялись на крыльцо и вошли в тесную прихожую. Ксанти распахнул дверь, и все четверо молча вошли в комнату, убранную коврами, на которых были развешаны грузинские и испанские кинжалы.

За ними в дверь сунулись дети: четыре пары черных глазенок с любопытством смотрели на гостей. Ксанти им что-то сказал с жесткой гортанной интонацией, и дети мгновенно скрылись. Ксанти прикрыл дверь поплотнее и сел.

— Ты знаешь, что с Петром? — спросила Лиляна.

— Не знаю, — ответил Ксанти. — А что?

— Петр арестован. Из-за Шнайдера... Вся эта история с летчиком.

— Наверное, все-таки не только из-за этой истории, — сказал Ксанти.

— Он написал резкий рапорт о положении дел в Испании, — сказал Чумаков.

— Это уже ближе... Я ему говорил: не высовывайся.

— Ты можешь помочь? — спросил Чумаков.

— Нет, — покачал головой Ксанти.

— Это ты во всем виноват! — вдруг выкрикнула Лиляна. — Ты!.. И если он погибнет — это будет на твоей совести. — Она заплакала и бросилась к выходу.

Ксанти перехватил ее и тоже закричал:

— Ты зачем ко мне пришла?! Плакать могла и у себя дома!

— Мы пришли к тебе за советом, — спокойно сказал Солонтай. — Что делать, как найти выход?

— Выход есть, — сказал до этого молчавший Шнайдер. — Я пойду к следователю и расскажу, что я во всем виноват.

— Очень хорошо! — сказал Ксанти. — Значит, подозрения подтвердятся, что именно ты отпустил врага, тебя арестуют тоже и командира ты этим не спасешь. Нет, тут иначе. Все вы знаете, какой хороший, смелый и преданный человек Петр Лаптев. Какой умный командир. Как много полезного он сделал для Республики. И об этом надо написать. Я скажу, кому. Сейчас в Москве Родригес, я с ним вместе приехал. Он подтвердит. Лиляна может и у наркома обороны побывать. Да?

— Могу, — ответила Лиляна. — А если ты хочешь знать, как все было на самом деле...

— Стоп, — остановил ее Ксанти. — Сейчас не надо. Я этого и знать не хочу. Мы поговорим об этом потом, когда снимем военную форму, когда будем нянчить внуков.

— Мне еще надо родить детей, — сказала Лиляна.

— Рожай.

— Рожу. Когда вернется Петр!

— Позови крестным отцом, — сказал Ксанти.

— Позову, — пообещала Лиляна.

На даче Лаптевых праздновали свадьбу Шнайдера. Фриц со своей невестой Анной Митрофановой сидели во главе стола. Анне было лет двадцать, была она русоволосая и синеглазая.

За столом сидели «испанцы»: Солонтай, Чумаков, Родригес, Лиляна, Ксанти, Богоявленский. Чуть в стороне сидел Петр. Со стороны невесты были мать и отец. Иван Митрофанович Митрофанов — сорокалетний крепкий еще мужчина — был невесел.

— Митрофанч, а ты чего? — подсел к нему Ксанти. — Дочь замуж выдаешь, за хорошего парня, за работающего. Ты же знаешь наш главный лозунг: «Пролетарии всех стран, соединитесь». Так ты его почти осуществил.

— Лозунг этот правильный в политическом смысле, — согласился Митрофанов. — А вот родятся дети. Кто они будут: немцы или русские?

— Твои внуки они будут.

— А как называть? Ганс, Карл? Карл, конечно, имя хорошее. Маркса Карлом звали. И все-таки непривычно...

Родригес разговаривал с Лиляной.

— Как он? — Родригес кивнул на Петра.

— Нормально. Только замкнутый какой-то. Молчать стал больше.

— Можно понять. Тяжело ему пришлось.

— Не только ему одному.

— Слушай, а о Ярецком ничего не слышно?

— Нет, — сказала Лиляна.

— Но я знаю, что очень многие из Польши попали к нам, когда началась война с немцами.

— Если бы он был здесь, он бы нас нашел. Такого быть не может, чтобы он нас не нашел.

Анна Александровна расспрашивала Богоявленского.

— Как, Валериан Петрович, привыкаете к новой жизни?

— А чего привыкать? — ответил Богоявленский. — Я просто вернулся домой.

— Ну, а как с личной жизнью?

— Все знакомые девушки вышли замуж. Некоторые успели даже стать бабушками. Так что личной жизни никакой. Да и кому я нужен? Почти полсотни.

— Ну тут вы преувеличиваете, — сказала Анна Александровна. — Я думаю, мы решим эту проблему. У меня есть несколько приятельниц, вы посмотрите, они на вас посмотрят...

Митрофанов вдруг заторопился:

— Поспешайте, поспешайте, а то последний поезд скоро...

К Шнайдеру подошел Петр:

— Вы оставайтесь с Анной, мы вам отдельную комнату выделим. А завтра с утра на рыбалку.

Ранним утром, едва рассвело, Богоявленский, Солонтай, Петр Лаптев и Ксанти, захватив бредень, ушли к реке.

Фриц Шнайдер включил приемник, больше похожий на комод среднего размера. Покрутил шкалу. Зазвучала бодрая маршевая музыка.

— Это кто же? — спросила Анна Александровна, проходя на кухню.

— Берлин, — сказал Шнайдер.

Гремела музыка. Вдруг она смолкла на полутоне и вступил торжественный голос диктора. Шнайдер прильнул к приемнику. В жесткой немецкой речи мелькнули знакомые слова: Одесса, Минск, Киев. И снова зазвучала бодрая музыка.

Фриц прошелся по веранде, вдруг одним прыжком преодолел крыльцо и побегал.

Задыхаясь от быстрого бега, он выскочил к запруде, где по пояс в воде Богоявленский, Чумаков и Солонтай с Лаптевым тащили бредень.

— Война! — крикнул Шнайдер. — Криг!

— Какая война? — не понял Солонтай.

— Гитлер напал на Советский Союз! Я только что слышал передачу новостей из Берлина.

Мужчины остановились.

— Ты не путаешь? — спросил Солонтай.

— Нет. Бомбили Киев, Одессу, Минск. — Фриц неожиданно улыбнулся. — Ну теперь Адольф, этот козел вонючий, получит свое! И я скоро вернусь на Родину!

Остальные хмуро переглянулись и стали поспешно одеваться. Все пятеро бегом бросились к даче. Богоявленский скоро отстал — не держал темпа.

— Включай! — сказал Ксанти, едва они вбежали на веранду.

Шнайдер включил приемник. Берлин снова передавал бодрые марши, затем диктор повторил сводку немецкого верховного командования.

— Все ясно, — сказал Петр.

— Попробуй Париж, — попросил Богоявленский.

Фриц покрутил ручку настройки. Послышалась французская речь. Там тоже говорили о нападении на Советский Союз.

— Давай Москву! Москву! — закричал Чумаков.

Фриц стал крутить ручку. Мимоходом выяснили, что и Бухарест тоже в курсе последней новости. Однако Московская радиостанция передавала песня хора Пятницкого. Потом по-

шли последние новости, говорили о сенокосе, о добыче угля. О войне ни слова.

— Что будем делать? — спросил Петр.

— Поедем, — сказал Солонтай. — А что еще делать в подобном случае военным?

Он стал быстро натягивать сапоги и перепоясался портупеей.

На веранду вышли Анна Александровна и Любовь Петровна.

— Нам надо в Москву! — сообщил Петр.

— Ненадолго! — улыбнулся Ксанти. — Мы скоро вернемся.

— Хорошо, — настороженно сказала Любовь Петровна.

Они прибежали на станцию, когда подошел паровоз с дачными вагонами из Москвы. Ранние дачники, приехавшие за город в выходной день, с корзинами с едой, с детьми, были беззаботны и веселы.

Подошел поезд на Москву. В город в это раннее утро почти никто не ехал. Мужчины сели в пустой вагон. Поезд тронулся, мимо окон проносилось мирное Подмоскovie.

— А какое сегодня число? — спросил Богоявленский.

— Двадцать второе июня, — ответил Ксанти.

(Продолжение следует)



ВАЛЕНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ ЧЕРНЫХ (родился в 1935 году) окончил сценарный факультет ВГИКа. Автор сценариев фильмов «Человек на своем месте», «Собственное мнение», «Москва слезам не верит», «Культпоход в театр» и многих других. За участие в создании фильма «Вкус хлеба» удостоен звания лауреата Государственной премии СССР.



АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ МАЛЮКОВ (родился в 1948 году) окончил режиссерский факультет ВГИКа. Поставил на киностудии «Мосфильм» художественные фильмы: «В зоне особого внимания», «Безответная любовь», «34-й скорый». За постановку фильма «В зоне особого внимания» удостоен Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых.

В этом номере альманаха публикуется сценарий первой серии киноэпопеи «Договор с судьбой», продолжение будет помещено в следующем номере. Киноэпопея ставится на киностудии «Мосфильм», режиссер-постановщик Андрей Малюков.

**МАРИНА
БАБАК
ИГОРЬ
ИЦКОВ**

МАРШАЛ ЖУКОВ

Далеко на востоке

И открылась монгольская степь близ тылового городка Тамцаг-Булак, и медленно поплыла она под крылом транспортного самолета — выжженная, бескрайняя, с зальсынами солончаков, с накатанными колеями армейских грузовиков. Показались глинобитные дома, похожие на большие сараи, сгрудившиеся юрты редких поселений, пограничные посты.

Степь — жаркая, громадная — казалась безлюдной. И только когда камера оператора, летевшего над степью, приблизилась к земле, мы увидели длинную растянувшуюся колонну подтягивающихся войск. Лица красноармейцев — усталых, запыленных, молчаливых, — казалось, несли на себе отпечаток горечи, неуспеха...

Действительно, в мае-июне 1939 года, когда японские милитаристы затеяли военную авантюру в Монголии, советские войска в районе реки Халхин-Гол терпели неудачи.

Сталин обсуждал этот вопрос с наркомом обороны Ворошиловым. Присутствовали Тимошенко и Пономаренко — секретарь ЦК Компартии Белоруссии.

— Кто там, на Халхин-Голе, командует войсками? — спросил у Ворошилова Сталин. — Комбриг Фекленко.

— Ну, а что он собой представляет?

Ворошилов не мог сказать ничего определенного.



— Что же это такое? — недовольно сказал Сталин. — Люди воюют, а ты не представляешь себе, кто у тебя там воюет, кто командует войсками. Надо туда назначить кого-то другого, чтобы исправил положение и был способен действовать инициативно. Чтобы мог не только исправить положение, но и при случае надавать японцам...

Кого-то другого...

И мы из монгольских степей перенеслись к пушам, полям, шляхам Белоруссии. Увидели полевой смотр войск Белорусского военного округа — проход конницы, артиллерии, пехоты. Увидели перед корпусной колонной невысокого, коренастого, ладно, истинно подрагунски, сидящего в седле командира.

А между тем разговор в Кремле продолжался.

Тимошенко сказал:

— У меня есть кандидатура — комкор Жуков.

На старой, предвоенной фотографии мы увидели его. Он стоял на трибуне полевого смотра войск округа рядом с командующим — комдивом Ковалевым и его заместителем комдивом Кузнецовым. Низко надвинутая фуражка. Португепя. Три ромба в петлицах. Большая, крутой посадки голова. Черты лица словно вырублены резцом единым махом, без подробностей.

— Жуков... Жуков... — раздумчиво протворил Сталин. — Что-то я помню эту фамилию...

— Это тот самый Жуков, — сказал Ворошилов, — который в тридцать седьмом прислал вам в мне телеграмму о том, что его несправедливо привлекают к партийной ответственности.

— Ну и чем дело кончилось? — спросил Сталин.

— Ничем. Выяснилось, что оснований для привлечения к партийной ответственности не было...

Историю эту доскажем уже на кадрах хроники, снятых в Монголии, на командном пункте Жукова.

Ему сообщили — надо отправляться в Москву. Он спросил — зачем выезжают? Все-таки год был тридцать девятый...

Ему сказали только — быть у наркома.

— Ну что ж, есть! — ответил Жуков...

И вот теперь командующий армейской группой напряженно глядел в артиллерийскую стереотрубу. За рекой Халхин-Гол, за извилистыми оврагами, за юртами, прикрытыми от японской авиации маскировочными сетками, в нескольких километрах — позиции противника.

Весь июнь 1939 года японцы готовились к операции «Второй период намонханского инцидента». Своей целью они ставили: переправу через реку Халхин-Гол, захват и расширение плацдарма; окружение и разгром всей группировки советских и монгольских войск.

Еще до наступления осени японское командование рассчитывало завершить военные действия на территории Монгольской Народной Республики.

Жуков оказался в критической ситуации. В районе горы Баин-Цаган у противника было более десяти тысяч штыков, советские войска располагали лишь тысячью. У японцев было до ста полевых и до шестидесяти противотанковых орудий. У нас — немногим более полусотни. И, наконец, общая диспозиция была такова, что японцам ничего не стоило спуститься с Баин-Цагана вдоль берега и отрезать все основные советские и монгольские части.

Счет шел не на дни — на часы. Нанести контрудар могли только бронетанковые части — 11-я танковая и 7-я мотобронева бригада, 8-й монгольский бронедивизион. Пехота безнадежно опаздывала. Вдобавок ко всему японцы, обнаружив с воздуха наши танковые колонны, начали их бомбить.

Жуков принял чрезвычайно рискованное решение — нанести контрудар с ходу, не дожидаясь пехоты. Около десяти часов утра

3 июля начали подходить передовые подразделения 11-й танковой бригады, которой командовал комбриг Яковлев. Еще через 1 час 45 минут главные силы этого соединения развернулись и с ходу атаковали японцев.

В воздух была поднята вся советская авиация. Она начала бомбить и штурмовать Баин-Цаган. И в хронике тех дней — небывалый, непривычный, неведомый прежде размах воздушных сражений, безжалостного огня.

Удар был внезапным и мощным. Ржали, металась перепуганные лошади, мчались машины, горели японские самолеты. Тонули в водах Халхин-Гола солдаты и офицеры противника — переправу, опасаясь наших танков, подорвали сами японцы.

Бои шли всю ночь и весь день 4 июля. На следующий день все стихло. Операторы запечатлели финал Баин-Цаганского сражения: на восточных скатах горы тысячи трупов, раздавленные и разбитые орудия, минометы, пулеметы... Догорали штабные машины...

В том бою родился полководец Жуков.

Склонясь над картой, командующий армейской группой спокойно и обстоятельно беседовал с маршалом Хорлогийном Чойбалсаном, возглавлявшим монгольские войска. Они уточняли детали генерального наступления, которое, по замыслу Жукова, должно было начаться не позднее 20 августа.

Снятые в минуту затишья кадры дают возможность впервые, наверное, подробно разглядеть Жукова. Заметить, как крепость, слаженность фигуры делают его словно бы выше ростом, а решительные жесты, показывающие направление ударов, отсечения, прорывы, как бы разрушают, разводят позиции противника на карте. И жуковскую улыбку, о которой так точно написал потом Константин Федин: «...улыбка мягкая, как у людей, которые знают, что она действует убедительнее силы».

Вернемся к событиям июля и августа 1939 года. После классической, как ее определил впоследствии сам Г. К. Жуков, операции активной обороны японцы больше не пытались переправляться на западный берег Халхин-Гола. Однако рыли окопы, строили блиндажи, взводили долговременные инженерные сооружения.

Жуков же позаботился о крайней секретности в подготовке генерального наступления.

Наступило воскресное утро 20 августа. Убежденные, что ничего существенного не произойдет, японцы даже предоставили своим генералам и старшим офицерам воскресные отпуска.

Нашим кинооператорам было разрешено снимать только утром, в 6 часов 45 минут. Тогда был открыт огонь по зенитной артиллерии и зенитным пулеметам противника. В семь утра сто советских бомбардировщиков и двести истребителей поднялись в воздух. В 8 часов 16 минут начался огневой налет артиллерии, а в 8.30 еще одна волна советской авиации обрушила огонь на японцев.

8.45. В небо взвились ракеты. Атака!

Бои были жестокими. Вот как оценивал их сам командующий:

— Я противник того, чтобы отзываться о враге, умаляя его, — вспоминал Жуков. — Это не презрение к врагу, это недооценка его. А в итоге не только недооценка врага, но и недооценка самих себя. Помню, я допрашивал японцев... Они все были до того изъедены комарами, что на них живого места не было... Их посадили в секрет, а потом забыли о них. Их батальон оттеснили, а они все еще сидели там вторые сутки и не шевелились... Это действительно солдаты!

Да, враг был силен. На третий день наступления темп нашего продвижения замедлился. Стрела на штабной карте на северном фланге уперлась в высоту Палец. Жукову рекомендовали остановиться, нарастить силы. Но характер командующего проявился и тут: если мы не выполним плана, сказал он, понесем куда больше потери, чем несем, действуя решительно. И с ним согласились...

На Хамардабе, в штабе армейской группы, разбирали брошенные японские документы, бумаги. По полу были разбросаны сотни фотографий — мужских, женских, открытки с белой снежной вершиной Фудзиямы.

А в степи — искореженная, раздавленная гусеницами, колесами военная техника, еще недавно такая грозная...

Со своими ближайшими помощниками Жуков шел по полю сражения. Пожалуй, он впервые отдохнул, выспался за эти дни — словно помолодел.

Это была его первая большая победа. Первое большое сражение. И в том, что оно так и осталось «конфликтом», не переросло в большую войну на наших восточных рубежах, был его труд и его смелость. Его риск. Его слава.



Комкор Жуков — командующий армейской группой на Халхин-Голе. 1939 г.

Об этом он будет помнить всю жизнь. И в дни Великой Отечественной. И в Берлине, в сорок пятом, и после войны...

А кассеты с пленкой летели из Монголии в Москву, превращались в сюжеты «Советского киножурнала»:

подписание капитуляции...

маркировка границы...

увоз трупов... По взаимному соглашению, японцы выкапывали трупы павших, сжигали их, упаковывали прах в урны, чтобы передать близким...

— Я думаю, — говорил впоследствии Георгий Константинович Жуков, — Халхин-Гол отрезвил японцев. Они получили хороший урок. И урок этот — одна из причин, почему Япония не выступила против нас в войне. Не единственная, конечно, причина, но одна из причин...

Дни Халхин-Гола были трудными днями. Но именно тогда родилось и окрепло боевое советско-монгольское братство. На памятнике, сооруженном на месте боев, высечены слова: «Вечная слава воинам-героям Советской Армии и мужественным цирикам Монгольской Народно-Революционной Армии, павшим в боях с японскими захватчиками в районе реки Халхин-Гол за свободу и независимость миролюбивого монгольского народа, за мир и безопасность народов, против империалистической агрессии».

На Халхин-Голе наша страна, наша армия показали: у нас слова не расходятся с делом, мы будем защищать рубежи братской Монголии, как свои собственные.

Жуков на Халхин-Голе зарекомендовал себя военачальником, способным побеждать в условиях современной войны, когда в больших масштабах используется и авиация, и танки. Это не только сделало его одним из самых авторитетных генералов Красной Армии, но, думается, имело и большое значение для него самого. Недаром он не раз говорил: «Я до сих пор люблю эту операцию».

Армейская молва гласила, будто он перед Халхин-Голом, срочно собираясь по вызову Ворошилова в Москву, спросил только одно:

— Шашку брать?

Так ли это было на самом деле, теперь, пожалуй, никто уже не скажет. Но эта легенда — первая из тех, что связаны с его именем, — точно отразила характер Жукова.

Он был счастлив и горд. Таким и остался на фотографии, сделанной в Монголии, — улыбающийся, обветренный, загорелый.

Лето и осень 1941-го

Двадцать первого июня, в субботу, прошел сильный дождь — грозовой, шумный, но короткий. Синоптики предсказали такую же погоду — солнечную, с краткими дождями — на следующий день.

Все было тревожно в ту ночь. Вопреки некоторым версиям позднейших лет, ни в Москве, в кабинете наркома обороны Тимошенко, ни в Киеве, ни в Минске, ни в Ленинграде, ни в Одессе, ни в Севастополе — ни в одном военном округе, ни в одном флотском штабе никто не спал...

В 00 часов 30 минут 22 июня 1941 года в округа была передана директива, подписанная наркомом обороны Тимошенко и начальником Генерального штаба Жуковым: «Военным составам ЛВО, ПриОВО, ЗаОВО, КОВО, ОдВО. Копия: Народному Комиссару Военно-Морского Флота.

1. В течение 22-23.6.41 г. возможно нападение немцев...

2. Задача наших войск — не поддаваться ни на какие провокационные действия, могущие вызвать крупные осложнения. Одновременно войскам Ленинградского, Прибалтийского, Западного, Киевского и Одесского военных округов быть в полной боевой готовности, встретить возможный удар немцев или их союзников...»

...В тот момент, когда погасли старинные фонари у памятника Пушкину — в три часа ночи, — Тимошенко, Жуков и его заместитель генерал Ватутин находились в кабинете наркома.

Вот как пишет об этом сам Жуков: «В 3 часа 07 минут мне позвонил по ВЧ командующий Черноморским флотом адмирал Октябрьский и сообщил: «Система ВНОС флота докладывает о подходе со стороны моря большого количества неизвестных самолетов...»

...Рассветные улицы — Моховая, Горького, Садовая, «образцовый километр» Ленинградского шоссе у стадиона «Динамо» — были пусты...

«В 3 часа 30 минут начальник штаба Западного округа генерал Климовских доложил о налете немецкой авиации на города Белоруссии... Минуты через три начальник штаба Киевского округа генерал Пуркаев доложил о налете авиации на города Украины...»

В 3 часа 40 минут позвонил командующий Прибалтийским военным округом генерал Кузнецов, который доложил о налетах вражеской авиации на Каунас и другие города...»

...На одном из московских перекрестков — у громады Дома Правительства на набережной — операторы наковец «поймали» восход солнца...

«Нарком приказал мне звонить Сталину. Звоню. К телефону никто не подходит. Звоню непрерывно. Наконец слышу сонный голос дежурного генерала управления охраны.

— Кто говорит?

— Начальник Генштаба Жуков. Прошу срочно соединить меня с товарищем Сталиным.

— Что? Сейчас? Товарищ Сталин спит.

— Будите немедленно: немцы бомбят наши города.

Несколько мгновений длится молчание. Наконец в трубке глухо ответили:

— Подождите.»

...Солнечный шар уже оторвался от московской воды; у Кремлевской стены засверкала солнечная дорожка...

«Минуты через три к аппарату подошел Сталин. Я доложил обстановку и просил разрешения начать ответные действия.»

...Солнце позолотило шапки кремлевских соборов...

«Сталин молчит. Слышу лишь его дыхание.

— Вы меня поняли?

Опять молчание.

Наконец Сталин спросил:

— Где нарком?

— Говорит по ВЧ с Киевским округом.

Приезжайте в Кремль с Тимошенко. Скажите Поскребышеву, чтобы он вызвал всех членов Политбюро.»

...Так — с безоблачного неба, с сумятицы телефонных звонков — начинался самый длинный в жизни миллионов людей день. И длился он без малого четыре года, этот день суровых испытаний, мужества, день большой беды и высокой славы.

Наш сценарий — не последовательный рассказ о событиях Великой Отечественной. О ней, о ее важнейших этапах, о ее трудных, горьких, невыносимо тяжелых для армии, для всего нашего народа первых месяцах очень многое уже сказано.

В рассказе о полководческой судьбе Георгия Константиновича Жукова, о лете и осени сорок первого мы хотели бы показать стойкость народа, стойкость его армии и ту непоколебимую веру в победу, которая не оставляла нас в самые трудные минуты.

Чего же это стоило — стоять с камерой рядом со смертью, горем, бедой, поражением! Вот едва дотянув горящий самолет до полевого аэродрома, гибнет летчик. Товарищи выносят на руках его безжизненное, обгоревшее тело. Они вырыли ему могилу — то ли в белорусской, то ли в смоленской, то ли уже в подмосковной земле. Суровы и печальны их лица, сурова и проста их клятва — отомстить!

Вот несут тело командира солдаты — иные еще в островерхих буденовских шлемах, в обмотках.

Вот пулеметчик, застигнутый пулей или миной, бесприютно, одиноко скорчился у расстрелянного, разбитого бомбой окопа.

Прощальная горсть земли на гроб...

Вот большая карта в самом центре Москвы, в витрине «Известий». И лица, лица людей в летней, раскаленной июньской жарой Москве — сколько в них недоумения, горечи, тревоги!

27 июня — Минск, 1 июля — Рига, 14 июля — Псков, 17 июля — Витебск, 20 июля — Смоленск...

Пройдет много, очень много лет, и, оказавшись после большого и торжественного дня — дня двадцатилетия Победы — в кругу московских литераторов, Георгий Константинович Жуков без укора, но твердо, как о глубоко продуманном, скажет:

— Долго обходили это время молчанием. Начинали повествование только с контрнаступ-

ления под Москвой. А между тем все было решено уже в первые месяцы!

Вглядимся же и мы — подробно и пристально — в лица солдат лета и осени сорок первого. В лица бывалых, обстрелянных, привыкших уже к самому тяжелому на свете труду, усталых после многих дней и ночей неслыханно жестоких боев. Готовых к бою сегодня же, может быть, через пять минут.

В лица молодых, еще несущих печать мирной жизни, готовых совершить самое прекрасное, что может человек на войне, — защитить родную землю, свой дом, своих близких.

В лица комиссаров и политруков, в красные звезды на рукавах — у них, обладателей партийных билетов и кандидатских карточек, была лишь одна привилегия — первым подняться в атаку.

В лица добровольцев-ополченцев...

В лица военачальников самых разных рангов — тех, кто уже воевал умело и страстно, тех, кто учился этому, захлебываясь кровью на военных дорогах.

Это о них, о солдатах сорок первого, на страницах «Красной Звезды» в самые тяжкие дни было сказано: «Настал час простых чувств и простых слов... Мы знаем — враг силен, не тешим себя иллюзиями... Мы выстоим, мы крепче сердцем. Мы знаем, за что воюем: за право дышать. Мы знаем, за что терпим: за наших детей. Мы знаем, за что стоим: за Россию, за Родину. Мы знаем, что путь Гитлера к гибели идет по нашей земле. И нелегко даются нам немецкие могилы. Но мы сумеем пережить дурные сводки. Мы знаем — хорошие сводки впереди».

После войны, разбирая сотни фотографий Жукова, репортер поразился, как мало их из сорок первого.

— Тогда нам было не до снимков! — усмехнулся Маршал.

Правое крыло Центрального фронта угрожало фашистской группе «Центр». Жуков считал, что в Берлине, в гитлеровских штабах видят эту угрозу и потому попытаются спешно разгромить Центральный фронт, тогда имевший лишь две армии. Если это произойдет, фашисты выйдут во фланг и в тыл Юго-Западному фронту, захватят Киев. На северо-западе, полгали в Генштабе, противник должен укрепить свою группу армий «Север», попытаться овладеть Ленинградом, соединиться с финскими войсками и повернуть свои силы на Москву.

Обо всем этом Жуков докладывал в Кремле Сталину в один из последних дней лета сорок первого.



На Курской дуге. Справа — представитель Ставки Верховного Главнокомандования Маршал Советского Союза Г. К. Жуков. Слева — командующий Степным фронтом генерал армии И. С. Конев. 1943 г.

У нас, разумеется, нет ни метра пленки, ни одного фото, запечатлевших этот доклад. Но мы все-таки снимем — снимем сегодня — просторную, светлую комнату, обшитую панелями из темного мореного дуба. Нам кажется, что, войдя сюда из коридора, миновав комнаты помощника и начальника личной охраны Верховного Главнокомандующего, можно, пусть и в небольшой степени, ощутить атмосферу того дня.

Увидим мы длинный стол, покрытый зеленым сукном, жесткие, плотно придвинутые к столу стулья. Разглядим на стенках литографии в простых деревянных рамах — Маркс, Энгельс, Ленин. С начала войны появились здесь портреты Кутузова и Суворова. Подойдя к закрытому окну в глубине комнаты, обратим внимание на рабочий стол, заваленный документами, бумагами, картами. Рассмотрим стопку цветных, остро отточенных карандашей — одним из них, обычно синим, размашисто писал Верховный.

За гроздью телефонных аппаратов через приоткрытую дверь виден большой глобус и развешанные по стенам карты.

Пройдем вдоль оконных гардин, обратим

внимание на коробку папирос «Герцеговина Флор». Их табаком набивал трубку Сталин.

В кабинете будет гореть свет — ведь работа здесь шла обычно по вечерам и затягивалась до глубокой ночи, до утра...

Жуков заканчивал доклад и, говоря о предполагаемых намерениях противника, заключил:

— Немцы могут ударить во фланг и тыл войскам Юго-Западного фронта, удерживающим район Киева.

Сталин насторожился:

— Что вы предлагаете?

— Прежде всего укрепить Центральный фронт, передав ему не менее трех армий, усиленных артиллерией. Одну — за счет западного направления, другую — за счет Юго-Западного фронта, третью — из резерва Ставки. Поставить во главе фронта опытного и энергичного командующего. Конкретно предлагаю Ватутина.

— Вы что же, считаете возможным ослабить направление на Москву?

— Нет, не считаю. Но противник, по нашему мнению, здесь пока вперед не двинется... —

И Жуков продолжил: — Юго-Западный фронт уже сейчас необходимо целиком отвести за Днепр. За стыком фронтов сосредоточить резервы — не менее пяти усиленных дивизий. Они будут нашим кулаком и действовать по обстановке.

— А как же Киев? — в упор спросил Сталин.

— Киев придется оставить... — твердо ответил Жуков.

Наступило молчание. Начальник Генштаба продолжал:

— На западном направлении нужно немедленно организовать контрудар с целью ликвидации ельнинского выступа...

— Какие еще там контрудары, что за чепуха? — на высоких тонах бросил Сталин.

Жуков промолчал.

— Как вы могли додуматься сдать врагу Киев?

Теперь Жуков не выдержал:

— Если вы считаете, что я как начальник Генерального штаба способен только чепуху молотить, тогда мне здесь делать нечего. Я прошу освободить меня от обязанностей начальника Генерального штаба и послать на фронт. Там я, видимо, принесу больше пользы Родине.

— Вы не горячитесь, — заметил Сталин. — А впрочем... Если вы так ставите вопрос, мы сможем без вас обойтись... Идите, работайте, мы вас вызовем...

Через час в том же кабинете Жукову было сказано:

— Вы вот тут докладывали об операции под Ельней. Ну и возьмитесь лично за это дело...

Машина шла подмосковной дачной дорогой — по Можайскому шоссе, мимо Кунцева, Перхушкова, Дорохова, к Гжатску — там располагался штаб Резервного фронта. В командование им вступил генерал армии Жуков.

В штабе фронта Жуков, впрочем, задержался недолго — отправился в 24-ю армию. Ехали поздним вечером. За недалекими лесами слышались пожарища. И под гул орудий, в сполохах случайных ракет на той прифронтовой дороге Жуков, казалось, отошел от тягостного разговора в Кремле. Главным для него было сейчас — чем ответить врагу?

Весь август в районе Ельни шли упорные бои.

Допрашивали первых пленных. Уже не только летчиков, но и пехотинцев и танкистов, перепуганных, подавленных, испытывавших на себе мощь огня артиллерии Резервного фронта. Противник, как явствовало из показаний захваченных в плен офицеров и солдат, был вынужден уже в середине августа отвести часть своих сильно потрепанных механизированных соединений.

Жуков напряженно работал, готовя мощный контрудар.

30 августа на рассвете, после непродолжительной артиллерийской подготовки, войска Резервного фронта перешли в наступление.

Сражение было ожесточенным и тяжелым — таким оно и осталось в кинолетописи. Сила против силы. Огонь против огня. Не помогли немцам и срочно переброшенные полки моторизованной дивизии СС «Рейх» со звучными титулами — «Германия» и «Фюрер». Наголову были разбиты тогда 10-я танковая, 17-я моторизованная и 15-я пехотная дивизии противника.

На редкой, уникальной фотографии ельнинских дней Жуков суров, смотрит исподлобья.

Победа! Победа под Ельней!.. Приметы ее — уже не пленные-одиночки, а колонны, которые конвоировали наши бойцы. Приметы ее — первые солдатские кладбища немцев, аккуратно, по линейке, уставленные деревянными крестами. Приметы ее — разбитые танки и броневики, захваченные врасплох, с документами и картами, с тысячами только что отпечатанных листовок, славящих «непобедимость солдат Гитлера»...

Примета победы — и разговор по БОДО, состоявшийся 1 сентября.

Поскребышев. Здравствуйте! Передаю просьбу товарища Сталина. Можете ли вы сейчас выехать в Москву?

Жуков. Ввиду сложности обстановки я хотел бы ночью выехать на участок 211-й дивизии и там навести порядок. Поэтому просил бы, если возможно, отложить мой приезд. Если же нельзя, то выеду немедленно. Под Ельней дела развиваются неплохо... Сейчас вышли на железную дорогу Ельня-Смоленск... Жду указаний товарища Сталина.

У аппарата Сталин.

Сталин. Здравствуйте, товарищ Жуков! В таком случае можете отложить свою поездку в Москву и выехать на позиции.

Жуков. Здравствуйте, товарищ Сталин! Нужно ли все же быть готовым к выезду в Ставку в ближайшие пару дней или я могу работать по своему плану?

Сталин. Можете работать по своему плану.
Жуков. Все ясно, будьте здоровы!

Опасный «ельнинский выступ» перестал существовать. 6 сентября в Ельню вошли советские войска. В тех боях родилась советская гвардия.

Днем 9 сентября, когда еще на левом фланге положение оставалось сложным и командующий фронтом находился на НП одной из стрелковых дивизий, пришла телефонограмма. Верховный вызывал Жукова в Ставку в 20.00.

О причинах вызова ничего не говорилось. До прояснения обстановки командующий не мог отлучиться. Поэтому Жуков сообщил по телефону новому начальнику Генштаба Шапошникову: «Доложите Верховному, по сложившейся обстановке прибуду с опозданием на один час».

И вновь — теперь уже к столице — разматывались версты подмосковных дорог.

Немедленно явившись к Верховному на квартиру, Жуков доложил:

— Товарищ Сталин, я опоздал с прибытием на один час.

— На час и пять минут, — уточнил Верховный.

Затем на столе расстелили карту. В те дни одновременно и на юге и на севере складывалась крайне напряженная, угрожающая обстановка.

— Куда бы вы поехали? — спросил Сталин.

— Где более безнадежно? — ответил Жуков вопросом на вопрос.

— В Ленинграде. Возьметесь?

— Возьмусь...

Жуков был готов лететь немедленно. Сталин, однако, сказал, что приказ Ставки будет отдан позже, когда Жуков уже прибудет в Ленинград. Самолет должны были сопровождать истребители, но Верховный хотел знать наверняка, что перелет завершится благополучно.

Текст приказа от 11 сентября Жуков получил уже в Смольном. В приказе значилось: «...товарищу Ворошилову сдать дела фронта, товарищу Жукову принять Ленинградский фронт в течение 24 часов...»

Тяжелые осадные орудия, доставленные из Западной Европы, уже выгружались с платформ. Фашистская артиллерия готовилась выкатиться на Пулковские высоты, к всемирно

известной обсерватории. В тот миг определялся ход событий на многие годы вперед.

Жуков действовал круто, решительно.

Перечеркнуты все прежние директивы — город не должен быть отдан. Предприятия — Путиловский, Металлический, «Электросила» — не будут взорваны. В заливе и на Неве замерли корабли Балтийского флота. Распоряжение о том, что они будут взорваны, отменено. Орудия главных калибров повернуты к линии фронта. Они уже ведут огонь по врагу...

Опустили свои стволы зенитные орудия. Теперь они будут бить по танкам и пехоте противника — таков приказ нового командующего.

Тщательно взвесив и оценив обстановку, Жуков снял несколько соединений с Карельского перешейка — он был уверен, что финны наступать не будут.

Поднимались в бой моряки... Контратаковала пехота... Развертывались упорные, изматывающие фашистов бои под Пулковом...

Враг был остановлен. Ленинград фашистам взять не удалось. И хотя кольцо блокады все еще сжималось, эти дни, эти недели определили судьбу города на Неве. Определили они и судьбу Москвы.

Так они и стояли рядом, две столицы, два великих города — в сводках, донесениях, в истории Великой Отечественной, в биографии полководца.

В битве за Москву

С лета сорок первого миновало четверть века. В саду подмосковной дачи хлопотала съемочная группа — разматывали бесконечные кабели, включали и выключали осветительные приборы, проверяли камеры и магнитофоны. Многолюдство и хлопоты эти, однако казалось, нисколько не смущали хозяина дома. Он спокойно сидел за переносным садовым столиком неподалеку от крыльца — в фуражке и повседневной форме, сидевшей на нем, как парадная, с четырьмя золотыми звездочками над невообразимо длинной, многоярусной колодкой орденских планок.

Был август 1966 года, и Жуков давал интервью кинематографистам. Константин Михайлович Симонов предложил Маршалу встрече с киногруппой прямо у него на даче.

— Ну что ж! — усмехнулся Жуков. — На даче так на даче! Как-никак тоже зона обороны Москвы...

Теперь Жуков отвечал на вопросы.

— Георгий Константинович, первый вопрос: когда и как вы узнали о тяжелом положении, сложившемся под Москвой?

— В конце сентября — начале октября я командовал войсками Ленинградского фронта... Как командующий фронтом и как член Ставки Верховного Главнокомандования я, естественно, был достаточно информирован о сложившейся обстановке в конце сентября и особенно в начале октября. А затем мне позвонил Иосиф Виссарионович Сталин. Поинтересовавшись, как идут дела на фронте, как обстановка, он сказал, что мне нужно будет немедленно выехать в Москву для выполнения особого задания. Я сказал ему, что завтра же вылетаю. Сдав дела по командованию фронтом, я вылетел в Москву. В Москву прилетел уже вечером и сразу направился на квартиру Сталина в Кремле. Сталин болел гриппом, но работал. Поздоровавшись кивком головы, он предложил посмотреть карту и сказал: вот смотрите, какая сложилась обстановка на западном направлении. Не могу, говорит, добиться ясного доклада, что происходит сейчас. Где противник? Где наши войска? Если вы можете, поезжайте немедленно в штаб Западного фронта, разберитесь там с обстановкой и позвоните мне в любое время суток, я буду ждать...

Сразу же после разговора со Сталиным Жуков получил у начальника Генштаба Шапошникова карту западного направления. Маршрут предстоял знакомый — штаб Западного фронта находился в Гжатске. Жуков получил специальное распоряжение Ставки. Вот его полный текст: «Командующему Резервным фронтом. Командующему Западным фронтом. Распоряжением Ставки Верховного Главнокомандования в район действий Резервного фронта командирован генерал армии тов. Жуков в качестве представителя Ставки. Ставка предлагает ознакомиться тов. Жукова с обстановкой. Все решения тов. Жукова в дальнейшем, связанные с использованием войск фронтов, и по вопросам управления обязательны для выполнения. По поручению Ставки Верховного Главнокомандования начальник Генерального штаба Шапошников. 6 октября 1941 г. 19 ч. 30 м. № 2684.»

На записке пометка: «1 ч. 25 м.». Именно тогда Жуков прибыл в Гжатск, в штаб Западного фронта. Об этом эпизоде он рассказывал в интервью:

«Ну, что я, собственно, дополнительно там выяснил?.. То, что на западном направлении особенно на участке Западного фронта, сло-

жилась крайне опасная обстановка, что все пути на Москву, по существу, были открыты, так как на Можайской линии, где находились наши небольшие части, они, естественно, не могли остановить противника, если бы он двинул свои войска на Москву. И единственная, если можно так сказать, выигрышная сторона нашего положения заключалась в том, что немцы, все их главные силы, были скованы действиями наших окруженных частей западнее и северо-западнее Вязьмы... Я тут же позвонил Сталину, доложил ему суть обстановки. Он спросил: а где, собственно говоря, части Шестнадцатой армии, Девятнадцатой армии, Двадцатой армии и группы Болдина Западного фронта? Где Двадцать четвертая и Тридцать вторая армии Резервного фронта?

На это я говорю, что они находятся в окружении, дерутся западнее Вязьмы. Сталин спрашивает:

— Что вы намерены делать?

Я говорю, что для выяснения обстановки намерен выехать в штаб Резервного фронта, к Буденному.

— А вы знаете, где его штаб? Где Буденный?

Я говорю, нет, не знаю. Поеду искать, он где-то под Малоярославцем должен быть.

— Хорошо, поезжайте, разберитесь и тотчас же докладывайте мне!»

Предрассветные октябрьские дороги... Туман, слякоть... На карте Подмосковья еще одна пометка: полустанок Обнинское...

Высокий берег Протвы. Где-то совсем рядом, в десятке километров, родная деревня Жукова — Стрелковка. Там осталась его мать Устинья Артемьевна, там родная сестра и ее четверо детей. Звучит голос Жукова:

«Полустанок Обнинское хорошо мне знаком по моему детству и юности. С этого полустанка меня, одиннадцатилетнего парнишку, мать отправляла в Москву, в учение скорняжному делу...»

Крутились катушки магнитофона. Маршал продолжал свой рассказ.

Жуков. Вижу, два связиста тянут провод недалеко от дороги. «Товарищи, не знаете, где штаб Резервного фронта?» — «Нет, не знаем». — «А куда тянете провод?» — «Куда надо, — говорит солдат, — туда и тянем».

Пришлось назвать себя, кто я такой есть. «Извиняемся, говорят, мы вас не знаем в ли-

цо, поэтому так и ответили. А что касается штаба, говорят, то вы уже его проехали...»

Проезжаю через Малоярославец, вижу машины, спрашиваю, чьи — «Семена Михайловича Буденного».

Ну, я обрадовался, что Семена Михайловича нашел... Поздоровались, потолковали с ним, что и как. Я сказал, что был у Конева.

— А как дела у Конева?

Я говорю: да вот, дела сложились там не особенно хорошо.

— А у нас, — говорит Буденный, — тоже не лучше. Дорогу на Малоярославец, собственно говоря, прикрывать нечем...

...В записке помечено: «Район Юхнова, близ Калуги».

Жуков. В одном перелеске вдруг меня остановили солдаты в шлемах, смотрю — танкисты.

— Кто вы будете? — спрашивают.

Я назвал себя.

— Вы кто такие?

— А мы танкисты.

— Какая часть?

— Танковая бригада.

— Кто командир?

— А вот он здесь, недалеко.

Я пошел и, к счастью, смотрю, знакомый человек — Троицкий...

...Как важно было Жукову в метаниях по лесным дорогам, в путанице и неразберихе, увидеть своего боевого товарища, увидеть солдат и офицеров, готовых, несмотря ни на что, драться. Готовых выстоять, не отдать Москву!

...От жары, волнения, напряжения те, кто снимал и записывал интервью, сбросили пиджаки, остались в одних летних рубашках. А хозяин, одетый в полную форму, да вдобавок — это выяснилось только потом — не совсем здоровый в тот день, чуточку снисходительно поглядывал на штатских...

Вопрос. Георгий Константинович, какой момент на протяжении всей Московской битвы вы считаете самым опасным для судьбы Москвы?

Жуков. Видите ли, все моменты были опасны! Но самый опасный момент, я считаю, с десятого, вернее, с шестого по пятнадцатое октября, когда Можайская линия еще не представляла собой надежной линии обороны. Это, я считаю, был ответственный момент, когда противник имел возможность без особых препятствий рвануть к Москве.

«С шестого по пятнадцатое...»

Мы увидим хроникальные кадры — Москва тех дней. Прифронтовой город, ошестившийся

надолгами и противотанковыми «ежами», готовый к боям, окруженный рвами и траншеями, тревожный... Ожесточенные бои разгорались на всех главных направлениях, ведущих к Москве. ЦК и Государственный Комитет Обороны приняли решение срочно эвакуировать из Москвы в Куйбышев часть центральных учреждений и весь дипломатический корпус. Из столицы вывезли особо важные государственные ценности. Постановлением ГКО в Москве и прилегающих к ней районах было введено осадное положение.

В те дни специальный поезд был подан к неприметной платформе близ заводских путей «Серпа и молота». Он должен был отправиться в Куйбышев. Именно сюда 16 октября, как рассказывают, прибыло несколько автомашин. Из «Паккарда» на перрон вышел Сталин.

Он долго ходил по платформе... Затем сел в машину и вернулся в Кремль.

Призывы Центрального и Московского Комитетов партии отстоять советскую столицу нашли отклик в сердце каждого воина, каждого москвича. Их услышала вся страна... И не случайно Г. К. Жуков на страницах «Воспоминаний и размышлений» с гордостью говорит о единстве в общих усилиях войск и населения, о той помощи, которую оказали тогда Москве вся страна, весь советский народ.

В тяжелых, непрерывных боях гитлеровский план захвата Москвы был сорван...

Илья Эренбург записал тогда рассказ Жукова о том, как Верховный отмечал «по книжечке» каждый танк, направленный на фронт. Угроза столице еще не миновала,

Съемка интервью продолжалась уже несколько часов, но Жуков явно не высказывал ни малейших признаков усталости. О решающих моментах огромной битвы он рассказывал с особой, лишь ему присущей железной сосредоточенностью.

Вопрос. Не смогли бы вы привести примеры наибольшего напряжения в период оборонительных боев под Москвой?

Жуков. Напряжение было большое, когда немцы начали наступать пятнадцатого и шестнадцатого ноября, когда они на флангах нашей обороны создали очень крупное превосходство в силах, особенно в танках... В этот период была самая напряженная битва... На участке Шестнадцатой армии немцы в общей сложности ввели в дело более шестисот пятидесяти танков. Причем в первом эшелоне сразу бросили против армии Рокоссовского такую махину! И, надо сказать, в ряде слу-

чаев положение было довольно пикантное... Конечно, Константин Константинович мог бы вам рассказать детали, он непосредственно руководил этим боем и переживал, пожалуй, больше, чем командующий фронтом. На его участке, я вам прямо скажу, были моменты тяжелые... Фронт иногда выгибался дугой, казалось, вот-вот может случиться непоразимое — фронт будет прорван. Но нет! Фронт выдержал!..

Фронт выдержал! Войска Западного фронта, которыми командовал генерал армии Жуков, успешно противостояли врагу. За двадцать дней второго этапа наступления на Москву фашисты потеряли более 155 тысяч убитыми и ранеными, около 800 танков, не менее 300 орудий и значительное количество самолетов. Легенда об их непобедимости дала трещину и начала рушиться...

А потом пробил час наступления.

Подняли свои жерла могучие орудия...

Ударили гвардейские минометы...

Рванулись танки и заскользили лыжники по снежной целине, поднялась в атаку пехота...

Утром 6 декабря началось контрнаступление Западного фронта. Двинулись вперед Калининский и Северо-Западный. Рогачево, Солнечногорск, Клин, Ясная Поляна, Медынь... В сводках декабря и января названия этих городов соседствовали со словом «освобождение».

...Среди почерневших сугробов торчали указательные столбы, а сел и деревень не было — их сожгли немцы.

У открытых могил, у рвов, у виселиц причитали женщины... Кто-то перебирал подожженное зерно, кто-то заходил криком над мертвой дочерью... Кто-то, задыхаясь и всхлипывая, рассказывал красноармейцам, как жилось под немцем.

Но уже взвнялись красные флаги над городскими и сельскими советами. Звучали клятвы на скоротечных — войска торопились на запад — митингах... И несли люди небогатые гостинцы, совали их в руки солдатам... И простуженный, замотанный Роман Кармен снимал тот самый заветный, ставший таким известным кадр: старуху, крестящую, благословляющую бойцов Красной Армии...

Фашисты мечтали устроить парад на Красной площади летом, перенесли на осень, затем хотели послать на теплые столичные квартиры к рождеству. Теперь же замерзшие, закутанные в бабье тряпье, смертельно пере-

пуганные, они шли навстречу нашим бойцам в колоннах пленных — ни дать ни взять, битые наполеоновские гренадеры с лубков 1812 года...

Вопрос. Георгий Константинович, зарубежные историки, особенно германские генералы очень много пишут о причинах поражения, выделяя при этом климатические условия, грязь, снег, большие морозы. Говорят также, что в этих поражениях виноват Гитлер. Как вы оцениваете причины поражения германской армии под Москвой?

Жуков. Видите ли, чтобы оправдать провал, надо выискивать причины. Что можно сказать, если говорить о климатических условиях? Конечно, грязь была, мороз был, зима была, осень была. В этих климатических условиях действовали и советские войска. Так что... (он впервые чуть приметно улыбнулся) так что это не научное доказательство провала плана взятия Москвы, а в сущности — провала плана молниеносной войны. Дело, конечно, не в этом, а в том, что Гитлеру, его генералитету, генеральному штабу так и не удалось осуществить в сорок первом году ни одной стратегической цели. Не только взять Москву, но и взять Ленинград...

Вопрос. Война была огромная, но среди всех ее огромных событий что с особенной силой живет в памяти у вас лично?

Жуков. Что запомнилось? Все запомнилось. Война была действительно тяжелой. Но больше всего, конечно, запомнилась битва под Москвой... Перед этим, правда, сражение за Ленинград. Тоже памятное дело. Но все же Москва — это было самое тяжелое испытание. И больше всего запомнилось...

Константин Михайлович Симонов в после словии к киноинтервью Жукова отмечал: «Пройдя мимо чего-то важного для истории в архивных папках, можно потом опомниться и вернуться к ним. Пройдя мимо чего-то исторически важного в жизни человека, поправить это потом трудно или невозможно — люди уходят из жизни и их уже не переспросишь!..

Жуков в интервью неуклонно подчеркивал то, что считал главным: историческую правду об остроте сложившегося под Москвой положения и о мере нависавшей над ней опасности. Не сказать об этом с полной определенностью — значило для него не сказать и о силе того пере-



В поверженном Берлине, у Бранденбургских ворот. 1945 г.

лома в войне, который произошел под Москвой... В каком-то смысле это было для него как бы продолжением войны. И то, как он рассказывал о войне, заставляло заново думать о том, как он воевал...»

Дороги солдата

Знал бы хозяин «магазина фотографических портретов» на Мясницкой господин Вольф, кого он снимал в 1914 году на пасху! Наряден на этой фотографии — возможно, первой в жизни семнадцатилетний мастер-скорняк. Черная тройка, сорочка с твердыми воротничками, загнутыми по моде «а ля Ленский» — на манер знаменитого артиста императорских театров, атласный галстук...

Второй снимок сделан полутора годами позже. На нем зафиксирован поворот судьбы: лихо скошена унтер-офицерская фуражка с маленьким козырьком, наглухо застегнута солдатская шинель.

Через полвека, заполняя своим энергичным почерком листки, озаглавленные «Род занятий после начала трудовой деятельности», Маршал записал: «Призывался я в своем уездном городе Малоярославец Калужской губернии 7 августа 1915 года».

Первая мировая война была уже в разгаре. Жукова направили в кавалерию, и он не скрывал радости: романтической казалась ему служба в коннице. Товарищи по призыву попали в пехоту, и многие из них завидовали ему.

Строки в анкете, в послужном списке Жу-

кова, фотографии. 189-й запасной батальон... Учебная команда 5-го запасного кавалерийского полка... Драгунский эскадрон... Еще одна учебная команда — уже унтер-офицерская... Наконец, фронт, первый бой, 10-й драгунский Новгородский полк... Тяжелая контузия в октябре шестнадцатого...

Унтер-офицер Жуков был награжден Георгиевскими крестами третьей и четвертой степени, а также двумя Георгиевскими медалями.

Когда после февраля семнадцатого в армии стали создаваться солдатские комитеты, председателем эскадронного комитета был единогласно избран унтер-офицер Георгий Жуков.

После тяжелого сыпняка и возвратного тифа, в августе 1918-го, он вступил добровольцем в 4-й кавалерийский полк 1-й Московской кавалерийской дивизии Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Она была известна ему с юности — та жизнь, которая, по слову поэта, «и не райская, и не адская, посередине как раз — солдатская».

Прошедший и первую мировую, и гражданскую, он в годы Великой Отечественной как никто, наверное, понимал: от солдата требуется воевать. Воевать с первого дня войны, с первой ее минуты. И сколько воевать, знал: сколько потребуется, чтобы победить.

Солдат — великий труженик. Но труд на войне отличается от любого другого тем, что рядом почти всегда — смерть. Вот где-то далеко, чуть ли не за линией горизонта, прогрехотал взрыв. Взметнулась земля, щебень, песок, остатки строений. И взрывы все ближе, они рядом с окопом, рядом с пулеметом, рядом с залегшей цепью. Совсем рядом... И так — десятки и сотни раз все лето сорок первого и сорок второго. Утром была атака, вечером — атака. Ночью была бомбежка, днем свистели трижды проклятые солдатом мины, завтра будет артобстрел...

В конце апреля 1942 года наступление советских войск в Крыму окончилось неудачей. 8 мая мы оставили Керчь. Немецкое командование сосредоточило все силы против Севастополя. 4 июля, после девяти месяцев героической обороны, моряки и бойцы сухопутных войск оставили город.

19 мая катастрофической стала обстановка на юго-западном направлении, в районе Харькова. В результате потери Крыма, пора-

жений под Харьковом, в Донбассе и под Воронежем противник вновь захватил, как и летом сорок первого, стратегическую инициативу. Подведя свежие резервы, фашисты начали стремительное продвижение к Волге и на Кавказе, завязали бои в излучине Дона, стремясь прорваться к Сталинграду...

27 августа командующему Западным фронтом Жукову из Москвы позвонил помощник Сталина Поскребышев. В разговоре он предупредил, чтобы командующий к 14.00 непременно находился на КП и ждал звонка Сталина. На расспросы Жукова помощник Верховного отвечал:

— Не знаю, Обо всем, видимо, скажет сам...

Жуков вспоминал впоследствии, что даже из этих слов понял, в какой большой тревоге члены ГКО за положение в районе Сталинграда.

Верховный позвонил по ВЧ, сказал:

— Вам нужно как можно быстрее приехать в Ставку...

Сталин предпочитал по телефону говорить лишь о самом необходимом. И только вечером того же дня, когда Жуков прибыл в Кремль, Сталин сказал ему, что Государственный Комитет Обороны принял решение назначить генерала армии Жукова заместителем Верховного Главнокомандующего.

Через день, 29 июля, Жуков вылетел в район боевых действий, на Волгу,

За спиной солдат был Сталинград. Стоило только повернуть голову, оглянуться, и видны были крыши домов, заводские трубы, очертания большого города, на десятки километров растянувшегося вдоль волжского берега.

Сегодня, в восьмидесятые годы, листая страницы кинолетописи и в который раз разглядывая лица защитников Сталинграда, трудно определить возраст бойцов. Все они кажутся людьми одного поколения, солдатами одного призыва — юные и пожилые, прожившие уже по четырнадцать-пятнадцать месяцев на фронте и только что вступившие в войну. Объединяет их, по-видимому, одно — ненависть. Та разящая, неукротимая ненависть, которой вряд ли можно научиться — она рождается в боях с беспощадным и подлым врагом, в крови и дыму пожарищ.

Каждое единоборство, каждый бой, каждый поединок — на них распалась вся большая война — становились решающими для

судьбы города на Волге. Малое сражение у безымянной высоты на окраине Сталинграда не удостоилось чести попасть на большую стратегическую карту в Кремлевском кабинете — осталось на двухверстке и планшете, в полевой сумке комбата. Но из сотен и тысяч таких сражений складывалась история Сталинградской битвы. История, полная трагизма и величия.

Верховный направил в Сталинград Жукову телеграмму: «... Положение со Сталинградом ухудшилось. Противник находится в трех верстах от Сталинграда. Сталинград могут взять сегодня или завтра, если северная группа войск не окажет немедленную помощь. Потребуйте от командующих войсками, стоящими к северу и северо-западу от Сталинграда, немедленно ударить по противнику и прийти на помощь сталинградцам. Недопустимо никакое промедление. Промедление теперь равносильно преступлению. Всю авиацию бросьте на помощь Сталинграду. В самом Сталинграде авиации осталось очень мало...»

Немногие фото тех дней сохранились. Жуков у аппарата в разговоре со Ставкой. Рядом с ним — генералы и офицеры. По снимкам ощущаешь: все, кто окружал заместителя Верховного, уже привыкли к его жесткой, а порой и жестокой требовательности.

10 сентября Жуков передал Сталину:

— Дальнейшие атаки теми же силами будут бесцельны, и войска неизбежно понесут потери... Армейские удары не в состоянии опрокинуть противника...

Редкий снимок, сделанный в Кремле осенью сорок второго, — Сталин, Жуков, Василевский. Как непохож этот снимок на привычные довоенные портреты Сталина, даже на кадры из хроники сорок первого. Стриженный седой ежик волос, тени под глазами, морщины.

У Жукова взгляд тревожен. У Василевского — внимательный, мягкий.

12 сентября Жуков и Василевский — к этому времени он стал начальником Генерального штаба — докладывали в Кремле о ситуации в районе Сталинграда.

Сталин выслушал доклад Василевского и сказал:

— Ну, а теперь послушаем Жукова. Что нужно Сталинградскому фронту, чтобы ликвидировать коридор противника и соединиться с Юго-Восточным фронтом?

— Минимум еще одна полнокровная общевойсковая армия, танковый корпус, три танковые бригады и не менее четырехсот ору-

дий гаубичной артиллерии. Кроме того, на время операции необходимо дополнительно сосредоточить в этом районе не менее одной воздушной армии.

Эти войска можно было взять только из стратегических резервов Ставки. Сталин достал свою карту, на которую было нанесено расположение резервов, и долго, очень долго молча ее рассматривал.

Жуков и Василевский отошли в сторону от стола. Тихо, шепотом один сказал другому: — Нужно искать иное решение...

Георгий Константинович Жуков вспоминал потом: никогда не думал, что у Верховного такой острый слух.

— А какое «иное решение?» — спросил вдруг Сталин.

«Те, кто был здесь, никогда этого не забудут. Когда через много лет мы начнем вспоминать и наши уста произнесут слово «война», то перед глазами встанет Сталинград, вспышки ракет и зарево пожарищ, в ушах снова возникнет тяжелый бесконечный грохот бомбежки. Мы почуем удушливый запах гари, услышим громыхание перегоревшего кровельного железа».

Так начинался очерк Константина Симонова об осенних, самых трудных, пожалуй, днях обороны Сталинграда.

Набережные Волги были изрыты воронками, бомбы поднимали огромные и тяжелые водяные столбы. Шли с заволжского берега к городу катера, паромы, лодки. Над темной водой белели бинты раненых.

В разных концах города вспыхивали факелы горевших зданий, тяжелый дым стелился над рекой. В воздухе рвались снаряды зениток, но бомбежки не прекращались, хотя длинные шлейфы дыма то и дело тянулись за немецкими самолетами, сбитыми над городскими кварталами. Опаленные, еще не прибранные трупы лежали на волжском песке.

Вечерами небо освещали немецкие белые сигнальные ракеты, прочерчивали огненные трассы наши гвардейские минометы. Наши самолеты развешивали над немецкими позициями светящиеся цели «фонарей», и волны авиации с тяжелым гулом прокатывались с запада на восток, а затем — с востока на запад.

Тишиной здесь, в Сталинграде, уже привыкли называть те редкие минуты, когда с севера и юга слышалась только канонада и трещали автоматные очереди.

Шли через Волгу паромы с автомашинами, боеприпасами, снарядами, пополнением. Долгой-долгой была переправа, а ведь за ночь утлому, перегруженному суденышку предстояло сделать несколько рейсов.

Пристань... Крутой подъем, мрачные остовы сожженных зданий. В блиндажах, вырытых прямо на берегу, работали штабы. В сводках и боевых донесениях — названия улиц, переулков, номера домов, ставших крепостями.

Наблюдательный пункт в одном из уцелевших домов. Квартира еще сохранила приметы мирного времени: горшки с цветами, кресла. Но из окон глядят окуляры стереотруб — видно, как идут немецкие машины, как тянется цепочка фашистских солдат. Они совсем рядом.

Неподалеку — бывший цех. «Бывшим» он стал несколько дней назад — в цехе собирали танки, а, собрав их, бригады рабочих стали танковыми экипажами, пошли навстречу врагу.

И всюду — на участке выжженной и развороченной земли, что была когда-то набережной, у элеватора, на перекрестках, в городских дворах, прямо на лестничных пролетах зданий, в квартирах — шел бой. Непрерывный, отчаянный, неутихающий...

В середине октября героями Сталинградской обороны стали солдаты Чуйкова, Родимцева, Горишнего, Людникова...

Враг был уже измотан до предела. С 6 июля фашисты потеряли до 700 тысяч солдат и офицеров, более тысячи танков, свыше 2 тысяч орудий и минометов, до 1400 самолетов. Но гибли и защитники Сталинграда, так и не пустившие врага к Волге.

Именно в те критические дни сентября и октября и было принято «иное решение». На карте-плане контрнаступления под Сталинградом появились подписи Жукова и Василевского, а затем и решительное «Утверждаю» Верховного.

И 19 ноября грянули сосредоточенные в небывалой плотности — буквально ствол к стволу — орудия. Началось великое наступление, великий перелом в ходе войны. Приближалась та всемирно-историческая победа на Волге, от которой фашистская Германия уже так и не смогла оправиться.

А потом пришел тот волнующий миг, когда, идя навстречу друг другу, в несмолкаемом, грохочущем «ура» соединились солдаты, замкнувшие кольцо вокруг окруженной фашистской группировки,

Митинг победителей на засыпанной снегом площади Сталинграда. Короткие и горячие речи бойцов, командиров, политработников.

И, принимая эстафету от Сталинграда, зазвучали слова радости на многих победных митингах зимы и весны сорок третьего.

Жуков никогда не изменял правилу — лично и максимально подробно проверять готовность всех частей к выполнению операции. Сам ход гигантской войны потребовал тщательного согласования действий фронтов. И именно Жукову как заместителю Верховного Главнокомандующего приходилось координировать действия фронтов — гигантских по масштабу, по сложности военных механизмов.

Орел, Курск, Белгород, Харьков, Полтава, Кривой Рог... После смерти генерала Ватутина Жуков — представитель Ставки — взял на себя командование войсками Первого Украинского фронта.

И в хронике, и на многих фото — вся география и вся история войны. Много позже Жуков при всей своей феноменальной памяти, рассматривая снимки, то и дело говорил:

— Не припомню где... Не припомню когда...

Вот он в машине, на переднем сиденье рядом с шофером, на полевой дороге... У самолета, перед вылетом на фронт... В землянке с солдатами... Идущий не пригибаясь, как-то по-жуковски победно, по траншее... У перископа в укрытии... Над картой в штабе... Во время солдатской трапезы, с ложкой и котелком... В беседе со стариками — жителями только что освобожденного села... Погоня маршальские, а форма почти солдатская — гимнастерка, иногда летная куртка, плащ...

Еще фотографии: на наблюдательном пункте под Прохоровкой, на Курской дуге, где Жуков как представитель Ставки координировал действия фронтов...

С Рокоссовским... С Коневым... С Черняховским — всего за несколько дней до гибели самого молодого из командующих фронтами... С Баграмяном... С Батовым... С Горбатовым... С генералами, офицерами, солдатами,

В июне 1944 года, через три года после последнего мирного дня, война пришла туда, где она началась, — в Белоруссию. Советские воины приступали к операции «Багратюн».

Незадолго до начала артиллерийской подготовки, ночью, Жуков неожиданно попросил принести баню. И прозвучала вежная, лирическая, задумчивая...

Позарастали стежки-дорожки,
Где проходили милого ножки.
Позарастали мохом-травой,
Где мы гуляли, милый, с тобою.
Мы расставались, слезно прощались,
Помните друг друга мы обещались...

Три года войны... Три года жизни... А солдат моется и бреется, коли уж выдалась минута затишья. И харчится... И лагает — наско-ро, крупными мужскими стежками — гимнастерку, подбивает сношенные кирзовые сапоги... И затягивается табачком из дареного, дорогого сердцу кисета... Три года...

Жуков так вспоминал о сотнях и тысячах верст, что проехал, пролетел, прошагал, даже прополз — и такое выпадало ему:

— Иной раз на фронте приходилось спать не больше двух часов. А надо, чтобы все время работал ум... Что делать? Возьмешь лошадь, проскачешь минут сорок, вспотеешь — и под душ. Опять свежая голова. Утром — физзарядка. На фронте хорошо, потому что — чистый воздух. Очень много значит, когда чистый воздух...

Жуков как-то сверился с картой: вряд ли найдется место, где он не побывал бы за три года. За ним уже прочно шла молва: «Где Жуков — там победа». Он посчитал, получилось, что наездил более 175 тысяч километров. И летал — три самолета сносились, как башмаки...

Его шофера однажды прямо-таки одолели солдаты, пристали — не отвяжешься:

— Ты вот едешь с Маршалом. Спроси его, когда эта война кончится?

Водитель все не решался заговорить с Жуковым. Но однажды ждал Маршала от Сталина. Вышел Жуков к машине под утро, тяжело осел на сиденье, спросил у шофера:

— Не знаешь, когда же эта проклятая война кончится?

Последний штурм

Много лет назад Георгий Константинович Жуков — пожалуй, одним из первых — говорил о «второй выигранной нами войне», имея в виду то, что теперь называют «подвигом тыла».

Новогодние елки сорок пятого — последнего года войны. Елки домашние со скудным столом. Елки в клубах. Елки в детских домах и приютах, мерцание тусклых лампочек в неотогретых детских глазах...

Вот что писал Жуков с фронта своим дочерям:

«Поздравляю вас с новым годом. Не забывайте, что ваш отец хоть изредка, но имеет возможность повидаться с вами. У других детей фронтовиков такой возможности не бывает... Не забывайте об этом, дорожите вашим и моим именем, набирайтесь знаний и здоровья. Война когда-нибудь все-таки кончится, а у вас впереди — удивительная жизнь и много, много дел...»

Вал наступления катился на запад. И символом побед 1944-го стала установка пограничных столбов с надписью «Союз Советских Социалистических Республик». Сюжет этот, не боясь упреков в однообразии, присылали кинооператоры с разных фронтов.

Осенью 1944 года, когда Жуков готовился вылететь в очередную командировку, Сталин неожиданно сказал ему:

— Как вы смотрите на то, чтобы руководство всеми фронтами в дальнейшем передать в руки Ставки?

Жуков понял, что Верховный предлагает упразднить институт представителей Ставки, координировавших на местах действия фронтов. Он согласился.

— Вы это без обиды говорите? — поинтересовался Верховный.

— А на что обижаться? Думаю, что мы с Василевским не останемся безработными... — сказал Жуков.

За три с половиной года войны они научились понимать друг друга, Верховный и его заместитель научились, несомненно, понимать не только сказанное впрямую, но и недоговоренное.

16 ноября 1944 года Жуков вновь вступил в командование фронтом — Первым Белорусским. Верховный объяснил это свое решение так:

— Первый Белорусский фронт находится на берлинском направлении. Мы думаем поставить вас на это направление...

Жуков сказал, что готов принять командование любым фронтом. И все-таки в этот момент чувство долга спланилось в его душе с чувством глубокой признательности Родине и партии — и то и другое олицетворял тогда для всех Верховный Главнокомандующий. Ему, Жукову, была оказана великая честь командовать войсками, идущими на логово фашистского зверя.

В день поминования по всей Польше загораются сотни тысяч тонких, хрупких свечей

на могилах павших. Они горят и там, где полегли наши войны. Более 600 тысяч советских солдат и офицеров лежат в «полях за Вислой сонной...»

17 января бойцы и командиры Первого Белорусского фронта предоставили честь первыми войти в освобожденную Варшаву своим братьям по оружию — воинам 1-й армии Войска Польского.

Жуков, вместе с членами Военного Совета фронта, осматривал то, что когда-то было Варшавой... Молча, медленно, словно от озноба кутаясь в шинель, шел он по развалинам. Города не существовало. Покаявшись отомстить самим камням польской столицы, Гитлер смел с лица земли один из красивейших городов Европы. Промышленных предприятий не было, жилых домов не было. Десятки тысяч варшавян уничтожены, остальные — изгнаны. Цепочка изможденных, похожих на призраки, голодных и бездомных жителей столицы тянулась к Висле, к быкам развороченного моста...

Жуков видел, как не скрывали слез офицеры и жолнежи с советскими автоматами в конфедератках с пястовскими орлами. Братья по оружию давали клятву — отомстить, уничтожить, разгромить врага. Эта клятва дала дополнительную энергию всей гигантской машине фронтов. Дальше на запад — в Германию. До Берлина оставались уже не сотни, а десятки километров.

19 января освобожден город Лодзь, 23 января — Быдгощ, потом — Познань... Тяжелые бои развернулись за захват плацдарма на западном берегу Одера — в Кюстрине.

Утром 31 января 1945 года передовой отряд 5-й ударной армии генерала Берзарина форсировал Одер и захватил плацдарм в районе города Кинитц. Операторы успели снять еще действовавшее расписание поездов по маршруту Кинитц-Берлин.

До Берлина — 70 километров...

В первый день апреля, в «день глупцов», в день веселых розыгрышей, шуток и мистификаций британский премьер был необыкновенно серьезен и даже мрачен.

«Русские армии, — писал У. Черчилль Ф. Рузвельту 1 апреля 1945 года, — несомненно захватят всю Австрию и войдут в Вену. Если они захватят также Берлин, то не создается ли у них слишком преувеличенное представление, будто они внесли подавляющий вклад в нашу общую победу? И не может ли это привести их к такому умонастроению, кото-



На Параде Победы. 1945 г.

рое вызовет серьезные и весьма значительные трудности в будущем? Поэтому я считаю, что с политической точки зрения нам следует продвигаться в Германии как можно дальше на восток и в том случае, если Берлин окажется в пределах нашей досягаемости, взять его...»

Государственная дача номер семь, более известная как «ближняя дача». Неширокая асфальтированная дорога. Глухой забор, кое-где уже подгнивший, плотные ворота. Невысокое строение с двускатной крышей сливается с лесом.

В прихожей, у стены, деревянная вешалка. Щетки для платья и обуви. Ковер на полу. Две большие картины на стене.

В простенках большого зала-столовой — портреты Ленина и Горького. У входа — рояль. Посредине зала — широкий стол. В сорок пятом здесь появился высокий, похожий на комод, американский проигрыватель. Два дивана — большой и маленький с цветной зеркальной стенкой.

Именно здесь, на «ближней даче», Сталин рассказывал прилетевшему с фронта Жукову о конференции «большой тройки» в Ялте. Разговор все время возвращался к Берлину. Несмотря на то, что в ливадийском дворце союзники определили будущую советскую зону оккупации далеко западнее Берлина, несмотря на то, что три советских фронта стояли в 60-100 километрах от столицы рейха, Черчилль да и кое-кто из американцев не отказались от мысли: при благоприятной обстановке оказаться в Берлине раньше русских.

1 апреля 1945 года на карте в Ставке появилась разграничительная линия между двумя фронтами — Первым Белорусским Жукова и Первым Украинским Конева. Разграничительная линия обрывалась на городе Любек.

Верховный указал Коневу:

— В случае упорного сопротивления противника на восточных подступах к Берлину, что наверняка произойдет, и возможной задержки наступления Первого Белорусского фронта, Первому Украинскому фронту быть готовым нанести удар танковыми армиями с юга на Берлин.

Итак, план сражения был утвержден. Предусмотрено было все, вплоть до будущего маневра танковыми армиями маршала Конева...

Битва за Берлин была для Жукова, по его собственным словам, особой, ни с чем не сравнимой операцией. Войскам фронта нужно было прорвать сплошную эшелонированную зону мощных оборонительных рубежей, начиная от самого Одера и кончая сильно укрепленным Берлином. Предстояло разгромить крупнейшую вражескую группировку.

Жуков говорил своим помощникам:

— Драка будет жестокая...

Войска, изготовившиеся к последнему штурму, скрытно сосредотачивались, пополнялись, маскировались в складках местности.

Орудия...

Пехота...

Танки...

«Катюши»...

Жуков не скрывал радости:

— Удалось сосредоточить свыше шестисот орудийных стволов на один километр фронта. До Берлина при прорывах фронтов мы собирали на один километр редко более двухсот стволов...

6 апреля Жуков проводил совещание и командную игру на картах и тщательно изго-

товленном макете Берлина с пригородами. Все дни, вплоть до последней ночи с 15 на 16 апреля, шла мощная разведка огнем, которую некоторые немецкие военачальники считали даже началом наступления. Когда пушки умолкли, они вообразили, что наступление отменено или не удалось вовсе.

Между тем в ночь на 16 апреля Жуков отправился на НП командующего 8-й гвардейской армией генерала Чуйкова. Здесь и сняли его кинооператоры фронтовой группы — с биноклем, напряженно и цепко всматривающимся в разрывы недалеких снарядов.

Артподготовку назначили на пять часов утра по московскому времени. Здесь, на восточных подступах к Берлину, было еще темно. Медленно-медленно, словно нехотя, двигались стрелки часов Жукова — именных, полученных еще от Уборевича за полевой смотр в Белоруссии.

Пять минут до начала артподготовки. Чтобы время шло быстрее, Жуков спросил стакан крепчайшего чаю.

До начала артподготовки — три минуты. Маршал и генералы заняли свои рабочие места на НП.

Жуков взглянул на часы. Большая стрелка разделила пополам надпись «Павел Буре», Ровно пять.

И началось!

Тьма исчезла, словно ее и не было. Не рассеялась, просто исчезла — теперь уже до рассвета.

Били тысячи орудий и минометов. Слышался грохот тяжких ударов — будто кто-то гигантским молотом колотил по твердым и хлябям. Несмолкаемый, ровный, давящий гул самолетов...

Со стороны противника раздалась редкие пулеметные очереди. Потом они оборвались. За полчаса артиллерийской подготовки фашисты не сделали ни одного выстрела. Было решено немедленно начать общую атаку.

Поле битвы — словно метафора Твардовского:

Сила силе доказала:

Сила силе не равня.

Есть металл сильнее металла.

Есть огонь сильнее огня.

В воздухе — тысячи ракет. Через каждые двести метров вспыхнули огромные диски прожекторов. Их было сто сорок — более ста миллиардов свечей освещали местность. В «Воспоминаниях и размышлениях» Г. К. Жуков пишет: «Это была картина огромной впечатляющей силы, и, пожалуй, за всю свою жизнь я не помню подобного зрелища».

Грохот танков, лавина пехоты. Огонь, металл, пыль и дым — их не могли пробить даже лучи прожекторов...

К рассвету войска преодолели первую позицию противника, начали атаку второй.

Враг был смят, опрокинут, ошеломлен, но не уничтожен. Враг был еще очень силен.

Немцы, видимо, пришли в себя. Утром со стороны Берлина появились бомбардировщики с крестами на плоскостях. Со стороны Зееловских высот ударили вражеские орудия и минометы. И чем ближе продвигались советские войска к высотам, тем ожесточеннее и мощнее становилось сопротивление. Плотной кругоскатной стеной Зееловские высоты запирали подход к столице рейха. За ними — плоское плато, на котором было бы уже просторно и танкам, и пехоте. «Замок Берлина» необходимо было не открыть — взломать...

Жуков настороженно, плотно сжав губы, смотрел в бинокль. К 13 часам того же дня стало ясно, что огневая оборона противника в районе Зееловских высот в основном уцелела. Стало ясно и другое — в том боевом построении, в каком войска Жукова начали атаку, высот им не взять, «берлинского замка» не взломать...

К 15 часам Жуков доложил Верховному обстановку и сообщил, что принял решение ввести две танковых армии генералов Катюкова и Богданова.

Сталин уже знал, что на фронте у Конева оборона оказалась слабой. Он был спокоен:

— Вечером позвоните, как у вас складываются дела.

Вечером 16 апреля Жуков доложил в Ставку о затруднениях в районе Зееловских высот и сказал, что раньше завтрашнего дня взять этот рубеж не удастся.

На этот раз Сталин был спокоен:

— Есть ли у вас уверенность, что завтра возьмете Зееловский рубеж?

Жуков старался ничем не выдать волнения:

— Завтра, 17 апреля, к исходу дня оборона на Зееловском рубеже будет прорвана. Считаю: чем больше противник будет бросать войск навстречу нашим войскам здесь, тем быстрее мы возьмем затем Берлин, так как войска противника легче разбить в открытом поле, чем в городе...

Зееловские высоты пали. Танки Конева, как было условлено заранее в Ставке, повернули на Берлин с юга. Штурмовые группы и

отряды вели теперь бои за каждый квартал, каждую улицу, каждое здание на улицах вражеской столицы...

Из истории Великой Отечественной войны нам известно, какую мощную линию обороны создал враг на ближних подступах к Берлину. Взломать, преодолеть, уничтожить ее было не так-то просто. Потребовались поистине героические усилия десятков тысяч бойцов и офицеров, их самоотверженность, чтобы выгнать эту задачу.

Осенью 1945 года, будучи гостем Жукова в Москве, генерал Дуайт Эйзенхауэр скептически отозвался о «феномене массового героизма».

— Герой — всегда одиночка, — сказал Эйзенхауэр Жукову. — Я не верю в толпы героев...

Жуков ничего не ответил тогда командующему американскими экспедиционными силами. Ответил много лет спустя — на страницах своей книги.

Нет, не толпы, а батальоны, полки, армии героев штурмовали Берлин. Умирали на руках сестер, истекали кровью на плащ-палатках, во дворах, на лестничных маршах. Задыхаясь, шептали последние слова или гибли внезапно, не успевая издать даже легкого стога. Гибли, чтобы хоть на краткий миг приблизить конец войны, приблизить Победу. И не только приказы бросали их в этот адский последний штурм — их вела сознательная, рожденная нашим строем вера в то, что правое дело должно победить, добро обязательно восторжествовать над злом.

Знамя Победы взвилось над рейхстагом.

Бывший пригород, ныне один из районов Большого Берлина Карлсхорст. Зал инженерной офицерской школы. На стене четыре флага — советский, американский, британский, французский. Подписывается Акт о капитуляции.

Улыбается Жуков... Улыбается Теддер — представитель Великобритании... Улыбается щеголеватый французский генерал Делатр де Тассиньи... Американец Спаатс невозмутим. Жуков встает. Резко, повелительно поводит головой.

Кейтель вытянул руку с маршалским жезлом.

Документ подписывают: первым — Жуков, за ним — уполномоченные союзников. Лицо Кейтеля. Вначале он смотрит не отрываясь

только на Жукова — со страхом и любопытством. Когда поставлена последняя подпись, лицо генерал-фельдмаршала становится страшным. Вытянувшийся за его спиной офицер плачет.

Жуков вновь коротко и повелительно указывает в сторону немецкой делегации.

Кейтель, согнувшись, склонился у стола. Он подписывает Акт.

В проеме двери — сухая, неожиданно поникшая, жалкая его спина в обвисшем фельдмаршальском мундире...

После полуночи прошло немногим более сорока пяти минут. Капитуляция подписана. Война окончена...

Звездный час

...Победители, союзники в общей борьбе, солдаты и офицеры антигитлеровской коалиции шли в парадном строю по Берлину. Шли солдаты Жукова. Не скрывая восхищения их выправкой, ревниво поглядывая на своих «томми», шурился под большим, косо надетым беретом фельдмаршал Монтгомери. Эйзенхауэр, в парадной генеральской тужурке, не отводил глаз от Жукова, от Золотых звезд на его груди.

Союзники! Какие бы события ни омрачали наших отношений в последующие годы, как бы ни складывались судьбы наших стран, наших народов, слово это — благородное и гордое — СОЮЗНИКИ — не опорочено и не забыто.

В 1945 году впервые встретились Жуков с Эйзенхауэром в Берлине. Встретились по-солдатски, дружески. Эйзенхауэр взял Жукова за руки, долго молча разглядывал его, словно пытался определить для себя нечто очень важное. А сказал вслух только:

— Так вот вы какой!

По поручению правительства своей страны, генерал Эйзенхауэр вручил Жукову высший военный орден США — «Легион почета» степени Главнокомандующего. Великобритания удостоила Маршала ордена «Бани» I степени и Большого рыцарского креста.

В свою очередь Эйзенхауэр и Монтгомери были награждены орденами «Победы», а Делатр де Тассиньи — орденом Суворова I степени...

Поездка генерала Эйзенхауэра в Москву и Ленинград — он был официально «гостем маршала Жукова» — хронологически выходит

за рамки нашего повествования: она состоялась уже в августе 1945 года. Еще свежи были в памяти дни совместной борьбы с гитлеризмом, еще таились где-то в небытии ветры «холодной войны», и в откровенном разговоре Дуайт Эйзенхауэр поделился с Жуковым воспоминаниями о критическом поражении в Арденнах. Как известно, тогда, верный своим союзническим обязательствам, Советский Союз ровно через неделю после отчаянного обращения Черчилля к Сталину, развернул грандиозное наступление по всему фронту.

— Для нас это был долгожданный момент, — говорил Эйзенхауэр. — У всех стало легче на душе, особенно когда мы получили сообщение о том, что наступление советских войск развивается с большим успехом. Мы были уверены, что немцы теперь уже не смогут усилить свой Западный фронт.

А 12 августа, беседуя со Сталиным, Эйзенхауэр сказал:

— Я убежден, что кадеты Вест-Пойнта, нашего высшего военного учебного заведения, будут изучать Московскую, Сталинградскую и Берлинскую операции подобно тому, как они изучают битву при Каннах. Имена Жукова и других русских полководцев будут проноситься как имена великих мастеров своего дела...

Став президентом Соединенных Штатов, Эйзенхауэр совершил, сказал и написал много такого, что находится в разительном, невероятном противоречии с этими его словами. Но смысл их не изменишь — в них выражено истине мировое признание советской полководческой школы.

Дело ученых, теоретиков — исследовать мастерство маршала Жукова как стратега, как военачальника. Сам же он в нечестых беседах выделял лишь некоторые черты, некоторые моменты полководческого искусства.

Жуков отмечал огромное значение фактора внезапности. Ссылаясь на опыт Халхин-Гола, на замысел операции «Багратион». Тогда, в Белоруссии, по противнику был нанесен совершенно неожиданный удар прямо из болотных хлябей. Он говорил о большой роли оперативной и достоверной разведки. Не сбрасывал со счетов и интуицию, предвидение. Так, в конце сорокового года, на известной командно-штабной игре, Жуков «играл» за «синих» — то есть за группировку противника. «Синие» тогда выиграли. Жуков сумел предугадать основные положения гитлеровского плана нападения на нашу страну. В одной



К. М. Симонов и Г. К. Жуков. 1966 г.

из бесед, рассказывая о событиях лета 1943 года, Жуков подчеркивал, что ему и его помощникам удалось также разгадать направление наступления противника на Курской дуге: — Я хотел убить двух зайцев — и убил. Позиции обороны должны были стать исходными позициями контрнаступления. У нас было от 70 до 80 стволов на большую глубину. У врага столько же. Но одна пушка в обороне равна двум в наступлении: она закопана, защищена, она занимает наиболее выгодную позицию. В результате мы оказались сильнее в два раза...

Еще одно важнейшее слагаемое полководческого искусства — риск. Риск, полностью основанный на точном знании обстановки и особом чутье. Жуков приводил такой пример: в сорок пятом, когда Первый Белорусский фронт вышел в район польского города Познань, соседи и справа и слева значительно отклонились в стороны. Что было делать? Ждать, пока линия трех фронтов выпрямится? С севера, из Померании, грозила опасность мощного вражеского контрудара. Жуков бросил все силы вперед, захватил плацдарм на берегу Одера, а затем двумя танковыми армиями ударил по группировке противника. Она была разгромлена за несколько дней...

Конечно, этими чертами, этими качествами

не исчерпывается все богатство полководческого искусства Г. К. Жукова. Но именно они определяют главное в этом искусстве: внезапность действий, предвидение, умелое распознавание намерений врага, точный учет фактора времени, решительность. Все это ныне стало достоянием всей советской военной науки, советского военного искусства, советской полководческой школы.

Руганые и переруганные синоптики на этот раз вовсе не ошиблись. Как они и предсказывали, хмурые тучи сплошным фронтом шли и шли к Москве, к Кремлю, к Красной площади. Но в это утро 24 июня 1945 года ничто не могло омрачить праздника — в Москве на Красной площади был назначен парад войск Действующей армии, Военно-Морского флота и Московского гарнизона — Парад Победы.

Примерно за неделю до этого Сталин спросил Жукова:

— Не разучились ли вы ездить на коне?

— Нет, не разучился, — ответил Жуков.

— Вот что, вам придется принимать Парад Победы. Командовать Парадом будет Рокоссовский.

— Спасибо за честь, но не лучше ли Парад принимать вам? Вы Верховный Главно-

командующий, по праву и обязанности Парад следует принимать вам.

— Я уже стар принимать парады,— сказал Сталин.— Принимайте вы, вы помоложе...

... Жуков послал коня вперед. Ровное цоканье копыт, легкое позвякивание шпор.

Два всадника показались из арки Спасской башни.

Маршал потом рассказывал: в те мгновения, глядя на лица солдат, на ровные каре парадных расчетов, он всей памятью своей обратился к нескольким самым запомнившимся, неожиданно возникшим перед его мысленным взором страницам пережитого.

...В один из самых напряженных моментов битвы за Москву ему на КП позвонил Сталин. Жуков не мог припомнить точной даты — кажется, это случилось уже в декабре, когда один из участков 30-й армии Калининского фронта неожиданно прорвали немецкие танки.

— Вы уверены, что мы удержим Москву? — спросил Сталин.— Я спрашиваю вас с болью в душе. Говорите честно, как коммунист.

— Москву, безусловно, удержим,— ответил тогда Жуков...

...Гнедой жеребец Рокоссовского остановился на положенной дистанции. Прозвучали слова рапорта. Жуков и Рокоссовский начали объезд войск. Сверху было видно, как совершали свой путь всадники, как замирал бег коней. Раскатами катилось тысячеустое «ура».

Два самых ненавистных в годы войны слова: «Адольф Гитлер» теперь можно было прочитать на трофейном штандарте охранной дивизии СС.

Жуков говорил о Гитлере: «Когда все стало расплываться по швам, он действительно стал ничтожеством. Но это был враг коварный, сильный, хитрый... А когда мы его избражали с самого начала чуть ли не идиотом — это уменьшает наши собственные за-

слуги. Дескать, кого разбили? Такого дурака! А между тем нам пришлось иметь дело с тяжелым, опасным, страшным врагом».

Ударили барабаны.

К подножью ленинского Мавзолея полетели знамена поверженного, разгромленного рейха.

...Еще не все трупы были прибраны у эстакады городской дороги. Еще вповалку, отсыпаясь за все дни боев, спали солдаты, привалясь к боевым машинам, к полевым орудиям, к стенам разбитых домов, к полуразрушенной бетонной ограде берлинского зоопарка. Еще торчали раздавленные стволы зениток на стальных крышах бункеров, по городу тянулись нескончаемые колонны пленных фашистских солдат. На полу имперской канцелярии валялись неотправленные пасторальные открытки — Гитлер в окружении маленьких девочек, криво улыбающийся. Сотни орден и железных крестов...

В лучах весеннего солнца, поднимая клубы пыли, шли и шли тысячи грузовиков, танки, самоходки, захеленные «катюши». Слово не дивизии и корпуса, а вся победившая Россия двигалась по Берлину, а навстречу ей в колоннах пленных шла гитлеровская Германия...

У чудовищного памятника Вильгельму Первому, у рейхстага — то хохочущие, хмельные от победы, то мрачные, грустные — фотографировались на память солдаты и офицеры.

Жукова узнали только тогда, когда он и его спутники тоже оставили свои подписи на стене рейхстага. Сотни солдат с ликованием бросились к нему, окружили. В его имени для них слились миллионы имен людей, живых и мертвых, приблизивших этот час славы и гордости.

В бумагах Жукова сохранился листок: «Мои дети и внуки могут смело смотреть людям в глаза, созная, что я всегда и во всем старался быть достойным коммунистом».

ОТ АВТОРОВ

Биография выдающегося представителя советской полководческой школы, Маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза Георгия Константиновича Жукова широко известна и у нас в стране, и за рубежом. Образ его получил воплощение на страницах романов и повестей, в художественных фильмах, рассказывающих о различных периодах Великой Отечественной войны. Наш сценарий — первая попытка рассказать о полководческой деятельности Г. К. Жукова языком документального кинематографа.

Замысел большой документальной картины о Маршале принадлежит К. М. Си-монову. Мечтой Константина Михайловича было создание серии фильмов о плеяде советских полководцев. Первым в этом славном ряду он называл Жукова,

В своих рабочих заметках писатель подчеркивал: «Жуков был для меня человеком, которого Сталин отправил спасать положение в Ленинграде, в самые критические сентябрьские дни 1941 года, а потом отозвал его оттуда под Москву, в самое критическое для нее время — в начале октября...

Разумеется, и то, что Ленинград не пал, а выстоял в блокаде, и то, что немцев повернули вспять под Москвой, — историческая заслуга не двух и не двадцати человек, а многих миллионов военных и невоенных людей, результат огромных всенародных усилий. Это тем более очевидно сейчас, с дистанции времени.

Однако, если говорить о роли личности в истории в применении к Жукову, то имя его связано в народной памяти и со спасением Ленинграда, и со спасением Москвы. И истоки этой памяти уходят в саму войну, в 1941 год, в живое, тогдашнее сознание современников. Этим и объясняется непоколебимость их памяти перед лицом разных событий последующего времени.

Последующий ход войны сделал особенно любимыми в народе несколько имен выдающихся военачальников. Но среди них Жуков все равно остался первой любовью, завоеванной в самые трагические часы нашей судьбы, и потому — сильнейшей...»

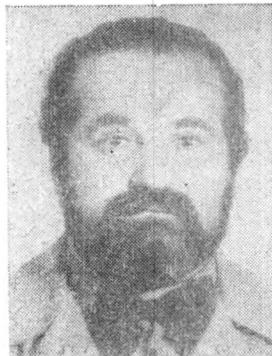
Начиная предварительную работу над фильмом о Г. К. Жукове, К. М. Симонов определил его временные рамки — период с 1939-го по 1945 год, от событий на реке Халхин-Гол по капитуляцию фашистской Германии. Все самое главное, сделанное Жуковым, что сохраняется в народной памяти, — было совершено им именно в эти решающие часы судьбы страны.

К сожалению, тяжелая болезнь не дала возможность К. М. Симонову продолжить работу над сценарием. Мы стремились, в меру своих сил, следовать его замыслу. Прежде всего, нами были собраны практически все имеющиеся кинодокументы, в том числе обширное киноинтервью, данное Г. К. Жуковым в 1966 году. В ходе длительного многолетнего поиска обнаружилось много малоизвестных, а порой и вовсе неизвестных кино- и фотодокументов.

М. Бабак, И. Ицков



МАРИНА МИХАЙЛОВНА БАБАК работает в кино с 1956 года. После окончания режиссерского факультета ВГИКа работала вторым режиссером по монтажу на картинах «Великая Отечественная», «Гренада, Гренада, Гренада моя...», «Товарищ Берлин» (режиссер Р. Кармен). В творческом содружестве с К. М. Симоновым поставила документальные фильмы «Чужого горя не бывает...», «Шел солдат», «Солдатские мемуары» (6 серий). Среди ее работ на Центральной студии документальных фильмов — «Халхин-Гол. Год 1939-й», «Агостиньо Нето. Поэзия борьбы». Фильмы «Чужого горя не бывает...» и «Шел солдат» удостоены почетных наград на международных и всесоюзных кинофестивалях.



ИГОРЬ МОИСЕЕВИЧ ИЦКОВ (родился в 1940 году). С 1967 года работает в документальном кино. По его сценариям снято более 60 фильмов, в том числе «Необъявленная война», «Его звали Хо Ши Мин», «Путь Америки», «И выросли сыновья...», «Такой солдат непобедим» и другие. И. М. Ицков — один из авторов сценария 20-серийной публицистической киноэпопеи «Великая Отечественная». За эту работу в 1980 году удостоен Ленинской премии.

Фильм по сценарию Марины Бабак и Игоря Ицкова «Маршал Жуков» поставлен на Центральной студии документальных фильмов, режиссер Марина Бабак.

**ДЖЕММА
ФИРSOBA
ГЕНРИХ
ГУРКОВ**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ



Наш мир стоит перед кризисом, все значение которого еще не постигли те, кому дана власть выбирать между добром и злом. Освобожденная от оков атомная энергия все изменила: неизменным остался лишь наш образ мыслей, и мы, безоружные, движемся навстречу новой катастрофе... Решение этой проблемы — в сердцах людей...

Альберт Эйнштейн

Когда в 1889 году Мария и Пьер Кюри открыли полоний и радий, они не представляли себе, к чему приведет их открытие всего через столетия.

В 1919 году Эрнст Резерфорд первым в истории человечества осуществил сумасшедшую мечту алхимиков о превращении одних элементов в другие и был назван «отцом атомного века».

«Мы подходим к великому перевороту в жизни человечества, с которым не может сравниться все им раньше пережитое. Недалеко время, когда человек получит в свои руки атомную энергию — такой источник силы, который даст ему возможность строить свою жизнь так, как он захочет. Сумеет ли человек воспользоваться этой силой — направить ее на добро, а не на самоуничтожение? Дорос ли он до умения использовать ту силу, которую неизбежно должна дать ему наука? Ученые не должны закрывать глаза на возможные последствия их работы, научного

процесса...» — писал в начале двадцатых годов академик Вернадский.

В канун рождества 1938 года, в преддверии нового 1939 года — года начала второй мировой войны — Отто Ган расщепил ядро атома урана. Рассказывают, что когда перед Отто Ганом кто-то начал развивать возможные перспективы применения ядерных превращений, то Ган закричал: «Бог этого не допустит!» Многие ведущие физики, владевшие секретом расщепления атома, к счастью для человечества, были изгнаны из Германии или бежали из оккупированной Европы — Нильс Бор, Энрико Ферми, Луиза Майтнер, Лео Сциллард, Альберт Эйнштейн...

2 декабря 1942 года был пущен первый атомный реактор Энрико Ферми, сооруженный под западной трибуной стадиона Чикагского университета. Шифровка в Гарвард к коллегам гласила: «Итальянский мореплаватель посадился в Новом Свете. Туземцы настроены дружелюбно...»

Альберт Эйнштейн: «Открытие деления урана угрожает цивилизации и людям не более, чем изобретение спички. Дальнейшее развитие человечества зависит от моральных устоев, а не от уровня технических достижений».

Ранним утром 16 июля 1945 года в пустыне Аламогордо, штат Нью-Мексико, была взорвана первая атомная бомба. Бригадный генерал Д. Фарелл: «Обстановка на пункте управления была драматической. Внутри и вне блиндажа находилось около 20 человек, занятых последними приготовлениями к взрыву... Последние, особенно напряженные два часа перед испытанием генерал Гровс находился с Оппенгеймером, прогуливаясь рядом с ним и успокаивая перенапряженные нервы ученого... По радио начали передавать отсчет времени, оставшегося до взрыва... Чувства большинства присутствовавших можно было лучше всего, пожалуй, выразить словами молитвы: «Боже, верую! Помогни, боже, справиться с моим неверием!»

Михаэль Роуз: «Когда злоеющее гигантское облако высоко поднялось над местом взрыва, Оппенгеймеру вспомнились строки из древнего индийского эпоса: «Я становлюсь смертью, сокрушительницей миров»...

Лесли Гровс, руководитель проекта: «Накануне вечером я был несколько раздражен поведением Ферми, когда он вдруг предложил своим коллегам заключить пари — подожжет ли бомба атмосферу или нет, и если подожжет, то будет ли при этом уничтожен только штат Нью-Мексико или весь мир».

1. ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ

Сто лет назад, в 1883 году, американец Хайрем Стивенс Максим изобрел станковый пулемет. Его выходные данные: темп стрельбы 500-600 выстрелов в минуту, емкость ленты — 250 патронов. А менее чем за двадцать лет до этого появилось главное средство ведения современных войн. В 1867 году Альфред Нобель изобрел динамит.

Оружие рождало противооружие, и наука как никогда развернула свою работу на войну. В воздухе пахло грозой, и человечество в лице лучших своих представителей пыталось остановить невиданную гонку вооружения.

Накануне нового века Лев Толстой в своей «Исповеди» приводил слова русского профессора международного права Комаровского: «В печати всех стран постоянно выдвигается

всеобщее стремление к миру, к необходимости его для всех народов. В том же смысле говорят представители правительств и частные люди, и как официальные органы, в парламентских речах, в дипломатических переговорах и даже во взаимных договорах. В то же время, однако, возвышают правительства ежегодно военную силу страны, накладывают новые подати, делают займы и оставляют будущим поколениям как завещание обязанность нести ошибки теперешней неразумной политики...»

Но все предупреждения и предостережения оказались тщетными. Фабрики выпускали оружие, государства вооружались.

В 1910 году появился еще один вид оружия, которому предстояло сыграть свою зловещую роль в мировой истории. И хотя первый в мире самолет — самолет А. Ф. Можайского — появился на год раньше пулемета Максима, годом рождения военной авиации считается 1910 год. Генерал Жоффр: «Авиация? Это спорт. Для армии она представляет ноль...»

И хотя первый военный самолет и первый атомный взрыв разделяет расстояние в 35 лет (всего тридцать пять!) эти события связаны между собой, как причина и следствие, как начало безумства и логическое его завершение...

«Оружие только тогда искоренит войну, когда станет достаточно разрушительным, чтобы уничтожать не только военные объекты, но и гражданское население...» — наивно полагал Альфред Нобель.

Вот и появилось оружие, «достаточное» для уничтожения в невиданных масштабах гражданского населения... Но это не остановило тех, кто им обладал, и они применили его против мирного населения в августе сорок пятого.

6 августа 1945 года первая атомная бомба — «Малыш» — сброшена на Хиросиму.

9 августа 1945 года — вторая бомба — «Толстяк» — сброшена на Нагасаки.

Японский доктор Аказуки, переживший трагедию Нагасаки: «Сквозь разбитое стекло я выглянул наружу и был ошеломлен. Небо было черное, как смола, от земли поднимались облака густого дыма — горели дома в долине. Сказать, что все горело, недостаточно. Слов, чтобы описать эту картину, не существует. Казалось, словно сама земля рождала

пламя, языки которого, извиваясь, выплескивали из ее чрева океан огня и дыма! Как будто наступил конец света...

Время шло, и все больше людей собиралось у больницы. Все они кричали: «Я ранен! Я ранен! Я горю! Воды!» Они шли как-то странно, медленными шажками, стеноя от боли. Спустя некоторое время отдельные участки кожи у раненых стали чернеть и отслаиваться...

Прошло три часа, а я не обработал и десятка больных... В мерцающем свете свечи было видно, как обожженные фигуры корчились на полу...

В последующие три дня тысячи людей начали умирать. У них выпадали волосы, их тошнило, кровоточили десны, у них был кровавый понос. Умирали те, кто радовался, что им повезло и они остались живы, и это продолжалось целый месяц, пока сильнейший тайфун не обрушился на Хиросиму и Нагасаки... В результате большое количество радиоактивных осадков, «песка смерти», смыло в море...

Однако до сих пор люди, подвергшиеся облучению, умирают... В Хиросиме — 96 тысяч, в Нагасаки — 94 тысячи...

Сегодня, спустя менее сорока лет после августа сорок пятого, мировая военная машина может повторить около миллиона Хиросим и Нагасаки...

Профессор Массачусетского технологического института Б. Фелд: «Если существует оружие, то существует и опасность его применения, которая, сколь бы она ни была мала, слишком велика, чтобы с нею мириться...»

Английский профессор Джозеф Ротблат: «Вероятность возникновения ядерной войны на протяжении 80-х годов чрезвычайно велика...»

Академик — секретарь отделения ядерной физики АН СССР М. Марков: «Злоупотребление научными достижениями и техническим прогрессом может привести к глобальному уничтожению всей жизни на нашей планете...»

Чингиз Айтматов: «Знаменитая гамлетовская дилемма «Быть или не быть?» из сугубо философского аспекта, из сферы психологических переживаний отдельной личности ныне трансформировалась в проблему самого существования человечества...»

Однако существует довольно распространенное суждение о том, что наличие колоссально ядерного арсенала — не зло, а благо, основная причина того, что до сих пор еще не произошло большой войны,

Западногерманский политолог Н. Андерс: «Разрядка между ядерными державами — дитя ядерного оружия и баланса ужаса».

Западногерманский эксперт фон Равен: «Устрашение — не противоположность разрядки, а ее предпосылка. Если в стремлении к разрядке захотят отказаться от устрашения, то ей будет нанесен только вред».

Бывший советник президента США по национальной безопасности Збигнев Бжезинский: «Наличие оружия тотального уничтожения делает последствия конфликта неисчислимыми и тем самым уменьшает вероятность крупной мировой войны».

Однако большинство думает иначе.

Профессор Гронингенского университета Берт Роллинг: «По странной иронии судьбы, одна из самых престижных в мире премий, которые присуждаются за деятельность в пользу мира, выплачивается из сумм, полученных за изобретение и продажу динамита и других взрывчатых веществ разрушительного действия... Альфред Нобель, промышленник и изобретатель динамита, основавший Нобелевские премии, считал себя пацифистом и был убежден, что его изобретения покончат с войной. Он писал Берте фон Зуттнер, автору знаменитой книги «Долой оружие» и одному из лауреатов Нобелевской премии: «Я делаю для мира больше пушками, чем Вы своими лекциями о разоружении».

Сегодня... развитие науки и техники наделило атомное оружие и ракеты такой способностью к массовому уничтожению, что применение их в войне между ядерными державами в буквальном смысле слова приведет к уничтожению обеих воюющих сторон. Последствия такой войны могут быть катастрофическими и для остального человечества. Многие эксперты выражают опасение, что земля может стать необитаемой...»

Может ли осознание масштабов возможной катастрофы остановить войну?

Накануне первой мировой войны, в ноябре 1912 года, Уинстон Черчилль заявил: «Мир скажет о поколении, допустившем возникновение подобной войны: это было поколение безумцев».

По другую сторону Ламанша в том же году премьер-министр Франции Раймон Пуанкаре сказал: «Возникшая война была бы вызовом, брошенным здравому смыслу, человечеству, цивилизации...»

Вызов «здравому смыслу и цивилизации» был брошен менее чем через два года. Еще раз он был брошен спустя двадцать пять лет. Если такой вызов будет брошен и в третий раз, уже не останется свидетелей и потомков, чтобы назвать «поколением безумцев» тех, кто это допустил.

Через четыре года после 1914-го Европа подвела страшные итоги. Тридцать шесть государств — участников первой мировой — подсчитывают жертвы. Огромные территории разорены и разгромлены...

Победное ликование в разоренной войне Европе 11 ноября 1918 года было куплено ценой жизни одиннадцати с половиной миллионов человек. Пятьсот тысяч из них — мирное население...

К концу второй мировой уже разорены и залиты кровью территории в пять раз большие. И в пять раз большие потери понесли в войне ее участники — шестьдесят одно государство мира: пятьдесят пять миллионов убитых. Почти половина из них — двадцать пять миллионов — женщины, старики, дети...

И, наверно, потому Европа в мае 1945 года пережила самый горестный и самый радостный день, который когда-либо выпадал человечеству.

В день, когда закончится третья мировая война, если обезумевшее человечество ее допустит, не будет ни побежденных, ни победителей — победы не будет ни для кого.

Что же привело человечество на грань катастрофы?

Кто виноват? Кто это начал? И с какой целью?

2. В ПОГОНЕ ЗА БОМБОЙ

Атомная бомба была выношена в чреве второй мировой войны и была одним из самых чудовищных ее детищ.

«В 1939 году... небольшая группа известных американских ученых обратила внимание правительства США на огромные потенциальные возможности атомной энергии при использовании ее в военных целях, предупредив его, что в Германии уже проводятся экспериментальные опыты в этой области», — пишет американский историк Луис Мортон.

Только под давлением опасности, что Германия может создать атомное оружие, Лео Спиллард уговорил Альберта Эйнштейна подписать письмо президенту Рузвельту — в нем

говорилось о необходимости опередить Германию.

6 декабря 1941 года Белый дом принял решение об ассигновании двух миллиардов долларов на производство атомной бомбы. Все работы были поручены армии и вошли в историю под названием Манхэттенского проекта. Возглавил проект генерал Лесли Гровс.

А на следующий день, 7 декабря 1941 года японские самолеты разбомбили американскую базу Пирл Харбор. Соединенные Штаты вступили во вторую мировую войну.

Спустя четыре года, уже после смерти президента Рузвельта, военный министр США Стивенсон доложил новому президенту Гарри Трумэну о положении дел с атомной бомбой. Тогда же Стивенсон высказал предположение, что «в течение четырех месяцев работа по созданию наиболее страшного оружия, когда-либо известного человечеству, будет закончена».

Доклад Стивенсона был сделан 25 апреля 1945 года. В этот день советские войска встретились на Эльбе со своими американскими союзниками. В этот день советские армии завершили окружение Берлина, судьба третьего рейха была окончательно решена. В этот день открылась конференция в Сан-Франциско, целью которой было создание Организации Объединенных Наций.

Первая бомба, созданная по Манхэттенскому проекту, взорвалась, когда Германия уже капитулировала. А на следующий день после успешного эксперимента в Аламогордо, 17 июля 1945 года, начала работу Потсдамская конференция, целью которой было послевоенное устройство мира.

«Если бы я знал, что немцам не удастся создать атомную бомбу, я бы и пальцем не пошевелил», — сказал Альберт Эйнштейн.

Но дело было сделано, и президент Трумэн готовился к применению нового оружия против Японии.

Через пятнадцать лет, 15 августа 1960 года, журнал «Юнайтед стейтс нью энд уорлд рипорт» резюмировал интервью, взятые им у ученых и военных, причастных к созданию атомной бомбы: «Когда эти люди оглядываются назад, они в общем сходятся во мнении, что... в то время, когда была сброшена атомная бомба, Япония уже была разбита».

Американский историк Герберт Аптекер: «После начала второй мировой войны, но еще до вступления в нее американцев президент Рузвельт направил послание всем воюющим державам, призывая их не бомбить неукреп-

ленные объекты и позаботиться о том, чтобы жертвы среди гражданского населения были минимальными...»

Спустя четыре года, мотивируя выбор одной из целей бомбардировки, Гровс писал: «В последнее время в этот город были эвакуированы многие отрасли промышленности и большое количество населения из разрушенных городов...» По свидетельству Гровса, американское командование знало и о наличии в японских городах американских военнопленных.

25 июля 1945 года генерал Спаатс, представлявший США в Карлсхорсте на подписании капитуляции, а теперь командующий американской стратегической авиацией на Тихом океане, получил приказ министра обороны Стивенса: «Сбросить первую атомную бомбу на один из городов Японии (Хиросима, Кокура, Нингата, Нагасаки) в любой день после 3 августа, как только метеорологические условия позволят произвести бомбометание по видимой цели».

Что же заставило президента США и его военный аппарат с такой непреклонной решимостью привести в исполнение этот бессмысленный в военном отношении и с точки зрения морали и здравого смысла ужасающий проект бомбардировки японских городов?

В 2 часа 45 минут 6 августа «Бонинг-29» «Энола Гей» поднялся в небо и взял курс в сторону Японских островов. В дни подготовки этого полета никто еще не высказывался публично об истинных целях атомных бомбардировок. Только спустя много лет, в 1954 году, Лесли Гровс на слушании «дела Оппенгеймера» скажет: «Не прошло и двух недель после того, как я возглавил Манхэттенский проект, а у меня уже не оставалось никаких иллюзий: я понимал, что врагом была именно Россия...»

Напомним, что Манхэттенский проект начал свое существование в 1941 году!

Профессор Ричард Каррент в биографии Стивенса замечает, что военный министр США в то время «недвусмысленно намекал, что не Япония, а Россия была подлинным объектом атомной бомбы». «Применение атомной бомбы,— отметил английский физик М. П. Блэккет,— было не столько последним военным актом второй мировой войны, сколько первой большой операцией в холодной дипломатической войне с СССР, ведущейся в настоящее время».

Солдаты возвращались домой — в разоренные войной города Европы, в сожженные города и села России, Украины, Белоруссии.

Американский исследователь М. Шерри: «В ближайшие годы СССР должен был сосредоточить свои усилия на восстановлении хозяйства...» И тем не менее: «В октябре 1945 года Комитет начальников штабов США в секретном докладе взвесил желательность нанесения атомных ударов — в виде возмездия или превентивных — по Советскому Союзу. Объединенный разведывательный комитет наметил 20 советских городов для атомных бомбардировок...»

В том же 1945 году Комитет начальников штабов провел специальное заседание видных физиков-атомщиков. Цель — вычислить возможности создания атомной бомбы в СССР. Вывод специалистов: для этого понадобится минимум пять лет, максимум — двадцать, а скорее всего — десять лет. Лесли Гровс заявил тогда же в конгрессе, что в лучшем случае «Советам потребуется 10—15 лет для создания атомного оружия».

Форрестол, до того, как им овладело безумие, признавался в своем дневнике в июне 1946 года, что он не верит в то, что СССР может напасть «в любое время». В июне 1948 года генерал Уолтер Беделл Смит доложил Совету Безопасности ООН, что «русские не хотят войны».

Из плана «Чарлотир», составленного в середине 1948 года Комитетом начальников штабов: «Война должна начаться до 1 апреля 1949 года. Атомные бомбы будут применяться в масштабах, которые будут признаны существенными и желательными... Планы объектов и навигационные карты для операции против 70 советских городов будут розданы к 1 февраля 1949 года»...

По плану «Дропшот», разработанному Комитетом начальников штабов в 1949 году, «в первый период планировалось сбросить на Советский Союз свыше 300 атомных бомб и 250 000 тонн обычных бомб, уничтожив до 85 процентов советской промышленности...»

А. Браун, обнаруживший в 1978 году этот план, пишет: «Американский план мировой войны против Советского Союза «Дропшот» был подготовлен Комитетом начальников штабов по указанию и с ведома президента Гарри Трумэна»...

Генерал Гудпестер подчеркивал: «В те дни в Европе не ставили вопроса: «будет ли война?», а чаще: «в каком месяце начнется война?».

23 сентября 1949 года президент Трумэн констатировал: «У нас есть доказательства,

что недавно в СССР произведен атомный взрыв».

25 сентября 1949 года ТАСС выступило с официальным заявлением, подтвердившим наличие в СССР атомного оружия.

...Американские солдаты вернулись в страну, где не знали, что такое воздушная тревога. Отличившихся на фронтах ждали специально для них построенные дома с мемориальной доской у входа в дом: «От администрации штата (города, страны — в зависимости от ранга и заслуг) — герою Окинавы (Мидуэя, Арденн и т. д.)».

В своей обвинительной речи на Нюрнбергском процессе Роберт Г. Джексон признал, что США понесли во второй мировой войне самые минимальные потери. «На американские города не сыпались днем и ночью бомбы, сбрасываемые с обычного или управляемого на расстоянии самолета. Наши храмы не лежат в развалинах, над головами наших сограждан не разрушен кров». Джексон дал торжественное заверение в том, что США никому не уступят в решимости воспрепятствовать повторению германской агрессии в будущем, и продолжал: «За мою жизнь Соединенные Штаты дважды посылали отряды своей молодежи через Атлантический океан, почти исчерпывали свои ресурсы и отягощали себя долгами, для того чтобы помочь побороть Германию... Соединенные Штаты не могут бросать свою молодежь, поколение за поколением, на поля сражений в Европе... Опыт показал, что войны больше уже не могут быть локализованы. Все современные войны становятся в конце концов мировыми войнами. И во всяком случае, ни одна великая нация не может остаться нейтральной. Но если мы не можем остаться в стороне от войны, у нас имеется надежда ее предотвратить...»

Это было сказано в 1946 году.

Не знаящие четыре года ни отдыха, ни отпусков солдаты восточного союзника возвращались к пепелищам и землянкам, где ютились оставшиеся в живых близкие. Сколько было и таких, кому некуда и не к кому было возвращаться... А в Окридже уже работали два завода по производству бомб.

В России в палатках, в наскоро сооруженных строениях проводились работы с ураном, графитом, опыты, поиски.

25 декабря 1946 года И. В. Курчатов и его сотрудники пустили в ход первый экспериментальный уран-графитовый реактор. Была осуществлена ядерная ценная реакция, в результате которой были получены несколько де-

сятков миллиграммов плутония, положившие начало созданию в СССР атомной промышленности. Через три года США лишились монополии на обладание атомной бомбой.

В октябре 1952 года в США произвели первый водородный взрыв. Это не была компактная бомба — было взорвано громоздкое устройство величиной с четырехэтажный дом весом в 65 тонн, которое Оппенгеймер охарактеризовал как «много тонн сложной системы трубопроводов».

20 августа 1953 года американская комиссия по атомной энергии констатировала: «Утром 12 августа Советский Союз произвел испытание атомного оружия. Некоторые сведения, подтверждавшие этот факт, были получены нами в тот же вечер. Последующие данные показывают, что при взрыве происходило не только ядерное деление, но и термоядерная реакция». В ходе эксперимента «было осуществлено кое-что из того, что США надеялись получить в результате опытов, назначенных на весну 1954 года».

Первая американская водородная бомба, которую был способен транспортировать самолет, была взорвана 31 марта 1954 года. Позже свои бомбы взорвали Франция, Англия, Китай...

Вспомните Эйнштейна: «Освобожденная от оков атомная энергия все изменила: неизменным остался лишь наш образ мыслей».

Получив в руки атомную бомбу, Запад продолжал мыслить старыми категориями. И одной из них была древнейшая формула: «Война окончена — война начинается».

3. ВОЙНА ОКОНЧЕНА — ВОЙНА НАЧИНАЕТСЯ

На полях сражений второй мировой войны солдаты антифашистского фронта сражались на смерть, веря, что само понятие «война» после разгрома фашизма исчезнет из жизни человечества. Что может быть потом, кроме мира? Какие еще нужны кровавые уроки?

Между тем, уже в 43-м году Джеймс Форрестол, в ту пору заместитель военно-морского министра США, рассуждая о послевоенном устройстве, изрек следующую сентенцию: «Понятия «безопасность» больше не существует, вычеркнем это слово из нашего лексикона. Запишем в школьные учебники изречение: мощь, подобно богатству, либо используется, либо утрачивается». Сам он, естественно, не предполагал ее утратить. Он намеревался ее использовать...

Историки знают: война начинается не в день ее объявления, не в час вероломного нападения, не в минуту, когда грянет первый выстрел. Война начинается за много лет до этого — когда оканчивается предыдущая война, когда побежденный затаил обиду поражения и потерь, а победитель — досаду, что не добился большего, что не так поделил с союзником «военный трофей». Так было веками. Так продолжали мыслить западные союзники в конце второй мировой. И для всех случаев в ход пускались такие понятия, как «национальные интересы» и «национальная честь». Точнее — национальные амбиции.

Когда в 1871 году германская «национальная честь» была на небывалой высоте после победы над Францией, во франко-прусской войне, для Германии Седан, олицетворявший собой эту победу, казался только началом невиданного взлета германской нации и началом пути к германскому господству в Европе и в мире.

В тот год будущему императору Вильгельму II было двенадцать лет, будущему генералу Эриху Людендорфу — семь, а будущему генерал-фельдмаршалу Паулю фон Гиндербургу — двадцать четыре года. Он успел стать участником австро-прусской войны 1866 года и франко-прусской 1870—1871 годов.

В 1870 году кавалерийский офицер двадцати одного года от роду Фридрих фон Бернгарди стал первым немцем, проехавшим через Триумфальную арку, когда был занят Париж. Этот звездный час национального самолюбия для фон Бернгарди предопределил все, что он делал в дальнейшем во имя утверждения «исторической миссии Германии». В канун первой мировой войны он работал над книгой «Германия и будущая война», где главы назывались так: «Право вести войну», «Долг вести войну», «Мировая держава или падение».

«Мы должны обеспечить германской нации и германскому духу на всем земном шаре то высокое уважение, которое они заслуживают... и которого были лишены до сих пор...» Упомянулись и потенциальные противники: «Немыслимо, чтобы Германия и Франция смогли когда-либо договориться в отношении своих проблем. Франции необходимо сокрушить совершенно, с тем чтобы она не смогла больше перейти нам дорогу... Она должна быть уничтожена раз и навсегда...»

«Русская громада в 170 миллионов человек должна быть, во всяком случае, сокращена и ее возможность нападения на среднюю Европу ограничена... Однако наш настоящий враг, и

не только наш, но и враг всей европейской культуры...— это Англия. С Англией не должно быть заключено мира прежде, чем ее вредное могущество не будет окончательно сломлено...» — писал другой теоретик национальных амбиций Германии П. Рорбах.

Гросс-адмирал Альфред фон Тирпиц, создатель германского военного флота, в своих мемуарах был куда откровеннее: «Вопрос шел о том, не опоздали ли мы принять участие в почти закончившемся разделе мира; о принципиальной возможности сохранить на длительный срок искусственные темпы развития (Германии), доставившие нам наше место в концерте великих держав».

Итак, Германия Вильгельма I и Бисмарка по мере взросления мальчика, которому предстояло стать императором Вильгельмом II, и непомерного роста национальных амбиций и апетитов его соотечественников, из страны, главной целью которой были национальное объединение и становление национального самосознания, превратилась в страну, для которой главной жизненной задачей стала «историческая миссия» в Европе и в мире.

Англия — сильнейшая из мировых держав — не собиралась уступать своего приоритета. Англичанам тоже в высшей степени были свойственны национальные амбиции, как нельзя лучше выраженные в первых строках имперского гимна.

Арчибальд Джонстон: «Мы издевались над тевтонской надменностью — «Германия превыше всего», а сами бойко распевали даже в церквах:

- Пусть ширятся и ширятся
- Границы страны моей,
- Бог, давший ей мощь и силу,
- Пусть сделает ее еще сильней...»

Артур Буше в книге «Победоносная Франция в войне будущего»: «Французы — народ гордый, который всегда исполнит то, что прикажет ему его честь... Франция должна говорить громко и решительно, так как имеет на это полное право. Ее враг 1870 года ошибается».

Национальное достоинство Франции взывало к месту за позор, имя которому было Седан. Захваченные пруссаками Эльзас и Лотарингия, онемеченный Страсбург взывали к реваншу. На Парижской Всемирной выставке 1900 года стало ясно: Франция — снова сильный соперник.

Ромен Роллан: «Этим детям, знавшим войну только по книгам, ничего не стоило приписать

ей несвойственную красоту. Они стали агрессивными, пресытившись миром и отвлеченными идеями, они прославляли «наковальню сражений», на которой им предстояло окровавленным кулаком выковать когда-нибудь могущество Франции...»

И когда в январе 1913 года Пуанкаре, главный выразитель идеи «французского возмездия», был избран президентом республики, президент Фальер, покидая Елисейский дворец, сказал: «Я уступаю место войне...»

В Азии тоже выросла страна, претендовавшая на первые роли. Япония собирала силы для новых ратных «подвигов» — «во славу и в интересах нации».

Из-за океана за евроазиатскими национальными амбициями наблюдал еще один претендент на первые роли. Генеральный консул США в Германии в доверительной беседе в канун войны сказал: «Мы убеждены, что после войны руководящее значение перейдет к нашему народу. Мы будем руководить не только Германией, но и всей Европой. Народы ждут от нас многого, и прежде всего мира, и они его получат, но на наших условиях и по нашим ценам!».

Итак, каждая из «великих сторон» была недовольна статус-кво, каждая надеялась и рассчитывала на большее и каждая верила, что в предстоящем сражении именно она возьмет верх и тем самым «исправит несправедливость» создавшегося в результате прошлой войны положения. В этой гонке за «национальным достоинством» не уступали ни побежденные, ни победители, ни сторонние наблюдатели...

Но надо было еще донести национальные амбиции до сознания своего народа, превратить энтузиазм в нерассуждающий фанатизм, взвинтить нервы, и начальник оперативного отдела германского генштаба полковник Людендорф в одной из своих докладных записок предлагает следующий рецепт: «Надо заставить народ проникнуться мыслью, что наши вооружения — ответ на вооружение Франции. Надо приучить его думать, что наступательная война, которую мы поведем, вызвана необходимостью бороться с провокациями противника. Нужно вести дело таким образом, чтобы под гнетущим впечатлением могущественных вооружений, значительных жертв и тревожно-го положения пришествие войны показалось бы избавлением...»

Советский историк первой мировой войны М. Павлович: «Недаром накануне мировой войны буржуазная пресса каждой страны с

таким рвением сеяла панику среди населения, рисуя призрак неизбежного нападения на «отечество» со стороны того или другого врага, не заикаясь, конечно, ни словом о своих собственных приготовлениях к нападению на соседа...»

«Орды кровавого царя грозят нашему народу!» — вопила 4 августа 1914 года газета «Мюнхенер пост».

В опубликованных уже во время войны письмах немецкого рабочего своему французскому товарищу объясняется настроение, охватившее немцев в момент мобилизации: «Измена! Измена! Россия вооружается, а мы ждем. Нашей границе грозит опасность, казаки с пиками в руках собираются наводнить страну, а мы все чего-то колеблемся! Все мы были охвачены каким-то повальным безумием. Нам столько говорили об опасности, что мы, наконец, поверили ей...»

По той же схеме нагнеталась истерия «национального самосознания» в каждой из стран.

Радостное ликование, сопровождавшее мобилизацию 1914 года — и в Германии, и в России, и во Франции — больше походило на победные торжества. Или на массовое сумасшествие.

Советский историк Д. Проэктор: «В Германии начало войны вызвало взрыв шовинистического ликования. В России — верноподданнические манифестации. В Англии объявление войны Германией 4 августа 1914 года было встречено патристическими песнями и проявлениями энтузиазма перед королевским дворцом».

Но один мудрый англичанин сказал: «Теперь они бьют в колокола, скоро будут бить себя в грудь».

Трудно было не подпасть под этот массовый психоз, массовый гипноз, основанный на самом святом понятии, которое тысячелетиями «освящало» и возвышало в умах людей любую войну, любую агрессию «во славу веры и отечества». Но варварство всегда оставалось варварством, обман — обманом, и всегда находились люди, понимавшие трагическую ослепленность масс.

Мопассан: «И самое удивительное — это то, что народ не поднимется против правительства — все равно в монархии или в республике. Самое удивительное, что все общество не взбунтуется при одном слове — война...»

Бернард Шоу: «Без сомнения, самое героическое средство против этого трагического недоразумения заключается в том, чтобы и та и другая армии перестреляли своих офицеров и

отправились по домам собирать урожай в деревне и совершать революцию в городах... Потому что... убивая своих соседей, они лишь причиняют себе вред и, желая досадить другому, они лишь ту же чем когда-либо затягивают на своей шее невыносимое ярмо...»

В конце первой мировой совершилось невероятное: огромные народные массы вырвались из колыма национальных амбиций, впервые осознав, что война не имеет ничего общего ни с их интересами, ни с интересами их родины. Русская революция пробудила сознание человеческого братства, вылившееся в братание в окопах.

Позже Людендорф писал: «Теперь, задним числом, я могу утверждать, что наше поражение явно началось с русской революции. С одной стороны, правительство было озабочено опасностью подобного же развития событий у нас, а с другой стороны, выявило свою неспособность влить в широкие народные массы новые силы и укрепить в них понижающуюся по бесконечно многим причинам волю к войне...»

Еще до революции в России, в составленном 16 июля 1916 года на Вильгельмштрассе меморандуме в предчувствии возможного поражения говорилось: «Мы должны выбирать между Англией и Россией, чтобы и после заключения мира иметь опору против одного из главных врагов. Этот выбор надо оделать в пользу Англии и против России, ибо русская программа несовместима с нашей позицией форпоста западноевропейской культуры... Напротив, разграничение интересов между Англией и Германией вполне возможно... Негодование германской общественности против Англии необходимо, следовательно, обратить на Россию...»

Революция в России и назревание революционной ситуации в Европе напугали союзников по первой мировой войне и толкнули их к мысли о коалиции со вчерашним врагом.

В день подписания перемирия с Германией, 11 ноября 1918 года, Черчилль обедал с Ллойд-Джорджем в его резиденции на Даунинг стрит, 10.

Черчилль вспоминает: «С улицы к нам доносились песни и радостные крики толпы... Однако... не было ощущения, что дело сделано. Напротив того, Ллойд-Джордж ясно представлял, что ему предстоят новые и, может быть, еще большие усилия. Мое собственное настроение было двойственным: с одной стороны, я боялся за будущее, с другой — хотел помочь разбитому врагу...»

В своих мемуарах Черчилль писал: «Наложить руку на Россию — это слишком тяжелая задача для одних стран-победительниц. Если мы хотим это осуществить, то это можно сделать только с помощью немцев. Германия знает о России больше, чем какое-либо другое государство, и в настоящее время ею оккупированы богатейшие и наиболее населенные области России. Не должна ли и Германия вместе с нами принять участие в наведении порядка на огромных пространствах Востока?»

Черчилль не был одинок, в своем мнении. Желание натравить германских милитаристов на молодую Советскую республику открыто высказывалось и в американских ответственных военных кругах. Так, главнокомандующий американской оккупационной армией в Германии после первой мировой войны генерал Генри Т. Аллен писал в своем дневнике, что Германии должно быть «разрешено распространиться на Восток». Обоснование? «Распространение Германии на область России заняло бы немцев на весьма длительное время и, таким образом, уменьшило бы напряжение в Западной Европе».

Еще до подписания Версальского договора американский представитель в Верховном совете Антанты генерал Блисс доносил 28 октября 1918 года личному представителю президента полковнику Хаузу: «Лорд Мильнер (английский военный министр — Авт.) склонен возражать против демобилизации, полагая, что Германии, возможно, придется быть оплотом против русского большевизма, и Вильсон с ним согласен».

Черчилль — в письме Ллойд-Джорджу от 9 апреля 1919 года: «Следует накормить Германию и заставить ее бороться против большевизма».

Итак, «война окончена — война начинается». Определен главный враг. Определен будущий союзник. Такова была позиция победителей.

А побежденные с самого начала затаили неодолимую жажду реванша — потому что непомерная жадность победителей обрекла Германию на голод, нищету и унижение. По Версальскому договору Германия потеряла 13 процентов территории, 10 процентов населения, 75 процентов железной руды и 20 процентов угля. Области по левому берегу Рейна оккупированы союзниками, Саар на 15 лет передан Франции. Колонии поделены между победителями. Сумма репараций — 132 миллиарда марок, — практически невозможная к выплате для разоренной войной страны.

Гарольд Никольсон: «Следовало ли ожидать, что человечество, только что испытывавшее безумие великой войны, проявит сверхчеловеческую мудрость?.. Ошибки могут быть порождены теми же микробами, той же инфекцией, характерной для человеческого мышления, всегда недостаточного для разрешения исторических задач...»

«Сверхчеловеческую мудрость» мир не проявил.

Позже в своих мемуарах Черчилль напишет: «Это был не мир. Это было перемирие на двадцать лет».

Еще до начала первой мировой войны французский ученый Бутру в журнале «Ревю де монд» писал: «Не степень реальной силы, какую Германия сохранит после войны, является мерилем опасности, которой она вновь и вновь сможет подвергнуть человечество. Этим мерилом является ее настойчивое стремление к господству, расширению и угнетению...»

Версальский мир не усмирил национальные амбиции Германии, а разжег их с небывалой силой.

Зная прошлое, предугадать будущее было не сложно, и Франческо Нитти в своей книге «Европа без мира» заметил: «Так как мщение всегда превосходит нанесенную обиду, то спрашивается, до какой степени насилия, одичания и варварства может дойти Европа, если предположить, что сегодняшние побежденные окажутся завтра победителями?.. Наши сыновья переживут трагедию еще более страшную, чем испытания, выпавшие на долю нашего поколения...»

Версальский мир запретил Германии иметь армию численностью более 100 тысяч человек — только для «внутреннего пользования», против революции.

Итак, опасность была определена — она шла с Востока, из Советской России. Возможный союзник в возможной войне с этой «опасностью» тоже определен — Германия. В 1922 году Черчилль сформулировал эту позицию достаточно ясно: «Мир с германским народом, война против большевизма».

Близкий друг Даладьё французский профессор-историк Дрио в своей статье, опубликованной 1 июня 1940 г. в журнале «Ревю дез этюд наполеоньен», заявил: «Моя политическая мечта, чтобы г. Чемберлен и г. Даладьё отдали Россию до Владивостока г. Гитлеру: тогда все будут довольны».

...Спустя полторы недели после появления этой статьи войска гитлеровской Германии вступили в Париж.

Из партийной программы НСДАП, датированной 25 февраля 1922 года: «Национал-социалисты сознательно подводят черту под внешнеполитической направленностью нашего предвоенного времени. Мы начинаем там, где было кончено шесть веков тому назад. Мы оставляем вечное движение германцев на юг и запад Европы и устремляем взгляд в сторону земель на Востоке. Мы, наконец, отказываемся от колониальной и торговой политики предвоенного времени и переходим к земельной политике будущего...»

«Стальной шлем» в воззвании от 25 февраля 1922 года: «Экономическая и социальная нужда нашего народа обусловлена нехваткой жизненного и трудового пространства. «Стальной шлем» поддерживает любую внешнюю политику, которая открывает избыточному немецкому населению области для поселения и труда...»

Из национал-социалистической листовки от 1 августа 1929 года: «И ради нашей нации германская революция не страшится никакой борьбы. Никакая жертва не окажется для нее слишком велика, никакая война — слишком кровава, ибо Германия должна жить!».

Германскому милитаризму дали возродиться. Гитлеру позволили прийти к власти. Более того — на него возлагали большие надежды вполне определенного характера.

Лорд Галифакс, впоследствии министр иностранных дел Англии, сказал после встречи с Гитлером в Оберзальцберге 19 ноября 1937 года: «Фюрер достиг многого не только в самой Германии... В результате уничтожения коммунизма в своей стране он преградил путь последнему в Западную Европу, и поэтому Германия по праву может считаться бастионом Запада».

29 июня 1939 года тот же лорд Галифакс — уже министр иностранных дел Англии — заявил: «Мы знаем, что если безопасность и независимость других стран исчезнут, наша собственная безопасность и наша собственная независимость окажутся под серьезной угрозой...»

Но было уже поздно. До начала войны оставалось два месяца.

Методы «обработки» и подогревания национального психоза и страхов в Европе на следующий день после аншлюса Австрии охарактеризовала парижская газета «Тан»: «Достаточно Германии потрясти пугалом большевизма, чтобы дискредитировать и парализовать силы сопротивления... Громко кричать о коммунистической угрозе — это значит внушать

буржуа Парижа или Лондона, что Германия — оплот Запада и даже христианской цивилизации...»

Это «для других». Для «себя» несколько иначе — конкретнее и ближе к очередной, давно запланированной акции: «Польский национализм угрожает Германии» (из немецкого киножурнала «Дойче вохеншау», август 1939 года).

«Россия нарушила свои обязательства, взятые ею в отношении Германии. Большевизм угрожает самому существованию германской нации. Фюрер еще раз вручает будущее Германии в руки немецкого солдата», — из выступления Риббентропа на пресс-конференции 22 июня 1941 года.

Проводы солдат на фронты второй мировой войны уже не походили на праздничные манифестации...

Праздником стала для народов мира Победа. Но тревожные тени витали над этим праздником.

Уже в канун капитуляции, в мае сорок пятого, получивший полномочия от Гитлера новый «фюрер», гросс-адмирал Дениц, выступая по радио, заявил: «Наша политическая линия совершенно ясна... Мы должны идти с западными державами и работать с ними... Только сотрудничество с ними дает возможность надеяться, что в дальнейшем мы сумеем отвоевать у русских нашу землю...»

Американский журналист Ральф Паркер вспоминает: «У закрытого окна стояла высокая фигура Джорджа Ф. Кеннана, советника посольства США в Москве. Он молча наблюдал за толпой, встав так, чтобы его не было видно снизу... Я заметил на лице Кеннана, наблюдавшего эту волнующую сцену, страшно недовольное выражение. Потом, бросив последний взгляд на толпу, он отошел от окна, сказал злобно: «Ликут... они думают, что война кончилась... А она еще только начинается...»

Позже Черчилль напишет в своих мемуарах: «Когда я пробирался сквозь толпы ликующих лондонцев в час их радости... мой ум занимали опасения за будущее, в моих глазах советская угроза уже заменила собой нацистского врага...»

А 23 ноября 1954 года на предвыборном митинге в своем избирательном округе он же сказал: «Я был первым из известных деятелей, открыто заявивших о том, что мы должны иметь Германию на своей стороне против русской коммунистической агрессии... Еще до того, как кончилась война, в то время, когда

немцы сдавались сотнями, а наши улицы были заполнены ликующими толпами, я направил Монтгомери телеграмму, предписывая ему тщательно собирать германское оружие и складировать его, чтобы легко можно было бы снова раздать это оружие германским солдатам, если бы советское наступление продолжалось».

Фельдмаршал Монтгомери на следующий день подтвердил факт получения им перед окончанием войны телеграммы Черчилля: «Это действительно правда. Я получил эту телеграмму Черчилля. Я подчинился приказу. Как солдат, я всегда подчинялся приказу». Потом он вторично подтвердил получение телеграммы, «призывающей быть готовыми к совместным действиям с побежденными немецкими войсками в случае дальнейшего продвижения русских».

Итак, «война окончена — война начинается?»..

Из сообщений советской прессы. Март 1946 года: «Президиум Верховного Совета СССР постановляет... провести демобилизацию из сухопутных войск и военно-воздушных сил СССР третьей очереди последующих шести возрастов рядового и сержантского состава...»

«По договоренности между правительствами СССР и Дании началась эвакуация советских воинских частей с острова Борнхольм. Эвакуация будет закончена в месячный срок...»

«Советское правительство довело до сведения китайского правительства, что советское командование закончит эвакуацию советских войск из Маньчжурии к концу апреля...»

«Отвод находящихся в Иране советских войск из районов Мешхеда, Шахруда, Семнана... начатый 2 марта 1946 года, уже закончен... Советское командование в Иране рассчитывает, что полная эвакуация советских войск из Ирана может быть закончена в течение пяти-шести недель...»

Между тем...

Еще 27 июля 1944 года председатель комитета начальников штабов Великобритании записал в своем дневнике: «Провел час в военном министерстве, обсуждая с министром иностранных дел послевоенную политику в Европе. Следует ли расчленять Германию или постепенно превратить в союзника, чтобы встретить русскую угрозу через двадцать лет? Я предложил последнее и убежден, что отныне мы должны по-иному относиться к Германии. Германия больше не господствующая держава в Европе, таковой является Россия... Поэтому следует поощрять Германию, постепенно

укреплять ее и ввести в федерацию Западной Европы. К несчастью, все это придется делать под прикрытием священного союза — Англия, Россия, Америка...»

«Уже в сентябре 1944 года, когда солдаты все еще гибли в борьбе с нацистской военной машиной, в высших правительственных кругах США был распространен меморандум, в котором, по существу, утверждалось, что как только закончится война, мы должны как можно скорее восстановить мощь Германии», — писала после войны американская газета «Дейли геральд».

Из записи в дневнике начальника британского имперского генерального штаба фельдмаршала Алана Брука 2 мая 1945 года: «Сегодня вечером я внимательно ознакомился с докладом планировщиков относительно возможности начать войну против России, если в будущем в переговорах с нею возникнут трудности. Мы получили приказ провести исследование... Сама идея, безусловно, фантастична, шансы на успех равны нулю. Нет ни малейшего сомнения, что отныне Россия всемогуща в Европе».

Заместитель государственного секретаря США Д. Грю писал в меморандуме правительству в мае 1945 года: «Будущая война с Россией очевиднее, чем что-либо на нашей земле. Она может разразиться в ближайшие несколько лет. Нам следует поэтому поддерживать в готовности наши вооруженные силы. Мы должны настаивать на контроле над стратегическими вооруженными силами и морскими базами».

В мае же 1945 года командующий ВВС генерал Г. Арнольд заявил: «Наш следующий враг — Россия... Для успешного использования стратегической бомбардировочной авиации нам нужны базы, расположенные по всему миру так, чтобы мы могли с них достичь любого объекта в России, который нам прикажут поразить...»

Бывший помощник государственного секретаря Арчибалд Маклиш писал: «Формально мы вели войну за новый, лучший мир, на деле мы воевали за то, чтобы вернуться к старому...»

В декабре 1945 года, формулируя доктрину, названную его именем, президент Гарри Трумэн сказал: «Хотим мы этого или не хотим, мы обязаны признать, что одержанная победа возложила на американский народ бремя ответственности за дальнейшее руководство миром».

Выступая в конгрессе США 1 февраля 1951 года, Эйзенхауэр говорил о США как о «стране, которая является олицетворением высшей цивилизации и обладает огромными резервами руководителей...» «Какая нация, — продолжал он, — более способна обеспечить руководство, чем Соединенные Штаты? И лучше подготавливается к этому? Мы не испытали упадка духа, пораженческих настроений, не видели разрушений, которые знала Европа. Мы моложе, свежее, и, что не менее важно, мы находимся дальше от непосредственной опасности...»

За год до этого Совет национальной безопасности США разработал директиву СНБ-68, в которой говорилось: «Советская угроза безопасности США резко возросла. Она носит тот же характер, что и указан в директиве СНБ 20/4, утвержденной президентом 24 ноября 1948 года, однако она значительно ближе, чем считали раньше. Республика и ее граждане в зените своей мощи подвергаются самой страшной опасности. Речь идет о жизни или смерти не только республики, но и всей цивилизации».

В докладе же Совету НАТО за 1951 год говорилось, что нет никаких «серьезных указаний на то, что Советский Союз готовится к военным действиям». В 1952 году верховный главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе генерал Грюнтер докладывал Эйзенхауэру, что «не видит никаких признаков такой подготовки и убежден, что русские не собираются воевать».

Американский историк А. Шлезингер: «Соединенные Штаты отказались от проводившейся в военное время политики сотрудничества и под воздействием факта обладания атомной бомбой встали на путь агрессии, рассчитанной на ликвидацию влияния России в Восточной Европе и создание... капиталистических государств у границ Советского Союза...»

Сам термин «холодная война» был изобретен советником по внешнеполитическим вопросам правительства США банкиром Барнадом Барухом, а в широкий обиход пущен известным публицистом Уолтером Липпманом, возглавившим так серию своих статей. 6 марта 1946 года, когда Черчилль произнес эти слова в Фултоне, было лишь днем официального утверждения состояния «холодной войны» с СССР, давно уже ставшей фактом.

История повторялась...

Враг определен еще тогда, когда он был союзником.

Союзник намечен тогда, когда он был еще врагом.

Только претендент на мировое лидерство — другой.

«Холодная война» не должна затянуться — она лишь ступенька к «горячей», очень горячей войне. И в этой войне Германии отводилась «решающая роль» в Европе.

«Нью-Йорк таймс», 15 мая 1951 года: «Германия и немецкий людской потенциал — неотъемлемая составная часть стратегического планирования...»

«Нью-Йорк таймс», 20 мая 1951 года, статья сенатора Тафта: «Дешевле вести войну солдатами других народов — даже если нам придется их вооружить, — чем посылать на войну американских парней. Этим самым мы прежде всего сохраняем американские жизни».

В интервью с английским журналистом Уилфордом немецкий генерал Мантейфель заявил: «В конце концов, мы вам нужны. Мы можем поставить людей для тридцати танковых дивизий, а возможно, и больше...»

Осенью 1965 года, отмечая десятилетие вооруженных сил ФРГ, Хойзингер сказал: «Если когда-либо будет написана история бундсвера, то ее нельзя начинать с 1955 года...» Да, ее начало — в лоне второй мировой, в апреле сорок пятого, когда западные союзники проводили сепаратные консультации, дабы сохранить боеспособным воинский контингент вермахта. Да, ее начало — в победные дни сорок пятого, когда продолжали свое «прохождение военной службы» тысячи якобы пленных фашистов. Один обер-фельдфебель писал 28 сентября 1946 года своим родным: «Я являюсь солдатом одной нелегальной воинской части. Во всей британской зоне имеется много лагерей, где находятся немецкие воинские соединения, и в том числе соединения эсэсовцев. Эти воинские части частично вооружены, занимаются вольным спортом и военными упражнениями. Эсэсовские соединения даже проводят тренировки в стрельбе».

«Нью-Йорк таймс» от 27 ноября 1949 года приводит заявление сенатора от штата Оклахома Эльмера Томаса: «Германия была великой военной державой, немцы хорошие солдаты. Если Соединенные Штаты вновь будут втянуты в войну, нам потребуются солдаты. В этой войне мы хотим иметь немцев на своей стороне».

В 1950 году с «призывом к германской нации» обратился вновь возникший «Стальной шлем». Председателем его стал фельдмаршал Кессельринг, с именем которого непосредствен-

но связана гибель Лидице и Орадура. Итак, призыв «Стального шлема»: «После катастрофы потерянных двух мировых войн «Стальной шлем» основан вновь. И вновь перед лицом угрожающей ситуации звучит великое воззвание к бывшим солдатам: крепить ряды организации фронтовиков. Программа, коротко говоря, состоит в возрождении через фронтовой социализм (!). Цель — свобода немецкого народа в его исторических границах и в рамках паневропейского товарищества!.. «Стальной шлем» — это совесть вновь набирающей силу германской нации, империи, озаренной славой в блеском тысячелетней истории. Мы движемся не к вечному миру, а к конфронтации немислимого масштаба. Для этого нужно быть подготовленными духовно и физически. «Стальной шлем» был и есть великий духовный арсенал нации, он не только сердце, мозг и меч нации, но и ее могучий трибун! Товарищ по фронту, закаленный в стальных бурях войны, мы зываем к твоей совести! Ты нужен!».

1 сентября 1953 года нацистский полковник авиации Рудель заявил: «Первейшая задача германской политики — это создание нового великого германского рейха... Конфликт между Востоком и Западом может быть разрешен лишь военными средствами...»

Западногерманская газета «Ди Цайт»: «Антибольшевизм был выгодным делом при Гитлере, процветает он и сегодня. Здесь не произошло спада конъюнктуры».

В сентябре 1945 года американский сенатор Томас — председатель комиссии по военным делам американского сената — в журнале «Ридерс скоуп» опубликовал статью «Антибольшевизм — величайшая ложь». Там есть такие слова: «Американцы не должны забывать того страшного лозунга, во имя которого был создан Дахау и который содержал самую величайшую ложь, а именно, что все это делается для спасения мира от большевизма...»

Минуло сорок лет, и все повторяется с той же последовательностью. Ричард Пайпс, профессор русской истории Гарвардского университета, предостерегает соотечественников и союзников: «Существует высокая степень вероятности, что в случае общей войны Советский Союз намеревается использовать часть своего стратегического потенциала для нанесения сокрушительного упреждающего удара».

Уильям Фулбрайт, бывший председатель сенатской комиссии по иностранным делам, выступая в конгрессе США, сказал: «Бюджет Рейгана вместе с пропагандой, с которой он

преподносится общественности и конгрессу, создает впечатление, что центр тяжести нашей политики он переносит с концепции сдерживания на стремление отважиться на ядерную войну и выиграть ее. Этот оборонный бюджет столь велик, подчеркивание ядерного оружия столь сильно, а поток слов о советской угрозе столь обилён, что не может не сложиться впечатление, что мы готовимся начать и выиграть ядерную войну...»

Этот гигантский виток «борьбы за приоритеты», где главным и безоговорочным аргументом является тезис «Национальные интересы — превыше всего», начался с рождением нового века, с первой мировой войны, открыв трагическую страницу в истории человечества — страницу, которая ныне грозит стать последней.

...Когда в сентябре 1914 года в Берлине с ликованием провожали своих солдат «на Париж», а в Париже — «на Берлин», когда оказавшееся гибельным для миллионов людей чувство гипертрофированного национального энтузиазма бушевало на улицах европейских столиц, ни один самый прозорливый ум не предполагал, что это может стать не просто началом величайших бедствий на планете Земля, но началом ее пути к пропасти, что через полвека каждый из этих переполненных чувством национального подъема и национальных амбиций городов — и Париж, и Лондон, и Петербург, и Берлин — может быть уничтожен всего-навсего одной небольшого размера бомбой.

...«И спустя несколько дней после взрыва бомбы от развалин города продолжало исходить зловещее оранжевое свечение... Невозможно описать страшные крики медленно умирающих жертв... Невозможно передать страшное зловоние — исходящее не от трупов, но от заживо сгорающих...» — это воспоминание очевидца недавнего прошлого — гибели Хиросимы, это грозное предупреждение на будущее...

4. «ХОЧЕШЬ МИРА — ГОТОВЬ ВОЙНУ!»

«Si vis pacem — para bellum» — «Хочешь мира, готовь войну!» Именно по поводу этого латинского изречения Маркс заметил: «Из всех догм лицемерной политики наших дней ни одна не принесла больше несчастья, чем эта».

В 1887 году в беседе с де Курселем Бисмарк сказал: «Я стремлюсь к созданию опре-

деленного равновесия на море... Прежде много говорили о европейском равновесии — это лозунг XVIII столетия, но я думаю, что мысль о «равновесии на море» не является устаревшей. Я не желаю войны с Англией, но хотел бы дать понять ей, что флоты других наций уравнивают ее морские силы и, соединившись, могут заставить ее уважать их интересы...»

Равновесие сил... Главный стимул, главный «винтик» в запуске механизма «наращивания сил» — дабы сосед не обогнал, дабы не стал он более сильным.

Для защиты отечества. Для обороны...

Нация должна быть всегда готова к обороне. Ничто не должно застигнуть ее врасплох — ни морально, ни физически...

Одна из первых известных фотографий будущего английского короля Георга — мальчик стоит в группе сверстников с винтовкой в руках.

Есть такая же и в «семейной фототеке» его кузена Николая II.

А третий кузен — будущий кайзер Вильгельм II — был запечатлен в детстве довольно символично: симпатичный парнишка сидит в кораблике, на борту которого начертано: «Фортуна»...

В 1894 году мать Вильгельма II императрица Виктория писала своей матери, бабушке Вильгельма II, английской королеве Виктории: «У Вильгельма одна мысль — иметь флот, который был бы больше и сильнее Британского флота, но это поистине чистое сумасшествие и безумие, и он вскоре увидит, насколько это невозможно и ненужно».

Тирпиц: «Односторонняя сухопутная ориентация, которой мы придерживались веками, мешала нам понять до 1895 года, что английская политика «бэланс оф пауер» (баланс силы) на материке обернулась бы против нас, если бы мы одержали победу над «двойственным союзом».

Значит, не «чистое сумасшествие», а опять же «баланс силы»...

Тирпиц: «Мы стремились быть настолько сильными, что столкновение с нами было бы известным риском для английского флота, несмотря на его подавляющее превосходство. Это была бы оборонительная политика, соединенная с тактической волей к битве в оборонительной борьбе».

«Мы будем строить, если необходимо, по два военных корабля на один корабль, построенный в Германии... Радикалы и тори, что бы они ни говорили друг о друге, едины в этом во-

просе», — сказал Черчилль, будучи военно-морским министром Англии, о гонке строительства военных кораблей.

Тириц: «Когда условия борьбы станут для нас не безнадежными, Англия потеряет всякое желание напасть на нас... Тогда она согласится на такое увеличение нашего престижа на море, при котором наши справедливые заморские интересы не будут уже страдать... Подобное положение опасно, и сохранить его невозможно, если налицо не имеется внушительной морской силы, которая делает для конкурента весьма рискованной попытку посредством войны поразить насмерть преуспевающего».

Итак, это уже «равновесие сил» «с позиции силы»...

1 июля 1911 года немецкая канонерская лодка «Пантера» вошла в марокканский порт Агадир. Это была попытка «прощупать», насколько Англия готова «согласиться на увеличение немецкого престижа на море» — и еще продемонстрировать свои притязания на африканские земли... Ллойд-Джордж предостерег, что в случае вызова со стороны Германии она встретит Англию на стороне Франции. «Нашему престижу во всем мире был нанесен удар, да и общественное мнение Германии сочло это за поражение. Англия остановила Германию» — таков был общий приговор мировой прессы, — сетует Тириц. — С тех пор, как Бисмарк пришел к политическому руководству, это было первое тяжелое дипломатическое поражение, которое явилось для нас тем более чувствительным, что глиняное здание нашего тогдашнего мирового могущества покоилось не столько на силе, сколько на престиже...

Для государства, которое сознает, что благосостояние его граждан основывается не на рекламе, а на силе и престиже, в подобных положениях существует лишь одно средство предотвращения войны: оно должно показать, что не боится, и в то же время усилить свою оборону на случай новых серьезных осложнений, возможность которых становится все более вероятной. Мы должны были сделать то же, что делал в подобных случаях Бисмарк, а именно: внести новый закон о вооружениях, сохраняя полное спокойствие и избегая вызывающих выступлений».

В конце 1913 года Черчилль внес на рассмотрение правительства проект военно-морского бюджета, превышающего 50 миллионов фунтов стерлингов. После пятичасового разговора с глазу на глаз с Ллойд-Джорджем,

который был против, бюджет был одобрен в общем объеме 52 миллиона.

За это время — с 1899 по 1914 год — одна только верфь «Германия» в Киле, принадлежавшая Круппу, построила не менее 57 военных судов, а с 1914 года — по 1918 год — 171 подлодку.

Флот — это только часть общей программы гонки вооружений для «поддержания равновесия сил». То же самое происходило и с другими видами вооружения — пушками, цеппелинами, самолетами...

В сентябре 1911 года промышленный магнат Гуго Стиннес сказал председателю Пангерманского союза Генриху Классу: «Дайте еще три-четыре года спокойного развития, и Германия станет бесспорным хозяином Европы в области экономики. Три или четыре года мира — и я готов гарантировать вам господство Германии над Европой...»

Через три года наступил 1914-й...

«Дайте мне четыре года, и вы не узнаете Германию» — это любимое свое выражение Гитлер повторял не раз — на деловых совещаниях и рабочих митингах, в торжественных речах и частных беседах. Правда, расшифровка каждый раз была разной, зачастую диаметрально противоположной. Но об этом — потом...

Почему же каждый раз накануне большой войны возникала эта зловещая цифра — четыре года?

Черчилль расшифровал это «каббалистическое число», раскрывая механизм вооружения государства: «В первый год — почти ничего; во второй — очень мало; в третий — значительное количество; начиная с четвертого — столько, сколько нужно...»

Вот тайный смысл «магической четверки».

...В первом воззвании кабинета Гитлера «К германской нации» говорилось, что «национальное правительство... преисполнено сознанием важности задачи содействовать сохранению и укреплению мира, в котором человечество нуждается теперь больше, чем когда бы то ни было...»

Это — для пропагандистского камуфляжа.

В качестве руководства к действию — другое.

12 мая 1933 года вице-канцлер фон Папен, выступая в Мюнстере, заявил, что с 30 января 1933 года Германия «вычеркнула слово пацифизм из своего словаря».

14 октября 1933 года германское правительство заявило о выходе из Лиги наций, мотивируя это, выражаясь словами Гитлера, произнесенными им по радио, «миролюбием и чувством чести».

На Женевской конференции по разоружению незадолго до этого Германия требовала отмены ограничений на вооружение, предусмотренных Версальским миром, ссылаясь на то, что это нарушает «равновесие сил» в мире.

Агент Гитлера Курт Людеке в своей книге «Я знал Гитлера» вспоминает, что именно тогда Гитлер сказал ему: «Экономическая мощь версальских держав настолько велика, что я не могу стать по отношению к ним в оппозицию с самого начала... Мне придется играть в мяч с капитализмом и сдерживать версальские державы при помощи призрака большевизма, заставляя их верить, что Германия — последний оплот против красного потопа. Это единственный способ пережить критический период, разделаться с Версалем и снова вооружиться. Я могу говорить о мире, а подразумевать войну...»

И он говорил о мире.

Из речи Гитлера в рейхстаге 30 января 1939 года: «Народы в ближайшее время убедаются, что национал-социалистская Германия не желает вражды в отношениях с другими народами, что все утверждения об агрессивных намерениях нашего народа в отношении других народов представляют собой ложь...»

Это — «для широкого круга». Для «узкого круга» — другое.

Из памятной записки Гитлера по 4-летнему плану (август 1936 года): «Окончательное решение — в расширении жизненного пространства, иными словами, сырьевого и продовольственного базиса нашего народа. Задача политического руководства — однажды решить этот вопрос... В связи с этим я ставлю следующие задачи: 1. Германская армия должна быть через четыре года готовой к действиям. 2. Германская экономика должна быть через четыре года готовой к войне».

29 марта 1934 года был опубликован военный бюджет Германии на 1934-1935 годы. Это был последний обнародованный нацистами бюджет. Он предусматривал увеличение расходов на военный-воздушный флот, запрещенный Версальским договором, с 78 миллионов марок до 210 миллионов. Расходы на рейхсвер увеличивались с 344,9 до 574,5 миллионов марок.

Британское правительство в дипломатическом порядке обратило внимание германского

правительства на допускаемое им нарушение Версальского договора. Ответ был наглым. В нем говорилось, что Версальский договор ограничивает германское вооружение, а не германские расходы на вооружение...

Находились и «оправдания» для усиленного строительства кораблей, самолетов, пушек, танков. Так, 24 июня 1938 года все немецкие газеты на первых полосах огромным шрифтом напечатали следующее: «Красная чума над Берлином. Иностранцам самолетам неизвестного типа удалось скрыться, не будучи опознанными. Германия беззащитна. Завтра против нее могут быть применены газы или зажигательные бомбы...»

Расписывались и подробности: «Воздушная полиция была немедленно приведена в боевую готовность. Однако она не располагает соответствующими средствами, а спортивные самолеты, находившиеся на аэродромах, по своей скорости не могли равняться с иностранными самолетами, и последним удалось скрыться, не будучи опознанными».

Геббельс, взвизгивая первые, в своем «Информационном бюллетене» сетовал: «Даже птица имеет право защищать свое гнездо, когда оно подвергается нападению. Только Германия вынуждена беспомощно взирать на то, как выслеживают ее гнездо, которое может вскоре оказаться под угрозой уничтожения. Крылья Германии обрезаны, ее когти обломаны...»

«Ложь должна быть чудовищной, чтобы ей поверили» — эта формула Розенберга была руководящей для фабрикации подобных сенсаций.

И Германия спешно «отрачивала когти» и «обзаводилась крыльями»...

1 марта 1935 года в Германии уже имелась первая немецкая бомбардировочная эскадрилья. Страна покрывалась сетью аэроклубов, аэродромов, летных школ...

Усиливала свой «воздушный щит» и обеспокоенная Британия. Английский премьер-министр Болдуин в своей речи в Палате общин сказал: «С того времени, как авиация начала играть свою роль, старые границы более не существуют. Если вы помышляете об обороне Англии, то не думайте больше о меловых скалах Дувра: думайте о Рейне — там находятся наши границы».

13 марта 1935 года германское правительство заявило, что считает себя свободным от обязательств, запрещающих создание военной авиации. Через три дня, 16 марта, под ликующие комментарии прессы был опубликован

декрет о введении в Германии всеобщей воинской повинности. В тот же день военная мощь Германии была продемонстрирована на грандиозном военном параде, на котором присутствовал Гитлер.

До начала второй мировой — чуть больше четырех лет...

«Дайте мне четыре года», — говорил Гитлер. Он их получил.

Как было уже много раз в истории, говорили о мире — готовили войну.

21 марта того же 1935 года Гитлер выступил с изложением 13 пунктов «программы мира», предложив соседним странам пакты о ненападении, а великим державам — «моральное разоружение». Незадолго до этого он отдал приказ о сборке 12 подводных лодок водоизмещением по 250 тонн, запрещенных Версальским договором.

Гebbельсовская кинохроника любовно и подробно показывала стада танков, стаи самолетов и подлодок...

«Наш флот — это гарантия мира на земле!» — торжественно вещал диктор киножурнала «Дойче вохеншау».

«Мой фюрер, вы — гарант мира!» — захлебываясь, выкрикивал Гесс на Нюрнбергском партайтаге.

До второй мировой было уже менее трех лет...

«Через десять лет вы не узнаете Берлин!» — обещал Гитлер в тридцать пятом.

В сорок пятом Берлин лежал в развалинах...

Вторая мировая окончилась, как обычно, разделением интересов бывших союзников. Но она окончилась и не как обычно — рождением качественно нового оружия, которым обладал только один из победителей. И не просто обладал, но и самым серьезным образом намеревался применить его против вчерашнего союзника.

Бывший сотрудник военного ведомства Соединенных Штатов в интервью журналу «Инкуаири» вспоминает: «Наша военная стратегия со времени дебюта атомного оружия в 1945 году основана на возможном применении ядерного оружия первыми в поддержку или в дополнение к какой бы то ни было ядерной или неядерной обороне или интервенции, которую мы можем предпринять».

Производство атомной бомбы сразу же было поставлено «на поток», хотя у Соединенных Штатов еще не было официальной военной

доктрины — между собой ее формулировали как «ядерный заслон», «ядерный приоритет».

Командующий ВВС США генерал Арнольд в своей книге «Глобальная миссия» рассказал о разговоре, который состоялся у него во время Потсдама с маршалом ВВС Великобритании Порталом: «Мы оба были убеждены, что нашим следующим врагом будет Россия, и из нашей беседы возникло общее направление мышления. Русские хорошо разбираются в сухопутной военной мощи, и они уверены, что их армия — самая лучшая в мире. Они не боятся военно-морского флота, ибо знают, что никакой флот не сможет приблизиться к ним на такое расстояние, чтобы причинить ущерб. Но одной вещью, которой они опасаются и которой не понимают, является стратегическая воздушная мощь — бомбардировщики дальнего радиуса действия... Завтра, однако, положение вещей может стать иным. Для успешного использования нашей стратегической мощи мы должны иметь базы, расположенные по всему миру таким образом, чтобы с них можно было поражать любую цель, которую нам укажут».

Американский военный обозреватель Р. Тагуэлл: «Цель — зажать коммунистический мир в крокодиловой пасти разветвленной цепи баз, снабженных межконтинентальными бомбардировщиками, а позднее — ракетами, способными доставить атомные бомбы в любое место Советского Союза».

Территория же США во все времена была надежно прикрыта океанами. В ходе второй мировой войны число жертв среди гражданского населения составило шесть человек, случайно убитых от взрыва японской бомбы. И в первые послевоенные годы «монополия американской неуязвимости» казалась непоколебимой. В 1951 году начальник штаба ВМС США генерал Шерман говорил с уверенностью: «Одна из основных концепций нашей современной стратегии состоит в том, чтобы вести войну как можно дальше от Соединенных Штатов».

Генри Киссинджер: «Традиционная неуязвимость Соединенных Штатов приучила наше общественное мнение смотреть на войну скорее с точки зрения того ущерба, который мы можем причинить, чем с точки зрения потерь, которые мы можем понести».

Актом о национальной безопасности было создано министерство обороны США, объединившее существовавшие ранее департаменты армии и флота, а также вновь созданное министерство ВВС. Первым министром обороны стал Дж. Форрестол.

18 сентября 1947 года над Пентагоном вместо флагов военного и военно-морского ведомств был поднят национальный флаг США. К эмблемам армии и флота на фронто-не здания была добавлена эмблема авиации. Это было серьезное и весьма не формальное дополнение.

Д. Элсберг, американский журналист-международник: «Вспомните, что наша стратегическая авиация была создана сразу же после второй мировой войны для атомной бомбардировки «в случае необходимости» России. А ведь в тот период наши военные, равно как и президент Трумэн, считали, что Советский Союз не развернет какое бы то ни было ядерное оружие раньше, чем через 10 лет, а то и больше.

Единственная миссия стратегической авиации в течение этого начального периода заключалась в том, чтобы угрожать «первым ударом» или нанести его, а вовсе не в том, чтобы сдерживать ядерный удар по Соединенным Штатам или где бы то ни было еще и ответить на него после того, как он нанесен».

Летом 1948 года стратегическая авиация США получила возможность разместить свои бомбардировщики в Великобритании. Сюда прибыли 60 машин «В-29» и 1500 человек американского военного персонала. Через год, уже после подписания пакта НАТО, США приступили к созданию новых баз на чужих территориях.

США ранее никогда и ни с кем не вступали в военные союзы. Гарри Трумэн сломал эту традицию. 4 апреля 1949 года в Вашингтоне был подписан пакт НАТО.

Шарль де Голль: «Под прикрытием НАТО в Западной Европе был установлен американский протекторат».

Генри Киссинджер: «Даже на наши военные союзы мы смотрели главным образом с точки зрения возможности приобретения за их счет необходимых нам авиационных баз».

К концу 1949 года у США было 840 стратегических бомбардировщиков в строю, 1350 — в резерве и свыше 300 атомных бомб. Только с баз на Британских островах можно было достичь Москвы, Ленинграда и других городов СССР. Для целей планирования назначалась дата начала войны: 1 января 1950 года...

7 апреля 1950 года специальная группа работников госдепа и министерства обороны под руководством П. Нитце, сменившего Дж. Кеннана на посту начальника отдела планирования госдепартамента, представила Г. Трумэну документ более чем на 70 страницах, ставший

по утверждению его президентом «директивой № 68» Совета национальной безопасности — «СНБ-68», — пролог к перевооружению. В ней говорилось: «Нужно наращивать военную мощь США и их союзников до такого уровня, когда эта объединенная мощь будет превосходить как в начале, так и в течение войны силы, которые могут выставить СССР и его сателлиты. Представляется повелительно необходимым, чтобы при увеличении нашей мощи мы опирались на техническое превосходство...»

С 1951 по 1954 год произошло увеличение американских ВВС более чем в два раза.

К середине пятидесятых годов США обладали тысячами бомбардировщиков среднего и дальнего радиусов действия, размещенными в США и на двухстах американских базах, расположенных по периметру СССР.

Когда после восьми лет мира президентом США стал генерал Дуайт Эйзенхауэр, главная роль в возможной войне отводилась авиации.

Джон Фостер Даллес, государственный секретарь нового президента Дуайта Эйзенхауэра, сформулировал доктрину «массированного возмездия». Средства — в основном стратегическая авиация с термоядерным оружием на борту, базирующаяся на базах по всему периметру обороны СССР. «В-52» и «В-58» — главные «kozyри в колоде». 60 процентов военного бюджета расходуется на военную авиацию.

Концепция «массированного возмездия» стала официальной военно-политической доктриной США после выступления госсекретаря Джона Фостера Даллеса перед Советом по международным отношениям в Нью-Йорке 12 апреля 1954 года.

Это была ставка на первый удар по СССР,

Американские журналисты Д. Пирсон и Д. Андерсон в книге «США — второразрядная держава?»: «1 мая 1954 года американский военный атташе стоял на Красной площади, наблюдая обычную майскую демонстрацию русской военной мощи. Реактивный гигант прогремел над крышами домов Москвы на высоте всего лишь 250 футов. Этот бомбардировщик был столь громаден, что его тень буквально покрыла Красную площадь. Американские наблюдатели быстро заметили, что его четыре двигателя были, по-видимому, больше, чем те, которые они видели у себя дома, и что этот тяжелый самолет легко шел в строю

с эскадрилей скоростных реактивных истребителей»...

1 февраля 1956 года сенатор Джексон, выступая в сенате, заявил, что русские производят самолеты значительно быстрее, чем США. «Бизон» — советский «двойник» «В-52» — был создан за четыре года, тогда как для строительства «В-52» потребовалось шесть лет. При этом темпы производства «В-52» составляли 12 машин в месяц, а «Бизона» — 25 машин в месяц.

...Уинстон Черчилль стоял рядом с улыбающимся Гарри Трумэном на веранде своей резиденции в Фултоне в марте 1946-го и поднимал перед камерой руку со своим традиционным символом — образованной двумя пальцами буквой «V» — «виктори». У английского слова «виктори» («победа») первая буква «V» — та же, что и первая буква немецкого слова «фергельтунгсваффе» — «оружие возмездия», сокращенно — «Фау». «Фау-1» и «Фау-2» были последней ставкой Гитлера во второй мировой. Из 4000 ракет, выпущенных подручными Вернера фон Брауна, 1115 достигли Великобритании, неся смерть и разрушение, из них 60 — в первую неделю января 1945 года.

Ко времени фултонского визита Черчилля Вернер фон Браун уже несколько месяцев работал в США, куда была доставлена техника и документация из Пенемюнде — ракетного центра рейха.

Победители «позаимствовали» не только изобретение, но и сам термин, вошедший в название американской доктрины «массированного возмездия», — сплав идей основоположника теории и практики стратегических бомбардировок (массированных бомбардировок) итальянского фашиста генерала Джулио Дуэ и Германа Геринга.

Генерал Тофтой, начальник войск управляемых снарядов американской армии: «Немецкая ракета «Фау-2» сэкономила американской военной технике (ведь когда эти ракеты были доставлены из Германии, мы еще были в этом деле просто пригоговишками) 50 миллионов долларов и пять лет, которые ушли бы на исследовательскую работу».

Сразу после второй мировой войны начинается работа над ракетной техникой — на базе немецкого опыта. Создаются первые крылатые ракеты, способные нести ядерный заряд. В начале пятидесятых годов начался интенсивный подъем ракетостроения. Был создан и принят на вооружение ряд управляемых само-

летов-снарядов, способных нести ядерное оружие, — «Снарк», «Матадор», «Регулус».

В 1954 году Пентагон заключает ряд контрактов на межконтинентальную баллистическую ракету «Полярис».

В 1956 г. появляются программы «Титан» и «Тор».

В 1957 г. начато создание трехступенчатой ракеты «Минитмен».

В окружении американских баз, разбросанных по всему земному шару, СССР оказался в крайне уязвимом положении — проблема создания надежного ракетно-ядерного щита становилась первой жизненной необходимостью.

17 августа 1957 года совершила полет советская межконтинентальная ракета, способная нести заряд к любой цели земного шара...

4 октября 1957 года — запуск первого в истории искусственного спутника Земли.

Лиддл-Гарт: «26 августа 1957 года русские объявили: «На днях осуществлен запуск сверхдальней межконтинентальной многоступенчатой ракеты... Пройдя в короткое время огромное расстояние, ракета попала в заданный район. Полученные результаты показывают, что имеется возможность пуска ракет в любой район земного шара».

Эффект сообщения усиливался еще тем, что оно было опубликовано вскоре после первого, закончившегося провалом экспериментального запуска американской межконтинентальной ракеты «Атлас» с дальностью в 8000 километров...

...Когда русские в августе 1957 года объявили, что они успешно запустили межконтинентальную баллистическую ракету и способны «направить ракеты в любой район земного шара», в ряде стран, и особенно в Америке, усомнились в правдивости этих заявлений. Первой реакцией некоторых кругов на успешный запуск спутника была попытка принизить его значение. Начальник штаба американских ВМС презрительно назвал спутник «куском железа, который всякий может запустить». Даже после запуска второго, более крупного спутника, фельдмаршал Монгмери, как сообщают, заявил в интервью: «Не бойтесь спутника. Я утверждаю, что спутники не дают России никаких стратегических или военных преимуществ...»

Затем, 2 января 1959 года, русские успешно произвели запуск ракеты в сторону Луны. Лунник как огромное научное достижение, мирное само по себе, был еще большим триумфом русской науки, чем первый спутник, запу-

щенный за 15 месяцев до этого. Это достижение особенно резко выделялось на фоне первоначальных неудачных попыток американцев запустить спутники земли и ракеты на Луну...

Вновь и вновь русские доказали миру, что они достигли нового этапа в развитии науки и техники на несколько лет раньше, чем ожидалось.

Успешный запуск ракеты в сторону Луны поколебал веру в превосходящую мощь американского оружия...

Американский историк профессор В. Вильямс: «Будущие историки должны будут заключить, что «тотальная дипломатия» холодной войны оказалась бумерангом. Соединенные Штаты через десятилетие с небольшим обнаружили, что столкнулись с действительностью, которая являла собой почти полную противоположность тому миру, который, как они самонадеянно ожидали, возникнет в результате их программы и политики».

Американский военный обозреватель Хэнсон Болдуин: «Мощь и скорость современного оружия уничтожили навсегда географическую неуязвимость Америки».

Д-р Рэби, физик из Колумбийского университета: «Соединенные Штаты должны немедленно пересмотреть свою внешнеполитическую стратегию. В случае войны противники СССР будут уничтожены новым мощным оружием, точность попадания которого колеблется лишь в пределах процента. Америке необходимо вплотную заняться решением проблемы мирного сосуществования на этой планете или она погибнет».

Лидл-Гарт: «На обеде, который был дан в Лондоне в 1957 году в честь генерала Норстэда, нового верховного главнокомандующего войсками союзников в Европе, премьер-министр Англии Макмиллан ясно сформулировал весьма важный вывод: «Не будем питать иллюзий. Вооруженные силы в наше время предназначены не для того, чтобы вести войну, их задача — предотвратить ее. Теперь не будет таких кампаний, как в прошлом, когда длительная борьба примерно равных по силе сторон заканчивалась победой одной из них. Тотальная война в наши дни может означать лишь тотальное уничтожение».

А в 1957 году Киссинджер писал: «Впервые в истории США мы сталкиваемся с перспективой «тупика»... Этот тупик выражается не столько в равенстве мощи, сколько в одинаковой для обеих сторон опасности ее изменения».

Эйзенхауэр заключил: «У нас нет другого выбора, кроме мира».

Дуайт Эйзенхауэр после четырех лет пребывания на посту президента США на пресс-конференции в 1957 году сказал: «Я не знаю в наше время никакой другой проблемы, которая требовала бы от нас большего оптимизма, чем проблема разоружения... Альтернатива здесь настолько ужасна, что остается сказать только одно: любой риск, на который мы идем, стараясь продвинуться вперед в решении этого вопроса, ничто в сравнении с ничегонеделанием, бездействием...»

Несколько раньше Эйзенхауэр говорил: «Война в наше время стала анахронизмом. Каково бы ни было ее значение в прошлом, в будущем она не может послужить никакой полезной цели».

Голос Эйзенхауэра потонул в хоре голосов, кричавших о «русской угрозе».

27 ноября 1957 года министр обороны Макэлрой объявил в сенате о решении начать параллельное производство баллистических ракет «Тор» и «Юпитер».

В декабре 1957 г. на сессии НАТО было принято решение о размещении на территории Западной Европы американских ракетных установок.

Первое соглашение было подписано в 1958 г. с Великобританией — о размещении бомбардировщиков «В-52»...

К. Клиффорд, советник Г. Трумэна и один из авторов «Доктрины Трумэна»: «Мир изменился, но наше мышление не изменилось в той степени, в какой это по крайней мере должно было произойти...»

Разбираясь сегодня в причинах паники, охватившей прессу и политические круги США, нельзя не прийти к убеждению, что оплакивался лишь рухнувший научно-технический и военный приоритет США, а отнюдь не некое катастрофическое отставание. Вспомним, что первый американский искусственный спутник «Эксплорер-1» стартовал 31 января 1958 года, то есть менее чем через четыре месяца после старта советского спутника.

Вскоре, в 1960 г., на боевое патрулирование в океан вышли первые две атомные подлодки с «Поларисами» на борту.

В 1961 г. спущены еще три.

В 1961 году Макнамара в кабинете Кеннеди сказал: «Мы имеем ядерную мощь, в несколько раз превышающую мощь Советского Союза».

С начала 60-х годов в США началась работа над многозарядными (разделяющимися) головными частями для стратегических ракет.

С 1964 г. такие головные части стали поступать на вооружение.

18 сентября 1967 года Роберт Макнамара официально объявил о решении развернуть общенациональную систему противоракетной обороны США.

В 1968 году профессор Гарвардского университета Генри Киссинджер принял участие в выпуске сборника «Повестка дня для нации». Вот выдержки из него: «В грядущие годы самый серьезный вызов американской политике будет носить философский характер: разработать какую-то концепцию международного порядка в мире, являющемся биполярным в военном отношении и многополярным политически... Проблема состоит в том, что не может быть стабильности без равновесия, но равновесие не является целью, которая удовлетворяет нас в испытаниях нынешнего мира. Осознание миссии совершенно очевидно является наследием американской истории...»

Итак, «миссия» требует силы...

«Крисчен сайенс монитор»: «Каждый раз, когда предстоит принять новый военный бюджет, в Вашингтоне поговаривают о новых советских скачках вперед. Но затем эти разговоры затихают».

Так, в 50-х годах утверждалось, что существует «разрыв в бомбардировщиках», и таким образом добились одобрения «общественностью» производства «В-47» и «В-52». Еще до того, как «разрыв в бомбардировщиках» сошел на нет, появился «разрыв в ракетах».

Избирательная кампания 1960 года в США проходила под знаком «отставания» США в военно-технической области и в силу этого — роста советской угрозы...

Из официальной истории ЦРУ, представленной в 1976 году сенатскому комитету Ф. Черча: «То был вопрос, вызвавший яростные споры во время кампании по выборам президента в 1960 году. Демократы, возглавляемые бывшим министром ВВС, теперь сенатором Сайрусом Саймингтоном обвиняли администрацию Эйзенхауэра в том, что она позволила СССР обогнать США по количеству ракет и бомбардировщиков. Данные, полученные в результате фоторазведки ЦРУ, показывали, что эти обвинения необоснованы...»

Президентом стал Джон Кеннеди.

Американский историк Д. Халберштам: «В министерстве обороны Макнамара действовал активно, обязавшись ликвидировать не существующее в действительности отставание в области ракет. Все его помыслы, связанные с вступлением на пост министра обороны,

сводились к усиленной гонке вооружений. В начале 1961 года некоторые советники Белого дома, такие как эксперт по науке Д. Визнер и К. Клаузен из Национального Совета безопасности, высказывались за замедление гонки вооружений или по крайней мере были за проведение переговоров с СССР. В то время США располагали 450 баллистическими ракетами. Макнамара требовал увеличить их число до 950, а Комитет начальников штабов — до 3000. Работники Белого дома без шума провели проверку и выяснили, что по военной эффективности эти 450 ракет равны 950, запрашиваемым Макнамарой. Итак, был редкий момент, существовал шанс по-новому подойти к гонке вооружений и если не обратить ее вспять, то хотя бы временно заморозить ее. «Ты как, Боб?» — осведомился Кеннеди. «Они правы», — ответил Макнамара. «Тогда зачем нам нужны 950 ракет?» — спросил Кеннеди. «Это наименьшее число, с которым мы можем появиться в Капитолии без риска быть «прибитыми», — ответил он...»

Стратегия «гибкого реагирования», ставшая официальной доктриной при Дж. Кеннеди, также предусматривала всеобщую ядерную войну, но допускала «дозированное применение» ядерных сил соразмерно с «масштабами военной опасности» и возможность ведения ограниченной войны обычными средствами. Основным оружием «большой войны» становились межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками.

За 3000 дней президента Эйзенхауэра на военные цели было истрачено 315 миллионов долларов.

За 1000 дней президента Кеннеди — 167 миллионов.

В 1960 году вступает в строй первая американская атомная подводная лодка с баллистическими ракетами. Первая из 41 по программе «Поларис».

СССР приступает к созданию своего атомного подводного флота через четыре года.

Первый советский атомный ракетносец вступает в строй в 1967 году.

8 мая 1960 года в газете «Стар» были опубликованы три статьи Ричарда Фрайкленда под общим заголовком «Стратегия борьбы за дальнейшее существование». Вот выдержки из них: «Нынешняя политика (Пентагона — Авт.) предусматривает создание ракетных и бомбардировочных сил, которые могли бы сбросить ядерную боеголовку на каждый важный объект советской противовоздушной обороны, на каждый аэродром, ракетную площадку, военный

завод, коммуникационный центр — на все то, из чего складывается советская военная угроза свободному миру...

ВВС считают, что когда война действительно начнется, Соединенные Штаты разобьют Россию наголову».

А что же СССР?

Выступая в Чикагском университете 12 мая 1960 года, Эдлай Стивенсон сказал: «Мы делаем упор на военное сдерживание, и на протяжении многих лет создавалось впечатление, что мы не хотим вести переговоры с русскими ни для того, чтобы проверить их намерения, ни для того, чтобы дать отпор их запугиваниям... А они тем временем односторонне прекратили ядерные испытания, односторонне сократили свою армию, предложили провести переговоры в верхах на счет ослабления напряженности и устранения угрозы войны, предложили всеобщее разоружение. Какими бы мотивами они ни руководствовались — циничными или искренними, — они постоянно проявляли инициативу. Они откликнулись на призыв сохранить мир, тогда как мы виляли и колебались, а затем в конце концов уступили».

Уолтер Мондейл, бывший вице-президент США: «С самого начала появления ядерного оружия США возглавляли гонку вооружений».

Чарльз Йост, бывший американский представитель в ООН: «Именно Соединенные Штаты вводили большинство новых систем стратегического оружия».

К началу 70-х годов, когда количественное соотношение стратегического вооружения США и СССР достигло паритета, родилась новая стратегическая концепция США — концепция «реалистического устрешения» («реалистического сдерживания»).

Лидл-Гарт: «Ядерный паритет ведет к ядерному бессилию, потому что самоубийственный обратный эффект применения ядерного оружия порождает стратегическое бесплодие. Кроме того, паритет в этой области означает не равенство в количестве бомб и средств их доставки, а способность обеих сторон доставить к цели минимальное количество бомб, достаточное для уничтожения главных источников силы другой страны, столицы и крупных промышленных центров. Слово «pariti» (паритет), как будто в насмешку, имеет второе значение — «способность к деторождению». В самом деле, породив атомную бомбу, Америка приобрела временное стратегическое преимуще-

ство, но в конечном счете утратила свою мощь».

Сайрус Вэнс: «Не следует питать никаких иллюзий на тот счет, что мы можем вернуться к той, ранней, эре. Ни одна сторона не позволит другой стороне заполучить стратегическое преимущество, которым можно было бы воспользоваться... Вот почему принципиальное равенство стало единственной реалистической стратегией в современном ядерном мире...»

Дж. Шлезинджер, шеф Пентагона, в середине семидесятых годов выдвинул концепцию «ограниченной стратегической войны», сформулированную таким образом: «Если одна из сторон сумеет найти путь для ликвидации способности другой к ответу, она получит возможность оказывать давление на противника и добиваться уступок, не навлекая всеобщую катастрофу».

Иными словами, требовалось приобрести возможность нанесения опережающего удара по всем или решающим целям противника, уничтожив одновременно и баллистические ракеты в шахтах, и подлодки в океане, и стратегические бомбардировщики.

Так возникла идея мобильного базирования ракет «МХ», крылатых ракет, подлодок «Трайдент» как оружия возможного «первого удара».

Корреспондент Ассошиэтед Пресс из Вашингтона 9 августа 1981 года: «По сведениям из осведомленных источников в Пентагоне, органы, планирующие затраты на оборону, подготовили проект 5-летней программы, предусматривающей беспрецедентно высокие военные расходы — более 1,6 триллиона долларов с 1983 по 1987 финансовый год».

Вспомним — Уильям Фулбрайт: «Бюджет Рейгана вместе с пропагандой, с которой он преподносится общественности и конгрессу, создает впечатление, что центр тяжести нашей политики он переносит с концепции сдерживания на стремление отважиться на ядерную войну и выиграть ее. Этот оборонный бюджет столь велик, подчеркивание ядерного оружия столь сильно, а поток слов о советской угрозе столь обилен, что не может не сложиться впечатление, что мы готовимся начать и выиграть ядерную войну».

Уолтер Клеменс, профессор государственного права в Бостонском университете, «Крисчен Сайенс Монитор», 1981 г.: «Будут ли русские сидеть сложа руки, если мы пойдем навстречу желаниям президента, — построим еще более мощные ракеты и бомбардировщики, развернем тысячи крылатых ракет на суше, на море

и в воздухе, активизируем программы гражданской обороны, оснастим ракеты подводных лодок еще большим числом боеголовок — быть может, выйдя за лимиты, предусмотренные соглашениями об ОСВ-1 и ОСВ-2... Нет, русские двинутся тем же путем, превращая тепешние тревоги Америки в неоступный кошмар...»

Сенатор Эдвард Кеннеди: «Я думаю, что многие в Соединенных Штатах и, надеюсь, в Советском Союзе сознают опасность эскалации ядерной гонки вооружений. Есть ли кто-нибудь, кто, наблюдая за отношениями в области ядерных вооружений между США и СССР в последние 20 лет, был бы уверен, что мы сможем создать ракеты «МХ», бомбардировщик «В-1», новую ракету «Трайидент», бомбардировщик «Стеллс», и русские оставят все это без ответа? Конечно, они ответят».

Итак, в начале 80-х годов США приступили к разработке стратегии «прямого противоборства» в глобальном и региональном масштабах. Цель — по заявлению К. Уайнбергера — «достижение полного и неоспоримого военного превосходства, восстановление лидирующей роли США в мире.» Практически — это «завершение круга» — возврат к стратегии «маскированного возмездия».

Круг замкнулся, но на более высоком и более опасном для человечества уровне.

Академик М. Марков: «Гонка вооружений стала бессмысленной в результате действия в существующих условиях специфического закона, который условно можно назвать термодинамикой гонки вооружений. Материальные и технические возможности противостоящих сторон сейчас таковы, что малейшее неравенство в вооруженности сторон исчезает так же быстро, как сравниваются температуры двух различно нагретых соприкасающихся тел».

Но сомнительная идея возможности «первого удара» не оставляет руководство Соединенных Штатов.

Гонка оружия грозит перекинуться в космос...

Журнал «Бизнес уик»: «Тот, кто сумеет захватить контроль над космосом — этой главной ареной будущих войн, — сможет решающим образом изменить соотношение сил, и это будет равносильно установлению мирового господства».

5. ОСТАВЬ НАДЕЖДУ ВСЯК СЮДА ВХОДЯЩИЙ

В начале пятидесятых годов, в теплый летний день, произошла торжественная церемо-

ния «открытия города атомной бомбы» — Окриджа. Операторы запечатлели нетерпеливую толпу перед ленточкой, протянутой через дорогу, открывающуюся в Окридж, мальчишек, толпящихся впереди взрослых, оседлавших крыши и деревья, торжественный момент открытия — когда ленточка не перерезалась традиционно, а каким-то хитрым образом была перебита вспышкой минивзрывов посерединке — там, где надлежало ее перерезать. Возбужденная толпа хлынула на открывшуюся дорогу, запрудила ее и близлежащие поляны, наблюдая за торжественной церемонией парада — сначала знамена, потом платформы с очаровательными девушками и всякими символическими «живыми картинками». «Гвоздем» этой праздничной кавалькады была белая платформа с семью девушками в белом, над которыми вздымался белый же земной шар из папье-маше, а над земным шаром — белая птица, тоже из папье-маше. И белая надпись на борту платформы: «Окридж». Все вместе, наверное, должно было символизировать, что Окридж является оплотом мира, а бомба, производящаяся здесь, — надежной защитой мира.

Затем горожанам очень долго демонстрировали физический «аналог» ядерной реакции, который, на движении шариков должен был объяснить принцип ядерного деления, достижения «мирного» атома — когда механические руки покрасили очаровательной девушке губы жажтой в железных пальцах губной помадой...

Потом две не менее очаровательные девушки, очень походившие на стюардесс международной авиакомпании, раскрыли перед праздничной толпой створки дверей, за которыми находился макет строения — над землей и под землей. Надпись на макете гласила: «Первый подземный противоядерный госпиталь». И в подземной части детально воспроизводились все необходимые «службы» этого первого «бункера выживания», который оказался необходимым дополнением к «надежной защите мира» — атомной бомбе, производившейся в Окридже.

Потом над США и странами Европы начали завывать сирены учебной тревоги. Проводились «учебные эвакуации», когда целые районы такого, например, города, как Стокгольм, вывозились далеко за город, и люди, еще не осознавшие, что все это значит, воспринимали происходящее как развлечение, как своего рода пикник и вели себя соответственно — как на пикнике. Производились эвакуации геншта-

бов и правительств, но уже не просто за город, а в специально оборудованные бункеры. Если тревога заставала на улице — надо было прятаться, если дома — надо было бросаться на пол, прятаясь под столом или кроватью, в школе — забираться под парты...

Известная американская актриса, обладательница премии Оскар Мэрил Стрип вспоминает: «Нас учили, что если мы успеем забиться под кровать, под парту, ничком броситься на землю, прижаться к стене, то выживем. Какой вздор! В атомном пожаре не выживает никто!».

Разве это было непонятно организаторам массовых учений «по противоатомной защите»? Конечно, понятно. Но надо было, чтобы люди поверили, что атомная война неизбежна — это первое, и что её можно «пересидеть» — это второе.

Началось массовое строительство «бункеров выживания». Сначала их строили примитивно — выкапывая и складывая из кирпичей убежища, подобные тем, что строились в Европе во время второй мировой. Это было так же наивно, как и устройство массовых «пикников» за городом. Тогда за дело взялись профессионалы — строительные фирмы. Уже тогда они предлагали бункеры на любой вкус и любой карман, на любое количество народа и любой срок «тревоги».

Вуппертальская фирма «Драуде и Эдисон» и ее кассельский двойник компания «Универсаль» в ФРГ рекламируют свои бункеры: «Полная безопасность от радиоактивных, а также химических и бактериологических осадков». Предлагается также «нейтронный колокол» — защита от нейтронной бомбы. В «выживалке» — набор продовольствия, воды, бланков всевозможных документов... Однако в проспекте не рекомендуется «рассчитывать на помощь извне». Как долго? А никогда... Никакой помощи не будет — этого реклама не скрывает.

Французские фирмы называют свои «выживалки» весьма двусмысленно — «Рай».

Американцы, впервые почувствовав, что их континент более не неуязвим, лихорадочно закапываются в землю... За один только год оборот калифорнийской фирмы «Сервайвл» («Выживание») вырос в четыре раза. Об одном из своих клиентов глава фирмы Билл Пьер говорит: «Он построил в горах бетонный бункер и заявляет, что теперь оттуда его могут выкурить только русские танки...»

То же самое думал, очевидно, и полковник Дэвид Хэжворс — «герой» Вьетнама, увенчан-

ный двадцатью двумя наградами и восемью полученными в боях ранениями, бежавший в один прекрасный день в Австралию, где забаррикадировался в глубоком каньоне в Новом Южном Уэльсе — в самой глубинке страны. Он не только загрузил выдолбленное в камне просторное убежище запасами на десятилетия, но и перегородил дамбой ручей, собрав 63 миллиона литров воды. В его гигантскую «выживалку» с годами набилось еще 400 человек со всего света, а сам он стал всемирно известным «экспертом по выживанию», к которому обращаются тысячи напуганных на всех континентах...

Но «эксперт» оказался несостоятельным.

«Меня сводит с ума все, что сейчас происходит», — сказал он репортеру мельбурнской газеты «Эйджи» несколько лет назад. — То, что я с таким трудом придумал и создал, премьер-министр и его команда угрожают уничтожить своим соглашением о бомбардировщике «В-52» и вообще своим раболепством перед США...»

Австралия перестала быть безопасной. Полковнику пришлось обдумывать новые планы переселения в безопасные места. Но есть ли они еще на земле?

До подписания директивы № 59 о возможности использования Соединенными Штатами «ограниченной» ядерной войны президент Картер подписал директиву № 58, гарантировавшую спасение президенту и его окружению. «Хотя детали держатся в секрете», — писала газета «Нью-Йорк таймс», — известно, что несколько таких подземных бункеров, снабженных продовольствием и другими запасами, находятся вокруг Вашингтона. Один из них — «Маунт Уэзер» находится в 50 милях к западу от столицы.

Согласно директиве, предписывавшей «обеспечение большей вероятности выживания членов американского правительства в случае крупной войны с Советским Союзом», проводились и «Мартовские игры» Пентагона 1982 года по отработке эвакуации президента США в случае ядерного конфликта... Куда? Как? Возможно, это осталось бы государственным секретом, если бы не вездесущий «случай».

Когда 1 декабря 1974 года на Вашингтон обрушился шквал штормового ветра и ливневый дождь резко снизил видимость, пассажирский самолет авиакомпании «Транс Уорлд Эйрлайнз», садившийся в аэропорту имени Даллеса близ Вашингтона, потерял ориентацию и врезался в гору Маунт Уэзер. Была

перерезана сеть высоковольтной линии, питавшей электричеством «подземный Белый дом». «Президентская выживалка» вынуждена была перейти на автономное обеспечение, включив моторы собственной электростанции.

Так «господин случай» сделал достоянием гласности наличие в 50 милях от Вашингтона и в 7,5 милях от городка Берривилля колоссальной «президентской выживалки» — целого подземного города, защищенного горами, укрепленного бетоном, — со своими «стритами» и «авеню», складами и доходящими до трех этажей зданиями. Водой «президентская выживалка» обеспечивается из «собственного подземного озера таких размеров, что на нем можно кататься на водных лыжах», — как писал журнал «Пэрийд».

Совсем как у полковника Хэворса. С той только разницей, что полковник «дошел» до этого в конце шестидесятых годов, а «президентскую выживалку» стали строить в начале пятидесятых, в ту пору, когда детей учили прятаться под парты...

Впрочем, «Маунт Уэзер» — не уникальное сооружение. Подобный же подземный командный пункт есть в горах Равен Рок Маунтин в штате Пенсильвания, а может быть, и еще где-то, куда не успел врезаться потерявший ориентацию самолет... А сколько еще подземных городов построено военными на всех континентах земли — ракетчиками, летчиками, службами ПВО? Мы даже не представляем себе, насколько человек все более и более приближается к своему весьма отдаленному родственнику — кроту...

3 декабря 1981 года президент США принял и одобрил новую программу «выживания нации», которая предполагает за 4,2 миллиарда долларов обеспечить «выживание» — эвакуацию и последующее «укрытие» жителей из 380 «районов высокого риска», включая жителей 319 городов и соседей 61 военного объекта. Программа предполагает, что президент будет знать за неделю о возможной угрозе, а места выселения остаются тайной властей штата.

...Итак, впервые с 1956 года руководство Белого дома в строжайшей тайне провело учения по отработке эвакуации на случай ядерного удара. Учения эти были названы «Айви лиг» и проводились в присутствии президента и его аппарата.

Подобные учения проводились и накануне второй мировой. Правда, масштабы были поскромнее. Масштабы учений, но не масштабы бункеров. Достаточно вспомнить линию Ма-

жино, за которой надеялись укрыть Францию ее тогдашние руководители. Достаточно вспомнить гигантские подземные заводы Франции, Германии... Достаточно вспомнить подземные города, опоясавшие Берлин в системе его бункерной — подземной обороны... Достаточно вспомнить Вольфшанце — на пять этажей ушедшую в скальные породы Восточной Пруссии «выживалку» Гитлера. Достаточно вспомнить его последнее прибежище — бункер имперской канцелярии...

Не спасла линия Мажино Францию.

Не спасли многочисленные кротовые «штраसे» бункерной системы столицы фашистскую Германию.

Не спасли ни Вольфшанце, ни бункер имперской канцелярии своего хозяина.

Над системой бункерных коммуникаций Берлина — на земле, ставшей полем боя, царил ад. Но из этих бункеров хотя бы можно было выползти после конца того, что обитателям их казалось светопреставлением...

И именно из бункеров, со всей их системой снабжения и обеспечения, были извлечены обгоревшие трупы Геббельса и его семьи, а еще ранее — трупы Гитлера и Евы Браун.

Им тогда, перед самоубийством, это тоже казалось светопреставлением...

Таков закон причин и следствий — жестокий и неумолимый.

Но на сегодняшний день он обрел и качественно новые черты.

После того что может показаться светопреставлением, нам, поколению, обладающему оружием расщепленного атома, уже нельзя будет выйти из бункера «наружу» — никогда, уже не на кого будет рассчитывать. Да и все меньше и меньше остается шансов, что даже самый надежный бункер сможет продлить страшные — одинокие и бессмысленные — кротовы часы и дни кого бы то ни было... Сегодня на повестке дня военных инженеров и изобретателей стоят ракета-«крот», бомба-«крот», которые взрывались бы не над, а под землей. Сначала целью этого изобретения было поражение ракетных шахт и подземных штабов, но им доступны и любые «выживалки» — включая сугубо военные или президентские...

Профессор лондонского университета учений-физик Джозеф Ротблат в книге «Ядерная война и последствия радиации» пишет: «Англичан призывают предпринять для своей защиты ряд простых мер. При этом им говорят, что эти меры существенно снизят число жертв. Официальная литература на эту тему, поми-

мо недооценки последствий ядерной войны, содержит фактически неверную информацию... Сам факт принятия мер с целью сократить число жертв в случае ядерной войны делает такую войну более приемлемой, а это, в свою очередь, может повысить вероятность такой войны...

Член-корреспондент АН СССР профессор Емельянов: «Строительство атомных убежищ... может быть, и не самый главный способ запугивания населения, зато весьма доходчивый: если тебе говорят, на какую глубину рыть бункер, какие припасать противогазы и защитные комбинезоны, значит, опасность близка и осязаема. Строительство убежищ и теория ограниченной ядерной войны где-то очень тесно смыкаются: они приучают людей к мысли о неизбежности войны, о том, что она не так уж страшна...»

Один из создателей атомной бомбы Дж. Кистяковский предупреждает: «Ни у кого не должно быть иллюзии относительно того, что атомную войну якобы можно «пересидеть» в бункере...»

Член палаты представителей от штата Вашингтон Марк Лоури: «Это может привести нас к самообману — мы можем возомнить, что существует защита для нашего населения и посему способны на самом деле развязать ядерную войну и одержать в ней победу. Не делайте ошибки — погибнут десятки миллионов людей, наши города будут повержены в руины, а оставшиеся в живых станут завидовать мертвым...»

6. НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ЖЕРТВЫ

Если сегодня к листкам из записной книжки Марии Кюри поднести счетчик Гейгера, он лихорадочно заработает. Листки радиоактивны до сегодняшнего дня. Мария Кюри стала первой жертвой своего открытия.

Первой жертвой атомной бомбы стал один из ее создателей — американский ученый Г. Дэниан. За несколько недель до бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, во время проведения эксперимента в Лос-Аламосе, Дэниан по неосторожности создал «критическую массу» урана и началась цепная реакция. Она длилась всего одну секунду. В первые несколько дней не было никаких тревожных симптомов — разве только легкий зуд кожи. Но на шестой день распухли руки. Затем отделилась кожа. Начались поистине адские муки. На двадцать четвертый день Г. Дэниан умер. Его агония

совпала с агонией тысяч японцев, умиравших в Хиросиме и Нагасаки...

В одном из донесений конгрессу США генерал Гровс, уже после бомбардировки японских городов и после трагического случая с Дэнианом, писал, что «смерть от радиации самая приятная»...

Мертвые планеты похожи на мертвые корабли...

В предутреннем тумане тихие воды Токийского залива отражают неясный силуэт старого рыболовного судна, на борту которого его имя «Фукурю мару» — «Счастливый дракон» — кажется придуманным заранее кем-то, кто знал судьбу, которая ожидает корабль. Кем-то хорошо осведомленным о «путях провидения» и глубоко ироничным.

....В 5 часов утра 1 марта 1954 года, когда «Счастливый дракон» был в четырех тысячах километров от родного порта Иаэцу и примерно в ста километрах от атолла Бикини, на атолле была взорвана водородная бомба. Капитан строго соблюдал ограничительные рамки, объявленные перед испытанием, и тем не менее судно попало в зону так называемого «следа» термоядерного взрыва. Через три часа после взрыва на яхту обрушился дождь из радиоактивного пепла. Бело-серые хлопья липли к коже, к одежде, к волосам. Пепел забивался в рот, в нос, трудно было дышать. Судно покрылось более чем сантиметровым слоем пепла, который сыпался с неба не менее часа.

Через несколько дней члены команды почувствовали первые признаки недомогания. Слабость, головная боль, приступы рвоты, кровавый понос. «Счастливый дракон» передает в эфир: «Команда больна. «Фукурю мару» берет обратный курс. Первого марта в 7 часов 55 минут начался дождь из пепла. Что нам делать?» Ответ гласит: «Пепел, наверное, радиоактивен. Как можно быстрее возвращайтесь». Это ответ из Нагасаки, а там-то знают, что это такое. А до родного порта еще тысяча километров. Когда 14 марта «Фукурю мару» пришел в Иаэцу, моряки были не в состоянии сами сойти на берег. Только несколько человек, собрав последние силы, двигались сами. Остальных вынесли на руках. Вся рыба была конфискована.

27 марта прибыла «Мийоин мару» — команда больна, груз отравлен. Судно попало под радиоактивный дождь через десять дней после взрыва бомбы — на расстоянии 1500 километров от Бикини. Рыбаки госпитализированы. Рыба конфискована.

9 апреля в порт Иокогама прибыла шхуна «Мисаки мару», вся команда которой также была больна, а счетчики регистрировали радиацию, в пять раз превышающую норму. Команда госпитализирована. Рыба конфискована. Шхуна к моменту взрыва находилась на расстоянии четырех тысяч километров от атолла Бикини.

15 апреля в городе Ниигата выпал радиоактивный дождь. Такие же дожди выпали в Токио и Осаке. Радиоактивными осадками были отравлены пастбища, фрукты, овощи. Коровы начали давать радиоактивное молоко. Людям угрожала не только радиоактивность, но и голод.

В Японии были уничтожены тысячи тонн рыбы. Стали закрываться рыботорговые предприятия в Иокогама, Кобе и других городах...

Во время испытания водородной бомбы, проходившего под кодовым наименованием «Шот браво» в том же 1954 году из-за внезапного изменения ветра радиоактивному облучению подверглись 23 японских рыбака, 240 жителей Маршалловых островов и 28 американских солдат.

В сентябре 1954 года умер радист «Фукуру мару» Айкити Кубояма, открывший счет жертвам водородной бомбы.

...После неоднократной дезактивации «Счастливый дракон» был отбуксирован на свалку под не менее впечатляющим названием — «Остров грез». Потом было решено сдать его в лом. Однако в Японии начали собирать деньги для сохранения «Фукуру мару», и губернатор токийской префектуры Рёкити Минобэ запретил сдавать судно на слом. Теперь оно составляет часть «атомного музея» Японии.

Никем не подсчитано подлинное число жертв даже того одного далекого взрыва 1 марта 1954 года на Бикини — умерших от лучевой болезни, от лейкемии и других форм рака, от заражения отравленными овощами и фруктами, мертворожденных и рожденных уродами и неполноценными детей родителей, соприкоснувшихся с неведомой для них причиной страданий...

И стоит в предрассветном тумане заново выкрашенный и отремонтированный «Счастливый дракон», олицетворяя собой трагическую диалектику нашего века — века величайших открытий и величайших преступлений. И если не задуматься, не остановиться в безумном беге вперед, к гибели, то однажды экипаж планеты Земля может напомнить судьбу экипажа «Счастливого дракона»...

Мертвые корабли удивительно напоминают безжизненные планеты...

Эхо далеких бурь... Мы еще не подозреваем, чем отзовется оно для нас, рода человеческого, сегодня, завтра, послезавтра.

Когда на островах Полинезии от неизвестной болезни начали умирать люди и количество смертей стало возрастать, Всемирная организация здравоохранения направила на острова группу ученых.

Причиной таинственных смертей оказался ядовитый микроорганизм, обитающий на кораллах, — сикватера. Сикватера вдруг необычно размножилась и распространилась на острова Океании, на Папуа — Новой Гвинее, на восточном побережье Австралии. Но главный очаг находился на островах, близких к атоллу Муруроа.

Заключение французских ученых об обстоятельствах небывалого распространения сикватеры было кратким: «По причине вмешательства человека в окружающую среду». Этим вмешательством в данном случае были испытания ядерного оружия на атолле Муруроа — с 1966 по 1975 год над атоллом и внутри атолла, — отчего он осел более чем на два метра, а подводное основание его разрушено и искрошено гигантскими разломами длиной до 800 метров.

Никто не может сказать, что несут океану вытекающие через эти разломы радиоактивные элементы, насытившие воду, песок, кораллы. Сикватера — только первый звонок об опасности. По свидетельству шведского ученого Бенгта Даниэльсена, более тридцати лет изучающего Тихий океан и его острова, только через 20-25 лет в полной мере проявятся последствия ядерных испытаний в Океании. Они могут выражаться в увеличении раковых заболеваний и заболеваний крови, в генетических нарушениях будущих поколений, в разрушении экологических структур.

Правительства Австралии, Папуа — Новой Гвинее, Канады выражают свои протесты, которые пока безрезультатны.

Смельчаки отправляются к атоллу Муруроа — активисты движения «Гринпис» («Зеленый мир»), — чтобы помешать взрывам, чтобы произвести замеры радиоактивности, которые до сих пор не обнародовала ни одна официальная организация...

Тем временем взрывы продолжают, множась число «незапланированных» жертв — сегодня, завтра, послезавтра, отдаваясь еще неведо-

мым глухим отзвуком в близких и далеких поколениях...

Когда возник вопрос о местах и способах размещения ракеты «МХ» на территории США, страну потрясла невиданная доселе волна протестов. Английская газета «Файнэншл таймс» писала: «Противники ракеты «МХ» совсем непохожи на пацифистов и противников ядерного оружия, образовавших ядро оппозиции в Европе базированию там крылатых ракет и ракет «Першинг», а может быть, и нейтронных боеголовок. Напротив, они, пожалуй, являются самыми яркими патриотами-консерваторами в США — одним словом, сторонниками Рейгана. Но обе эти группы, несмотря на 5000 миль, которые разделяют их, имеют общую цель — не допустить размещения ядерного оружия во дворе своего дома».

Особенно сильный протест исходил от жителей штатов Юта и Невада, где две трети населения высказались против размещения ракет «МХ» на территории их штатов.

Почему именно Юта и Невада?

Когда в разгар «холодной войны» Трумэн приказал перенести испытания с атоллов Тихого океана в Соединенные Штаты, специалисты выбрали для полигона пустынное плато в штате Невада.

Здесь жили в основном сельские жители, мормоны, не потребляющие кофе, табака и алкоголя, с наименьшим по стране показателем раковых заболеваний — до определенного времени: за последние два десятилетия рак стал бедствием этих мест. Вот объяснение Юдолла: «Это единственные люди в мире, которые годами питались зараженными продуктами и неоднократно подвергались радиоактивному облучению. Это беспрецедентный случай на нашей планете...»

Перед началом серии испытаний власти штатов распространили прокламацию, в которой, в частности, говорилось: «Вы будете ближайшими наблюдателями этих испытаний и тем самым внесете большой вклад в обеспечение обороны нашей страны и всего свободного мира... Некоторые из вас испытывают неудобства от наших испытаний. Временами вы будете подвержены потенциальному риску от яркого света, взрыва или осадков. Вы примите эти неудобства или риск без нервного возбуждения, без тревоги и паники. Ваше сотрудничество поможет достигнуть необычайного рекорда безопасности».

Прошло некоторое время, и журнал «Лайф» опубликовал несколько свидетельств тех, кто «испытал неудобства» после испытаний в штате Невада.

«Через один квартал от меня живет Вилфорд. У него рак. Его жена Элен уже умерла от рака. Напротив нас, через дорогу, умер от рака гортани Карл. Еще один наш сосед, Эрн, умер от рака, а его жена сейчас больна раком. В следующем доме умер от рака крови мальчик. Моя сестра, живущая напротив того дома, умерла от рака груди. А ее муж болен раком...»

«Умерли двое моих братьев, мой отец и сын...»

«Умерли моя сестра, племянница, тетя, сводная сестра, мачеха, бабушка и моя жена...»

«Умерли две мои тети, три дяди. И двое врачей, которые лечили меня».

Грбовщик Элмер Пикетт из города Сент-Джордж свидетельствует: «Мой отец и я — оба занимаемся погребениями. Когда все эти истории со смертью от рака участились, я заглянул в наши регистрационные книги и установил: раньше заболевания раком были у нас очень редки, а в 1956 и 1957 годах они внезапно участились. В 1960 году был целый поток таких смертей...»

Под жалобой, поданной в правительство США жителями штата Юта, подписались 965 человек, ставших жертвами ядерных испытаний в 1951-1963 годах.

В ответ на письмо Марты Бордоли — матери подвергшегося облучению семилетнего Мартина — сенатор Джордж Мэлоун писал: «Недавно газеты распространили сообщения о том, что будто бы большая часть научного мира не согласна с правительственной программой ядерных испытаний, утверждая, что радиоактивные осадки, являющиеся следствием атомных взрывов, вызывают губительные последствия. В результате в Соединенных Штатах возникла паника. Президент изучил доклад об этом... как он заявил, не исключено предположение, что статьи об этой панике инспирированы коммунистами...»

Зная об опасностях, которые таят в себе любые испытания, Трумэн заявил: «Опасности, которые могут явиться следствием радиоактивных испытаний, могут повлечь за собой малые жертвы в сравнении с бесконечно большим ущербом, какой принесло бы использование ядерных бомб в войне».

«Я не считаю смерть моего сына маленькой жертвой», — ответила тогда Марта Бордоли. А сколько было таких смертей!

Эти сведения — только то, что мы знаем, что известно и учтено. А сколько фактов остались неизвестными, неучтенными и скажутся только спустя годы...

Академик Е. Чазов: «Расчеты показывают, что если и впредь испытания атомного оружия будут продолжаться, то вследствие выпадения на поверхность земли... и распространяющихся по всему земному шару изотопов стронция, цезия и углерода, в будущем в каждом поколении будет поражено наследственными заболеваниями несколько миллионов человек...»

Это в самом «лучшем» случае — в случае, если не случится ядерной войны...

А если случится?

Вся эта гонка за «самую, самую, самую» бомбу началась в далеком сорок шестом.

...В начале 1946 года — первого года мира на Земле — у берегов маленького тихоокеанского острова, атолла Бикини, появились корабли американского военно-морского флота. Кинооператоры — те, что еще год назад снимали военные действия на Тихом океане, теперь запечатлели на пленку мирный и на первый взгляд непримечательный сюжет — переселение 167 островитян Бикини на другой остров, атолл Ронгерик. Сюжет был экзотический и жизнерадостный: веселые красивые островитянки, седые живописные старики, черноглазые детишки...

Тогда никто из островитян не подозревал, что этот мирный солнечный день станет началом их скитаний по островам архипелага и что они будут названы «первыми кочевниками ядерного века» — по выражению газеты «Пасифик дейли ньюс».

1 июля 1946 года США взорвали первую атомную бомбу из серии испытаний на острове. Испытания повторялись долгие годы. Остров превратился в выжженную пустыню, на дне лагуны скопилось огромное количество радиоактивного материала.

Незаметно до первого взрыва территория Маршалловых островов, куда входил и Бикини, перешла под опеку Соединенных Штатов. Слова статьи 76-б Устава ООН гласят, что на государство-опекуна возлагается обязанность «способствовать политическому, экономическому и социальному прогрессу населения территории под его опекой, прогрессу в области образования и прогрессивному развитию по пути к самоуправлению или независимости».

«Опекаемые» кочевники чуть не погибли от голода на атолле Ронгерик и были переселены на остров Кваджалейн. После него — атолл

Кили, где тоже не оказалось пригодных для жизни условий...

В 1970 году скитальцев вернули на родной остров. Но очень скоро оказалось, что для человеческого организма жизнь на Бикини невозможна. Их вновь выселили на остров Кили. Затем «Нью-Йорк таймс» сообщила, что Вашингтон намерен переселить скитальцев на атолл Эней — всего в шести милях от Бикини. С его берегов люди смогут видеть родной остров, но жизнь на нем будет невозможна еще по крайней мере около полувека — это по подсчетам ученых,

...История на своем пути оставляет «вехи предупреждений». Они, как правило, глубоко символичны. Такой «вехой предупреждения» стала история жителей Бикини. И горе, если люди проходят мимо этих вех предупреждения — ибо куда переселятся жители не островов, но континентов, которые могут оказаться под ударом возможного ядерного конфликта? Куда переселятся жители планеты Земля?

«Одна из печальнейших историй в мире — трагедия острова Бикини», — писала все та же «Пасифик дейли ньюс». Эта «печальнейшая в мире история» — предупреждение в сем, в сем, в сем...

Судьба того или иного документа любой эпохи вряд ли может быть с абсолютной точностью оценена или предугадана современниками — как часто жизнь по-своему перестраивает пирамиду ценностей, обрекая на забвение то, что вначале могло показаться откровением, и признавая истинной то, что порой воспринималось как некое еретическое суесловие. Когда четверть века назад стал известен удивительный документ, названный манифестом Рассела — Эйнштейна, в нем, невзирая на безусловный и высочайший авторитет авторов, нередко усматривалось все же доведенное до крайности преувеличение. Сегодня строки этого манифеста всюду цитируются, с ними не полемируют, ибо заложенная в них трагическая истина становится все более очевидной для самых безудержных оптимистов, полагающих, что розовые очки — самое уютное оснащение в наше грозное время, чреватое ядерным апокалипсисом.

И сегодня, как никогда, принципиально важен тезис из манифеста Рассела — Эйнштейна: «Мы должны научиться мыслить по-новому. Мы должны спрашивать себя не о том, какие

шаги надо предпринять для достижения военной победы того лагеря, к которому мы принадлежим, ибо таких шагов больше не существует; мы должны задавать себе другой вопрос: какие шаги можно предпринять для предупреждения военного конфликта, исход которого будет катастрофическим для всех его участников... В данном случае мы выступаем не как представители того или иного народа, континента или вероучения, а как живые существа, как представители человеческого рода, дальнейшее существование которого находится под угрозой».

На второй специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению Советский

Союз выступил с эпохальной инициативой: заявил об отказе от применения первым ядерного оружия.

Было заявлено на сессии:

«Принимая это решение, Советский Союз исходит из того непреложного и определяющего в современной международной обстановке факта, что ядерная война, начнись она, могла бы означать разрушение человеческой цивилизации, а быть может, и гибель самой жизни на земле. Значит, высший долг руководителей государств, сознающих свою ответственность за судьбы мира, приложить все усилия для того, чтобы ядерное оружие никогда не было пущено в ход».



ДЖЕММА СЕРГЕЕВНА ФИРСОВА окончила режиссерский факультет ВГИКа. Автор сценариев и режиссер-постановщик документальных фильмов. В числе последних «Поезд в революцию», «Встреча с Джокондой», «Память навсегда», «Битва за Кавказ» (фильм из киноэпопеи «Великая Отечественная»), «Зима и весна сорок пятого...» и других. Лауреат Ленинской и Государственной премий. В художественной кинематографии выступала как актриса и как режиссер-постановщик. Автор ряда публицистических книг.



ГЕНРИХ ИОСИФОВИЧ ГУРКОВ (родился в 1933 году) журналист-международник, окончил МГИМО. В течение десяти лет работал зарубежным сборкором «Комсомольской правды». Автор книг «Человек с Кап Аркона», «Что нового между Одером и Рейном?», «Наследники свастики», «Ярмарка идиотов», «Свидетельство обвинения» (в соавторстве с Д. Фирсовой). Автор и соавтор сценариев более 50 документальных фильмов, многие из которых отмечены премиями всесоюзных и международных кинофестивалей, среди них: «Товарищ Берлин», «Ташкент, землетрясение», «Время жить», «Эхо прошедшей войны» и другие.

В фильме «Предупреждение об опасности», поставленном авторами на Центральной студии документальных фильмов, использована часть материалов публикуемого сценария.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

С 1985 ГОДА ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬМАНАХ
«КИНОСЦЕНАРИИ» ВЫХОДИТ
ЕЖЕКВАРТАЛЬНО, ЧЕТЫРЕ РАЗА В ГОД.

Альманах публикует
литературные сценарии полнометражных
художественных фильмов до выхода этих фильмов
на экраны страны, а также сценарии
короткометражных и мультипликационных лент и
сюжеты Всесоюзного сатирического киножурнала
«Фитиль».

Стоимость каждого номера альманаха 1 руб. 20 коп.
На 1986 год на альманах «Киносценарии» будет
объявлена подписка. Подписку можно будет
оформить во всех отделениях «Союзпечати».
Стоимость годовой подписки 4 руб. 80 коп.

*В ближайших номерах альманаха редакция
намеревается опубликовать литературные произведе-
ния, созданные для кино такими известными
писателями и драматургами, как Чингиз Айтма-
тов, Евгений Габрилович, Иосиф Прут, Эдуард
Володарский, Вадим Трунин, Андрей Смирнов и др.*

1 р. 20 к.

70434

КИНОСЦЕНАРИИ

1985

1